Аріадна Тыркова-Вильямс

ТО, ЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

ВОЗРОЖДЕНІЕ

Аріадна Тыркова-Вильямс

То, чего больше не будет



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНІЕ — LA RENAISSANCE
73, Avenue des Champs Elysées
Париж

ОТ АВТОРА.

Я писала мои мемуары во Франціи, под нѣмецкой оккупаціей, писала для себя, чтобы заглушить неотступную тоску, которая тогда томила всю Европу, и воскресить в памяти то, что давала, чѣм дарила нас русская жизнь. Почти 10 лѣт спустя, в 1951-52 г.г. мои очерки прошлаго стали появляться отдѣльными главами в тетрадях "Возрожденія", под общим заглавіем "То, чего больше не будет", с подзаголовком, "Семейная хроника". По откликам читателей я увидала, что мысленное возвращеніе в до-революціонную Россію и им дает удовлетвореніе, согрѣвает душу.

Вторая часть моих воспоминаній, "На путях к свободѣ", изданная в Нью-Іоркѣ Чеховским Издательством, является продолженіем первой. Это тоже разсказ о видѣнном и слышанном. Но это, если и не лѣтопись, то повѣсть политическая, гдѣ семейная жизнь отступает на второй план. Это годы борьбы за народное представительство, эпоха Государственной Думы. Между двумя частями моих воспоминаній существует внутреняя, органическая связь. Это отрѣзки одного историческаго сдвига.

Хотѣлось бы, если успѣю, написать о войнѣ 1914 г., о революціи, о зарубежной Россіи. Мы, свидѣтели стольких потрясеній, должны оставить наши показанія.

Аріадна Тыркова-Вильямс.

Нью-Іорк.
1954 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СЕМЬЯ

Нас было семеро, четыре брата и три сестры, всѣ очень разные по характеру, по судьбѣ, даже по возрасту. Между Виктором, моим старшим братом, и моей младшей сестрой, Соней, было 17 лѣт разницы. Соня была почти на пять лѣт моложе меня. Остальные шли лѣстницей, с промежутками в два года. И каждый из нас представлял отдѣльный мірок, который мама изучала пристально, неустанно, любовно. Одно было у нас всѣх общее, сходное, — наша любовь к мамѣ... И ея любовь к нам, в которую она вносила столько оттѣнков. Для каждаго из нас она находила особые дары. Никакого не обдѣляла. Ея большой души на всѣх хватало.

Иногда родные, или прислуга, называли меня ея любимицей. Я до сих пор не знаю, вѣрно ли это? Ни в раннем дѣтствѣ, ни в юности, ни в разгар моей независимой жизни, ни тогда, когда мама доживала в моем лондонском домѣ послѣдній, 93-ій, год своей жизни, не было у меня чувства, что мнѣ позволено что-то, что не позволено моим братьям и сестрам, что ради меня она их чего-то лишает. Это было бы просто невозможно. Мама была воплощеніем справедливости, своего рода скиніей завѣта. Мы это твердо знали и принимали ея моральный авторитет, как нѣчто данное, несокрушимое. Брыкались, дурили, спорили, огорчали ее, не слушались ея совѣтов, бросались в разныя сто-

роны. Иногда почти бунтовали. А в глубинѣ души не только мы, дѣти, но и внуки, когда они появились, отлично понимали, что она знает лучше нас, что она не может быть неправа. Особенно в самом главном, в умѣніи различать добро и зло. Умом мы это поняли постепенно, но сердцем всегда чуяли, что растем, окруженные непередаваемым излученіем доброты и любви.

Дѣти чувствуют своих родителей, но не видятъ их. Мы ощущали мамину близость во всѣх подробностях нашей жизни, но развѣ мы знали, что она красавица? Конечно, нѣт. Может быть, еще и потому не знали, что, хотя у мамы были очень опредѣленныя художественныя потребности, но ея собственная красота никогда не была для нея ни содержаніем жизни, ни предметом заботы. И в нас, в своих дочерях, она старалась умѣрить свойственную хорошеньким дѣвушкам увѣренность в своей привлекательности. Нравоученій она не читала, но ея мягкій, мѣткій юмор дѣйствовал крѣпче запретов и окриков. Мы его гораздо больше боялись, чѣм бурных вспышек отцовскаго гнѣва.

В семьѣ моей матери и, что пожалуй удивительнѣе, в семьѣ отца, который принадлежал к старинному роду, записанному в Шестую Книгу, мало хранилось семейных свѣдѣній и преданій. Иногда, за вечерним чаем, моя бабушка со стороны матери, Эмма Осиповна Гайли, начинала, вмѣстѣ с мамой и тетей Маней перебирать своих родственников. Бабушка была урожденная Гребская, вѣрнѣе Гржебская, из польских шляхтичей. Их порода славилась красотой. При Фридрихѣ Великом ея grand-oncles плѣняли придворных дам Берлина своей привлекательной наружностью, изысканными манерами, ловкостью в танцахъ. Легенда дошла до нас туманно, без имен, без дат. Одно несомнѣнно — братья-красавцы существовали и нѣмок мазуркой с ума сводили. Но что они кромѣ этого дѣлали, гдѣ жили, как их звали, этого мы никогда не узнали.

Ни о своем дѣтствѣ, ни о своем прошлом, ни о

своем мужѣ бабушка нам не разсказывала. От мамы мы знали, что дѣдушку звали Карл Иваныч Гайли. Он был из балтійских нѣмцев, офицер, служил в военных поселеніях, которыя тянулись вдоль праваго берега Волхова. Вергежа, родовое имѣніе Тырковых, стояло на лѣвом берегу, вдоль котораго шли помѣщичьи земли и деревни. Так с одной стороны Волхова разселились предки первых русских колхозников, Аракчеевских. С другой — крѣпостные, среди которых были и наши, Тырковскіе крѣпостные. Жизнь не сразу стерла отпечаток прошлаго. Бывшіе государственные и бывшіе помѣщичьи крестьяне рѣзко различались и в хозяйственном, и в психологическом отношеніи. Правый, государственный, берег был и богаче и независимѣе. На нашем, барском, берегу у мужиков избы были хуже, садов мало, огороды плохіе, весь уровень хозяйства ниже.

Режим в военных поселеніях был суровый, но среди офицеров были люди просвѣщенные, гуманные. Во всяком случаѣ, дѣдушка Гайли, командовавшій в военных поселеніях, был мягче, человѣчнѣе, образованнѣе, чѣм дѣдушка Тырков, помѣщик. У моей матери было смутное предположеніе, что, если ея отец и не был связан с декабристами, то он, во всяком случаѣ, им сочувствовал. Выслужив пенсію, он вышел в отставку, купил себѣ, в 10 верстах от Селищенских казарм, лѣсное имѣнье в 1.500 десятин, и в этом Раменьи поселился с тремя хорошенькими дочками. Сыновья служили в арміи. Один на Кавказѣ, двое других окончили Училище для Колонновожатых и служили в Петербургѣ. От матери я переняла уваженіе к слову колонновожатый, хотя до сих пор толком не знаю, что оно значило?

У дѣдушки в Раменьи была недурная библіотека. Он любил историческія книги, и в долгіе, зимніе вечера заставлял дочерей вслух читать в оригиналѣ нѣмецких классиков, французских романтиков, исторію

Гизо, Ламартиновских «Жирондистов», «Несчастных» В. Гюго. Принадлежавшее ему французское изданіе «Жирондистов» попало мнѣ в руки, когда мнѣ не было еще 15 лѣт. Как взволновали меня эти большія, раздѣленныя чертой, страницы, переплетенныя в толстую кожу. Я читала их и перечитывала. Герои революціи толпились вокруг меня, углубляли, закрѣпляли странный, и как я теперь знаю, страшный культ бунта, на котором воспитывалось воображеніе моего поколѣнія. Хотя дѣдушка Карл Иваныч, оставившій мнѣ в наслѣдство Ламартина, сам никогда бунтовщиком не был.

От него мама переняла привычку к серьезному чтенію. Это отвѣчало ея характеру. Она была очень веселая, особенно среди своих, но была в ней внутренняя значительность, не искавшая выраженія в словах, ни в чем внѣшнем. В свѣтлой глубинѣ ея души шла своя жизнь, бѣжал свой чистый жизненный поток. Двѣ ея сестры, старшая, тетя Маня Казина, и младшая, тетя Юля Гребская, были совсѣм другія, хотя всѣ три росли в одинаковых условіях. При них была общая воспитательница, Гриппе, муж которой, сослуживец дѣдушки, оставил цѣнныя воспоминанія о военных поселеніях. Когда дѣвочки подросли, их, три зимы подряд, отвозили в маленькій лифляндскій городок Верро. Там их учили исторіи, географіи, французскому, нѣмецкому, танцам, рисованію. То, что онѣ знали, онѣ должны были знать твердо, основательно. Пансіон держал гернгутер, и его требовательная честность во всем, — в ученіи, в правдивости, в поведеніи, в молитвѣ, — пришлась по вкусу юной Софи Гайли. Через всю свою долгую жизнь пронесла она строгость к себѣ, мягкую снисходительность к другим, отсутствіе мелочности, цѣльную правдивость. Для нея было мучительно кривить душой даже в незначительных, обиходных мелочах жизни. Уже в глубокой старости, если вѣжливость побуждала ее что-нибудь не договаривать

до конца, сквозь ея морщины пробивалась краска смущенія.

В ея время, — она родилась в 1837 г. — жизнь начиналась рано. 14-лѣтней дѣвочкой она блистала на скромных военных балах в Новгородѣ и в пригородном селѣ Медвѣдь, гдѣ дѣдушка служил. Кружила головы тогдашних красавцев, гусаров, улан... От этого времени не осталось ея портретов. На первом дошедшем до нас дагеротипѣ, она уже снята с двумя маленькими сыновьями. Красиво очерчен нѣжный рот и овал продолговатаго лица. Нос с небольшой горбинкой. Большіе, пристальные глаза. Они были ясно-голубые, а волосы темно-каштановые. Всѣ, кто помнил ее молодой, в один голос говорили нам:

— Ах, какая она была красавица!..

Потом, оглядывая меня и моих сестер, выражали на лицѣ сожалѣніе, очевидно, про себя говорили, — не вам чета. Мама смѣялась, за нас обиженная, за себя довольная. Всякая женщина любит, чтобы ея красоту замѣчали, запоминали. Но она увѣряла нас, что и им смолоду говорили, что им не угнаться за красотой матери и бабушки:

— У моей бабушки, Денфер, был очень красивый нос, — разсказывала мама. — Я, дѣвочкой, любила сидѣть на скамеечкѣ у ея ног, любовалась ею, и все спрашивала, что мнѣ сдѣлать, чтобы и у меня был такой хорошенькій носик? Бабушка щелкала меня по носу и говорила: твой нос не дорос! Это она говорила по-русски, хотя всегда разговаривала с нами по-нѣмецки.

С материнской стороны в нашу семью вошла нѣмецкая, вѣрнѣе балтійская, культура. Бабушка Эмма Осиповна говорила по-русски с легкими ошибками, когда волновалась переходила с своими дѣтьми на нѣмецкій. Они были лютеране. На столикѣ у маминой постели лежала карманная нѣмецкая Библія в черном, лакированном переплетѣ. В дѣтствѣ я видала, как мама

рано утром, в черном платьѣ, уходила пріобщаться. Няня говорила с особым выраженіем:

— Барыня в кирку пошли...

Таинственно звучало это слово — кирка. Мы в дѣтствѣ не бывали в лютеранской церкви. Мама нас с собой никогда не брала. А в православную церковь с нами ходила.

Ея протестантизм был одной из причин, почему будущая свекровь была против выбора своего младшаго, любимаго сына. К тому же моя мать была безприданница, дочь отставного офицера, жившаго на пенсію. Татьяна Яковлевна Тыркова находила, что молодой правовѣд, сын владѣльца многих тысяч десятин земли и тысячи душ крестьян, мог бы найти невѣсту болѣе выгодную.

А мой отец с перваго взгляда влюбился без памяти и ничего слышать не хотѣл. Он встрѣтил маму у своей замужней сестры, Наталіи Алексѣевны Лешерн фон Герцфельдт. Ея муж был сослуживцем дѣдушки по военным поселеніям. Лешерны жили в своем имѣніи на берегу Волхова, в 15 верстах от тырковской мызы, как было принято в околодкѣ называть Вергежу. У них были двѣ дочери, Анет и Софи Лешерн, которая позже прославилась, как революціонерка, ходила в народ и за это попала в крѣпость. В серединѣ пятидесятых годов это просто была молоденькая дѣвушка, которой так же хотѣлось повеселиться, как и 17-лѣтней Софи Гайли и ея сестрам. Онѣ всегда были рады выѣхать из своего лѣсного Раменья. От них до Лешернов было верст 15, не так уж далеко, особенно по зимней дорогѣ. На Святках молодежь съѣзжалась потанцевать. Тетка моя, Наталья Алексѣевна, сурово строжила своих взрослых дочерей, чѣм удивляла, иногда возмущала, мою мать, привыкшую в своей семьѣ к мягким, свободным отношеніям. Софи Лешерн как-то вскочила на стул, чтобы разглядѣть, кто ѣдет к ним по дорогѣ. Тетка моя не только круто сдернула ее со стула, но тут же, при гостях, да-

ла будущей революціонеркѣ пощечину, чтобы крѣпче ей внушить, что благовоспитанной дворянской дѣвицѣ не подобает прыгать по стульям.

Вѣроятно, бабушка моя, Татьяна Яковлевна Тыркова, нашла бы эту пощечину вполнѣ естественной. Она тоже дѣтей держала строго и насчет манер к ним была очень требовательна, как и подобало крупной помѣщицѣ и важной губернской дамѣ.

Перед этой провинціальной grande dame мучительно робѣла хорошенькая, голубоглазая, с правильным, как у греческой статуи, личиком, Софи Гайли. Ея заразительный, неотразимый смѣх умолкал. Она была очень застѣнчива, легко смущалась, но при всей своей рѣдкой скромности не могла не замѣтить, что брат хозяйки, тоже жестоко застѣнчивый, молодой Тырков, не спускает с нея темных, влюбленных глаз. Когда, много лѣт спустя, внуки устраивали в просторных Вергежских комнатах веселыя шарады, мой отец выходил из кабинета и, весело блестя все еще красивыми глазами, гордо спрашивал:

— А прекрасная турчанка у вас есть? Надо, чтобы была. Ваша бабушка была наряжена турчанкой, когда я ее в первый раз увидал. Увидал и сразу пропал...

Он оглядывался на маму и шумно смѣялся. В ея отвѣтной улыбкѣ сіял отблеск той первой, все рѣшившей, Рождественской встрѣчи.

Ей было 17 лѣт. Владиміру Алексѣевичу Тыркову — 19. Бабушка Татьяна Яковлевна пробовала отговорить своего сына от слишком ранняго брака, по ея мнѣнію и неравнаго. Обычно Володюшка ее слушался, а на этот раз сдѣлал по-своему. При всей своей сыновней почтительности не мог он отступиться отъ такой красавицы, которая сразу стала для него единственной в мірѣ. И такой осталась навсегда. А прожили они вмѣстѣ больше полувѣка.

Тырковская семья, в которую мама входила, была совсѣм другого склада, чѣм ея семья. Это были искон-

ные русскіе помѣщики, служилые люди, давно укоренившіеся в новгородской землѣ. Вергежа, которая так крѣпко срослась с нашей жизнью, была когда-то пожалована Тыркову. Не много было в Россіи дворянских гнѣзд, остававшихся больше чѣм триста лѣт в руках одной семьи, как оставалась Вергежа в Тырковском роду. Еще до Смуты служили одни Тырковы князьям московским, другіе — Великому Новгороду. Это было служилое, помѣстное сословіе, которое помогало князьям и царям московским строить и укрѣплять Россію. В списках плѣнников, захваченных Іоанном Грозным в Новгородѣ, был и боярин Кирик Тырков. О нем упоминает, в XI томѣ «Исторіи Государства Россійскаго», Карамзин. Описывая всенародныя, страшныя казни, которыя Иван Грозный, послѣ взятія Новгорода, устроил на большой торговой площади, в Китай-Городѣ, в Москвѣ, историк приводит имена нѣкоторых звѣрски замученных «слуг отечества, людей извѣстных заслугами и богатством». Среди них «воевода Кирик Тырков, равно знаменитый и Ангельской чистотой нравов, и великим умом государственным, и примѣрным мужеством воинским, израненный во многих битвах».

У Карамзина я больше ничего о нем не нашла. Но в семьѣ у нас сохранилась легенда, что состоявшій при Новгородском архіепископѣ Никонѣ, боярин Тырков, был вмѣстѣ с владыкой увезен Грозным в Москву. Там его, на глазах у царя и всего народа, сожгли на сковородѣ. Дѣтьми мы, позже и дѣти наши, слушали упоминанье об этой сковородѣ, как что-то сказочное, ненастоящее. Вродѣ как ступа, в которой Баба-Яга летала. Но у Карамзина, в числѣ разных орудій казни, которыми пользовались палачи Іоанна Грознаго, упомянуты и сковороды. Да и весь облик царя, несмотря на сдержанный тон историка, встает как страшный нечеловѣческій сказочный призрак. Хотя он — не сказка, а страшная русская быль.

Выходя замуж, моя мать мало интересовалась исто-

ріей Тырковскаго рода. Это было в 1855 г. Царствованіе Николая I приходило к концу. Уже вѣяло новыми идеями. Придавать значеніе происхожденію было не в духѣ семьи Гайли. Мама и по натурѣ была прирожденной демократкой. В равенство она вѣрила крѣпко, хотя и вышла замуж за помѣщика, владѣльца крѣпостными. На его долю при раздѣлѣ их досталось немного, не больше двухсот душ. Но все-таки он был рабовладѣльцем. У дѣдушки Карла Иваныча было не больше десятка крѣпостных. В Раменьи на них смотрѣли, как мы смотрим на прислугу, как фабрикант на рабочих. Не было равенства, но не было и чувства барской собственности.

В этом, как и во многом другом, мама была гораздо выше окружающих. Я мало встрѣчала людей, — а их много мимо меня промелькнуло, — с таким, как у нея, доброжелательным признаніем чужой личности, с таким уваженіем к чужому труду. Позже она закрѣпила эти прирожденныя чувства книжными теоріями, идеями эмансипаціи, настроеніями эпохи великих реформ.

Тырковы, кромѣ древности рода и непрерывнаго владѣнія большими угодьями, ничѣм в русской исторіи себя не заявили. В теченіе столѣтій ни на каком поприщѣ жизни не выдвинули они даровитых людей. Не было в них ни честолюбія, ни потребности оставить в жизни слѣд. Возможно, что они, как мой отец, вкладывали всю свою жизненную силу в узкій круг хозяйственных и семейных забот. Когда Господин Великій Новгород, или Московскій Государь не требовали от них службы Землѣ Русской, они служили просто собственной землѣ. Отец сдѣлал выписки из родословных книг, и без тѣни чванства показал их нам, дѣтям. Их имена не вызывали в нас гордости, даже любопытства. Был в этом спискѣ Тырков Кузьма, жилец. Его простонародное имя и непонятное званіе разсмѣшили нас. Только позже, читая у Забѣлина, как дворяне жильцы дрались на крыльцѣ Кремлевскаго дворца за милостивый цар-

скій взор, я почувствовала, что к этому незатѣйливому прошлому и от меня тянутся нити...

Не знаю, хорошо это или худо, но хотя мы росли в очень опредѣленной сословной средѣ, ея цѣльность и преемственность я поняла только много, много лѣт спустя, когда революція все разбила, порвала, разметала.

От ближайшаго прошлаго до нас долетали только отрывистые отголоски. Как-то раз, на Вергежѣ, когда я уже была взрослой дѣвушкой, в жаркій іюльскій день, я сидѣла на скамьѣ за садом, на краю холма, на котором в теченіе столѣтій Тырковы вили свое гнѣздо. Вечерѣло. Далеко, на восточном горизонтѣ чуть мерцал крест Аракчеевской церкви в Грузинѣ. До нея от нас верст 25. Очертанія этого креста золотятся только в очень ясные лѣтніе вечера. Внизу, на наших заливных лугах, пестрѣли ситцы косарей и поденщиц. Болотистую часть разлива еще только начинали косить. Под мѣрными ударами кос, вспыхивавших на солнцѣ, с сочным звуком, ровными прокосами валилась высокая, жирная трава. А вдоль рѣки, на горбылькѣ, бабы уже собирали раньше скошенное сухое сѣно в копны; мальчишки верхами, подгоняя босыми пятками потных лошадей, свозили копны в высокій сѣнной сарай. От покоса, от медвяных трав, от близкаго ржаного поля, от сада, от широкаго рыжаго Волхова, неторопливо катившагося на сѣвер, пахло всѣми запахами длиннаго, горячаго сѣвернаго лѣтняго дня. Над моей головой, через невысокій орѣшник, за которым была пасѣка, с жадной торопливостью мчались за добычей пчелы. И у них, как у людей, была страдная пора, и онѣ работали с восхода до заката.

Я заглядѣлась на наши красивые просторы, и не замѣтила, как ко мнѣ подошел высокій, костлявый, длиннобородый старик в синей, пестрядиной, домотканной рубахѣ, доходившей ему почти до колѣн, на которую был накинут кафтан тоже из домотканнаго сукна. В ру-

ках посох. За спиной холщевые мѣшки и прокопченый чайник. Таких странников не мало проходило через наш двор. Шли нищіе, бродяги, шли ищущіе работы и убѣгающіе от работы, шли по разным дѣлам, чтобы не тратиться на билеты, шли из других уѣздов и губерній. Шли богомольцы. Новгород и всѣ земли кругом полны древних монастырей. Есть гдѣ Богу помолиться, есть гдѣ пожить на монастырскій счет. В каждой обители мужской и женской, богомольцам и странникам был обезпечен трехдневный безплатный, даровой пріют.

— Здравствуй, барышня. Ведро-то какое. Благодать.

Старик опустился рядом со мной на скамейку, снял со спины мѣшки, расправился. Я спросила:

— А вы откуда? Издалека?

— Мы-то? Мы Апраксинскіе. Да ты что, с этой мызы будешь? Тырковской породы?

— Тырковской.

Благообразное лицо с крупными чертами заиграло веселыми, лукавыми морщинами:

— Так, так.., Мы, вѣдь, тоже из Тырковских!..

Я пристально оглядѣла его. Он был значительно старше моего отца, которому в год освобожденія крестьян было 26 лѣт. Значит, этот прохожій не меньше 30 лѣт прожил крѣпостным. Но ни в свѣтлых, веселых глазах бывшаго Тырковскаго раба, ни в его широкой улыбкѣ не было злопамятства ко мнѣ, к помѣщичьему отродью. Напротив, добродушный оттѣнок свойства, точно он со мной родней посчитался. Это был обычный тон наших бывших крѣпостных. Они понимали, что не нам, слѣдующим поколѣніям, нести отвѣтственность за предков. Дочерью бывших рабовладѣльцев я себя на Вергежѣ не чувствовала.

Старик шел в Новгород на богомолье из Апраксина Бора. Эта деревня была верстах в 60 от нас, за Любанью. Мой дѣд, Алексѣй Дмитріевич Тырков когда-то выиграл ее в карты от графа Апраксина. Мнѣ всегда ка-

залось, что Апраксин Бор это что-то далекое, чуть не иноземное, нас не касающееся, хотя послѣ смерти одного из моих дядей отцу досталось там 1.500 десятин лѣса. Но мы, молодежь, нашу жизнь мѣряли не десятинами, а перелетами фантазіи. В Апраксинскія трущобы она не залетала. А старик мнѣ понравился. Может быть, и я ему. С красочной словоохотливостью, которая так отличает русских мужиков от англійских фермеров и французских пейзанов, он разсказывал мнѣ о своей жизни. Хозяйство у них хорошее. Ведет его сын, а сам он плохой помощник. Упал с сѣновала, правую руку повредил...

— А смолоду дюжой работник был. Сколько по этой вашей рели хожено. Хоть мы и оброчные были, а дѣдушка твой об эту пору всегда от Апраксинских наряда требовал. Недѣли три мы здѣсь живали, пока все уберем.

— Говорят, дѣдушка крутой был?

— Да, крутенек. Хозяйственный был барин. Все вот здѣсь, на краю, как ты, сиживал. И скамейка на этом же самом мѣстѣ у него стояла. Сидит, а сам в подзорную трубу смотрит. Нам и невдомек, что он нас скрозь видит... Угодья-то ваши вон до келева, до самых Державинских лугов тянулись. Как начнем на том краю убираться, ну и плетемся нога за ногу, не хватаемся. Думаем, нас за ивняком не знатко. А ему в трубу все видно. Кликнет приказчика, да и велит поддать нам жару...

Я неувѣренно спросила:

— Что же, наказывали?

— Др-аа-ли... — с раскатом отвѣтил старик и засмѣялся молодым смѣхом, точно вспоминал веселыя проказы юности.

Это был один из немногих разсказов, которые я слышала про крѣпостное время и про дѣдушку. Перед самой революціей А. М. Ремизов случайно набрел на пачку пожелтѣвших писем бабушки Татьяны Яковлев-

ны. Она была урожденная Ивкова, из Псковской губерніи. Там у нея были родственники, Философовы, с которыми она была в перепискѣ. В этих письмах она разсказывает о хозяйственных новшествах и улучшеніях, которыя дѣдушка вводил на Вергежѣ. Он один из первых стал сѣять клевер. И бабушка умѣло вела свою часть. В ея ткацкой выдѣлывались отличныя полотна, в дѣвичьей сидѣли искусныя вышивальщицы. Дом она держала в образцовом порядкѣ, что далеко не всѣ помѣщицы умѣли дѣлать. До замужества Татьяна Яковлевна провела с Философовыми нѣсколько лѣт заграницей, переняла там нѣкоторые европейскіе навыки. В Вергежскую жизнь ввела она привычки к порядку, к чистотѣ. Она была свѣтская женщина, но тут дѣдушка вряд ли был ей помощником. Он не бывал при дворѣ. Свѣтских связей у него не было. Во время Отечественной войны он, как уѣздный предводитель дворянства, завѣдывал ополченіем и, когда Александр I пріѣзжал в Новгород, дѣдушка ему представлялся. Но и только. Это было дѣло мѣстное, небольшое. Свѣтская их жизнь шла, главным образом, в губерніи, хотя в Петербургѣ бабушка бывала каждый год. Ѣздила в своем экипажѣ, на своих лошадях, окруженная услугами своей дворни. Так продолжалось и послѣ того, как в 40-х годах провели Николаевскую желѣзную дорогу. Дорога прошла в 12-ти верстах от Вергежи, через Соснинскую пристань. Но Татьяна Яковлевна этим новшеством не пользовалась, а по-прежнему отправлялась в столицу через Спасскую Полисть, до которой надо было дѣлать шесть верст по отчаянному проселку, пока доѣдешь до военнаго шоссе, а оттуда по московскому шоссе в Петербург, 150 верст, с ночевками. Все это было не очень удобно, но бабушка не желала смѣшиваться с простым народом, и садиться в поѣзд считала для себя неприличным. Мало ли, с кѣм можно очутиться рядом...

Дѣтей у бабушки было десять человѣк; пять сыновей — Дмитрій, Сергѣй, Федор, Василій, Владимір; пять

дочерей — Наталья, Марья, Софья, Александра, Варвара. Когда для барышень подходили времена брачныя, их выдавали за мѣстных дворян, вряд ли особенно считаясь с желаньями невѣст. Марья вышла за Арцыбашева, довольно состоятельнаго новгородскаго помѣщищика. Софья — за другого помѣщика, Ивана Васильевича Путятина, брата извѣстнаго адмирала, Ефима Васильевича, который плавал на фрегатѣ «Паллада» в Японію и получил от Александра II графскій титул. Не знаю, как жилось другим моим теткам, но тетю Соню Путятину, добрую, безобидную, ея муж, такой же самодур, как и его титулованный брат, совершенно запугал и обезличил.

Сыновья искали себѣ невѣст, не спрашиваясь у родителей. Женились они послѣ смерти отца и послѣ раздѣла наслѣдства. Никто в этом плодовитом семействѣ не сдѣлал карьеры, не пріобрѣл ни чинов, ни денег, хотя значеніе тому и другому в семьѣ придавали не малое. Каких-то дрожжей не хватало у Тырковых.

О дѣдушкѣ дошло до меня два разсказа. Во время холернаго бунта, который в 1831 году страшной волной прокатился по военным поселеніям праваго берега Волхова, помѣщики, жившіе на лѣвом берегу, с ужасом ожидали, что мятеж перекинется и к ним. Дѣдушка тайком, через лѣса, выбрался на московское шоссе и удрал в Петербург. А жену с маленькими дѣтьми оставил в усадьбѣ. Из окон Вергежскаго дома отчетливо виден расположеный на другом берегу военный плац, гдѣ взбунтовавшіеся военные поселенцы жестоко расправлялись с офицерами, докторами и их семьями. Бабушка не могла всего этого не видѣть, не могла не слышать стонов жертв, свирѣпых голосов их мучителей. А защитника около нея не было. К счастью, страхи помѣщиков не оправдались. Барскіе крестьяне не примкнули к бунтовщикам. На крѣпостном берегу Волхова все осталось спокойно.

Второе — даже не разсказ, только справка. Дѣдуш-

ка Алексѣй Дмитріевич Тырков был настолько хорош с Аракчеевым, что этот мрачный друг мягкосердечнаго романтика, Александра I, назначил в своем завѣщаніи моего дѣдушку своим душеприказчиком.

Вряд ли это требует комментарій. Да мнѣ их никто и не давал. Моя мать не знала Алексѣя Дмитріевича. Отец о своей семье разсказывал рѣдко и отрывисто. Если и вспоминал свое дѣтство, то развѣ только для того, чтобы напомнить:

— При моих родителях этого никогда не позволяли...

Никто из Тырковых не любил вспоминать о прошлом. Они вообще были не сообщительны. Я раз спросила старых теток, не осталось ли у них от бабушки семейных писем, архивов, каких-нибудь слѣдов прошлаго. Онѣ замахали бѣлыми, украшенными кольцами ручками и пугливо залепетали:

— Mais non, ma chère, nous n'avons rien...

Была у них обвѣтшалая привычка прятаться за французскій язык, как за ширму, когда им хотѣлось укрыться от чужого глаза. Тетки даже не разсказали мнѣ, бывал ли у них Лермонтов, когда Гродненскіе гусары, в которых он служил, стояли близко от нас, в Селищенских казармах. Вѣроятно, бывал. Во всяком случаѣ, мы создали нас волновавшую легенду о том, как он танцовал с Тырковскими барышнями в длинной Вергежской столовой.

Еще одну исторію про дѣдушку Алексѣя Дмитріевича слышала я от мамы, да и той она подѣлилась со мной уже под конец жизни, не любила вспоминать нехорошіе людскіе поступки. Я как-то спросила ее, всегда ли папа был таким религіозным, как в послѣдніе годы жизни?

— Нѣт. У него бывали разныя полосы. Одно время, еще в Училищѣ Правовѣденія, он совсѣм перестал молиться. Папа не любил об этом вспоминать, но, кажется, это вот как случилось. Лѣтом, во время каникул,

был он, как всегда, на Вергежѣ. Алексѣй Дмитріевич взял его с собой в поля, за что-то разсердился и побил сына палкой. Папѣ было уже лѣт 15 Он был так возмущен и оскорблен, что его всего перевернуло, и он не мог молиться...

Вскорѣ послѣ этого Алексѣй Дмитріевич умер, и в семьѣ пошли имущественные споры, в которых бабушка Татьяна Яковлевна, несмотря на свои хорошія манеры и налет европеизма, большой мудрости и сдержанности не проявила. Дѣдушка заранѣе, на случай своей смерти, купил для нея в Нвгородѣ дом, деревянный, с мезонином, хорошій, просторный, благообразный. И деньги ей оставил. Три старшія дочери были выдѣлены раньше, когда выходили замуж. Для двух младших, незамужних, было отложено 50.000 рублей, проценты с которых обезпечивали им приличное существованіе, тѣм болѣе, что жили онѣ с матерью. К сыновьям переходили земли и деревни с крѣпостными. Но дѣдушка в завѣщаніи не распредѣлил недвижимое имущество, а, главное, не указал, кому из сыновей должно перейти родовое гнѣздо, Вергежа.

В Россіи не было майората, не было прав старшинства, и всѣ пять братьев имѣли равныя права, равныя доли. Землемѣры и стряпчіе распредѣлили тысячи дѣдовских десятин, с лѣсами, угодьями и живыми душами, на пять равных долей. Наслѣдники никак не могли сговориться, кому какую часть брать... Рѣшили тянуть жребій. Моему отцу было 16 лѣт. Он еще был в Училищѣ и цѣликом признавал авторитет старших братьев, предоставив им разбираться в дѣлежѣ.

Было лѣто. Пока другіе шумѣли в гостиной, младшій наслѣдник ушел в сад, забрался в кусты красной смородины, которую очень любил, и стал уплетать ягоды с жадностью, свойственной его возрасту. Посланный за ним казачек с трудом разыскал барчука в смородинной чащѣ... В гостиной он нашел мать и стар-

шихъ братьев, взволнованных и сердитых. Они сказали ему, что надо тянуть жребій.

— Такіе всѣ были злые, что я только и думал, поскорѣе вытянуть и удрать. Тянули жребій по старшинству. Я, как младшій, послѣдній. Стали разворачивать билетики, и вдруг у меня Вергежа. Братья на меня разсердились и надолго. А чѣм же я виноват?.. Судьба...

Я нѣсколько раз слышал от отца этот короткій разсказ, и каждый раз в его темных, красивых глазах сіяло лукавство и радость, что судьба его, а не кого другого, сдѣлала хозяином Вергежи. Это было не просто имѣнье, имущество. Для него, для его жены, для дѣтей и внуков, это была поэма. Ну, а для правнучек, родившихся в изгнаніи, никогда не видавших Вергежи, это уже Град Китеж, затонувшій на днѣ революціоннаго провала.

Старшій брат моего отца, морской офицер, Дмитрій Алексѣевич, всю жизнь не мог примириться с тѣм, что не получил Вергежи. Всю жизнь дулся он на моего ни в чем неповиннаго отца, и бывал у нас рѣдко. Пріѣзды на Вергежу обычно кончались для него жестокими припадками астмы. Точно его душили воспоминанія о несбывшихся надеждах. Дядя Дмитрій был дикій барин, вспыльчивый до буйства. Во флотѣ он служил не долго, как и другой мой дядя моряк, Сергѣй Алексѣевич. Оба рано вышли в отставку и занялись устройством усадьб на доставшихся им от отца землях. Дядя Дмитрій получил деревеньку Бабино, около станціи того же названія, на Николаевской желѣзной дорогѣ. Его усадьба лежала между станціей и деревней. Послѣ освобожденія крестьян, которое дядя принял, как личное оскорбленіе, он запретил бывшим своим крѣпостным проходить через его земли. У мужиков не было никакой охоты давать крюка, и они упорно нарушали сумасбродный запрет. А дядя Дмитрій, замѣтив ослушника, стремительно выбѣгал из дому и гнался за ним с револьвером.

Этим же револьвером угрожал он иногда своей теще, Назимовой, жившей у него в Бабинѣ. К этим внутренним налетам побуждала его родительская любовь и забота о сыновьях. Их было шесть. Дядя рѣшил всѣх сдѣлать моряками, и из них, дѣйствительно, вышли очень хорошіе моряки. Подготовка в Морской Корпус стоила 1.000 рублей. У него этих денег не было, а у тещи онѣ были. Если теща упрямилась, не сразу выкладывала денежки на стол, дядя Дмитрій, вооружившись револьвером, колотил в запертую дверь ея спальни, пока осажденная старуха не откупалась соотвѣтственной контрибуціей. Дядя сразу успокаивался, и в их просторном домѣ, выстроенном на манер корабля, с длинным коридором, куда выходили всѣ комнаты, водворялся мир.

Жена его, Марья Дмитріевна, урожденная Назимова, была очень красивая, мягкая, привѣтливая. Но с каждым ребенком на нее находили припадки буйнаго помѣшательства. Тогда ея взбалмошный муж превращался в терпѣливую, заботливую няньку...

Дядя Сергѣй был другого склада. Я его еще рѣже видала, чѣм дядю Дмитрія. Нас, дѣтей, очень занимали разсказы о нем. В них слышалось что-то необычное. Молодым моряком попал он под команду адмирала Путятина, когда тот шел на фрегатѣ «Паллада» в Японію. Дядя не вынес жестокой дисциплины, которую вводил Путятин, и, под предлогом болѣзни, списался гдѣ-то, чуть ни в Лисабонѣ. Этим кончилась его служба во флотѣ. Он поселился в деревнѣ, выстроил себѣ усадьбу в лѣсу, около Апраксина Бора.

Уже послѣ освобожденія крестьян, он на почтовой станціи плѣнился чернобровой, круглолицей служанкой Дуняшей, сдѣлал ей предложеніе, женился, зарылся в своей глухой усадьбѣ и зажил той опростившейся полумужицкой жизнью, которую только много лѣт спустя начал проповѣдывать Толстой. Я у этого опростившагося дворянина никогда не была. Его вдова, полная,

неразговорчивая женщина, с манерами степенной крестьянки, раза два пріѣзжала на Вергежу со своими дѣтьми. С кузинами мы были привѣтливы, как всегда со всѣми гостями. Но мы чувствовали, что онѣ не такія, как мы. Мать передала им свой крестьянскій, грубоватый говор. И она, и дядя Сергѣй были совершенно равнодушны к их ученью. Только послѣ его смерти, по настоянію моего отца, дѣвочек отдали, наконец, в духовное училище, а сын дальше четырехкласснаго училища не пошел, что впрочем не помѣшало ему стать очень дѣльным земским дѣятелем.

Тырковская семья была не из дружных. Послѣ раздѣла остались трещины, которыя бабушка Татьяна Яковлевна не старалась сгладить. Она тоже была глубоко уязвлена тѣм, что Вергежа не осталась в ея пожизненном владѣніи. Мой отец почтительно и настойчиво предлагал своей матери по-прежнему жить в усадьбѣ, но она сразу выѣхала из Вергежи в свой дом в Новгородѣ и увезла с собою всю обстановку, включая библіотеку, которую подарила новгородскому дворянскому собранію. Моему отцу достался старый, обжитый нѣсколькими поколѣніями Тырковых, дом, но совершенно опустошенный. К нам не перешло ни одного портрета, нам не досталось тѣх, крѣпко приросших к полу, к стѣнам вещей, которыми полны на Западѣ даже скромные деревенскіе дома. Послѣ смерти бабушки, отец купил от своих сестер, живших с ней, часть прежней вергежской мебели. Все же старый дом так до конца остался полуустроенным.

Моя мать не гналась за обстановкой, посмѣивалась над тѣми, кто придавал ей значеніе. В петербургских наших квартирах держался извѣстный уровень. Там приходилось ей принимать и отдавать визиты, хотя мама и это старалась упростить. В деревнѣ, особенно пока дѣти были маленькими, мы жили своей замкнутой, но необыкновенно полной жизнью, на которой отсутствіе ковров и занавѣсей, потрепанная обивка кресел не отражались.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО

Мы неизмѣнно проводили длинныя лѣтнія каникулы на Вергежѣ, а позже мама и совсѣм там поселилась. Мы никогда не жили на дачѣ, и в самом словѣ дачники нам слышалось что-то мѣщанское, непривлекательное. Из года в год переселялись мы в маѣ на Вергежу, в сентябрѣ возвращались в Петербург. Каждый год мы прiѣзжали немного другiе, чѣм были в год минувшiй, а за три мѣсяца жизни в деревнѣ мѣнялись еще больше, чѣм за долгiе мѣсяцы жизни в городѣ. Но во всем этом было непрерывное теченiе, был свой круговорот. Возвращаясь на Вергежу весной, мы находили все и всѣх такими, какими мы их оставили осенью. Дѣти большiя консерваторы, и эта устойчивость нравилась нам, создавала чувство увѣренности. Какiе-то корешки закрѣплялись. Поэтому жизнь на Вергежѣ вспоминается не по годам, а во всей своей длительности. Каждое лѣто, как звено непрерывной цѣпи.

Сборы к отъѣзду на Вергежу начинались заранѣе. Сразу послѣ Пасхи, как только вынут двойныя зимнiя рамы, горничныя, няня, гувернантка несут к мамѣ в ея большую спальню наши лѣтнiя платья, башмаки, шляпы. Разглядывают, совѣщаются. Меня это не интересует. Я сижу у себя в дѣтской с книгой, боюсь, как бы меня не позвали примѣрять. Будут приставать, да еще приговаривать — опять Диночка выросла из своих платьев. Дѣтей сердят, обижают эти разговоры, — ах

как ты выросла! Примѣрок я ни у каких портных, ни в каком возрастѣ терпѣть не могла.

Совѣщаніе у мамы кончено. Та же процессія пускается обратно в другой конец квартиры, и дѣтское добро опять размѣщается по шкафам и полкам. Не отрываясь от книг, я чувствую, что мама осталась одна. Около нея еще лучше читается, хотя разговаривать о том, что я читаю, я даже с ней не люблю. Она это знает и оставляет меня в покоѣ, только мельком, точно невзначай, пробѣжит глазами по книгѣ и ничего не скажет. Я и без разговоров знаю, что если это Лермонтов, Некрасов, Пушкин, Тургенев, она довольна. Если это Bibliothèque Rose, которую дает мнѣ французская гувернантка M-lle Alexandrine, мама тоже довольна, но не так. Я больше всѣх ея дѣтей, не по возрасту, была жадна к книгам, цѣликом в них уходила. Мама это поощряла, но иногда стралась оторвать от книжки, посылала гулять или играть. В городѣ ей это не всегда удавалось. Отложив бумажку, на которой она дѣлала список нужных для деревни вещей, она спрашивала меня:

— Ну, а как с книгами? Что ты хочешь взять?

Я подымаю глаза от книги и смотрю на нее.

Как я была бы счастлива, если бы я могла мысленно увидать ее такой, какой она была тогда. Но лицо молодой матери дѣти так рѣдко запоминают. Ощущеніе ея близости, ея тепла, запах ея рук и платья, когда в минуты огорченій с разбѣга сунешься мокрым лицом в ея колѣни, ея взгляд, ея улыбка, через которые жизнь вливается в ребенка, все это в нас навсегда остается. Все это часть того, что мы называем Я. На этом от поколѣнія к поколѣнію строится непрерывность жизни, безсмертіе рода. Но черты молодого материнскаго лица тают в памяти, как облака.

И себя, тогдашнюю, мнѣ трудно себѣ представить. Был, может быть, и сейчас гдѣ-нибудь есть, портрет, писанный с меня в раннем дѣтствѣ, когда мнѣ было

лѣт шесть. На нем я смуглая, как цыганка. Большіе, черные глаза смотрят непривѣтливо, упрямо. Думаю, что нелегко было мамѣ со мной возиться, хотя она и была терпѣливой воспитательницей. Она никогда не сердилась, не возвышала голоса. Сама нас не наказывала и другим не позволяла нас наказывать, но мы ее всегда слушались. Кроткая, мягкая, в то же время сильная, она становилась непреклонной, когда надо было нас оберегать. Чего ей стоило заслонять нас от папиных гнѣвных вспышек. Она воспитывала нас иначе, чѣм это дѣлалось при его родителях. Хотя у отца характер был очень крутой, а у нея мягкій, но она вела нас по своему и Вергежскіе порядки по своему наладила.

Книги занимают такое большое мѣсто в моей жизни, что вопрос, какія книги брать, меня очень волнует. Я угрюмо каркаю:

— Если няня будет укладывать, у нея для моих книг никогда нѣт мѣста. Только для всякой дряни. Для тряпок.

— Нѣт, книги мы с тобой сами уложим.

— Сколько мнѣ ящиков? Один или два?

У меня и голос, и взгляд вызывающій. Мама быстро, крѣпко прижимает меня к себѣ, цѣлует в лоб. Этого довольно. Я расправляюсь. Она опять берется за свою записку и, не глядя на меня, говорит:

— Когда до книг дойдет, мы их сюда, в спальню, соберем. Два ящика, не один.

Слава Богу, значит, мои толстыя книги про насѣкомых и растенія влезут. И папки для гербарія, и все, что надо для коллекцій, помѣстится.

Время начинает ползти все медленнѣе и медленнѣе. Не дождаться, когда придут каникулы. Мамѣ много хлопот. Надо сдѣлать покупки, все запасти на три мѣсяца. Она берет меня с собой в Гостиный Двор. В большом мануфактурном магазинѣ Совѣтова знакомый приказчик подает нам два стула и начинается безконечный выбор ситцев. Пахнет тканями. На прилавкѣ растут груды сит-

ца, кумача, сатина. На них таращатся причудливые узоры и цвѣты. Мнѣ не скучно. Мама со мной совѣтуется, что купить. Всѣм надо привезти гостинец. Я знаю всѣх этих быб, крестников, крестниц, скотниц, приказчиков, работниц, для которых выбираются матеріи. Дѣтское, острое воображеніе видит их на дворѣ, в людской, в дѣвичьей, в деревнѣ, и сладкое ожиданіе отъѣзда волнует, придает прелести лавочному обряду.

Приказчик, поигрывая аршином, мѣрит и мѣрит, разворачивает новые куски, шуршит накрахмаленным ситцем, со стуком отбрасывает в сторону непонравившіеся куски матеріи. Мама заглядывает в свою записку и со вздохом говорит:

— Еще надо 40 аршин. Я тут у вас совсѣм разорюсь.

По лицу приказчика я вижу, что он понимает, что это только шутка. Мнѣ нравится, что мы так много подарков везем. Дѣти любят быть важными и щедрыми.

Надо еще пойти в Суровскій Ряд, в лавку № 7, всегда в одну и ту же. Там и бабушка, Эмма Осиповна, покупает, и всѣ три ея дочери. И опять я довольна, что приказчик так предупредительно бросается к мамѣ, так внимательно ловит каждое ея слово. Под старость она говорила:

— Когда я была молода, куда бы я ни пришла, всѣ были удивительно внимательны. Я думала, что так всегда бывает со всѣми. А вот теперь я приду, на меня, старуху, никто и не смотрит, — и она смѣялась веселым, нестарѣющим смѣхом.

Для Суровскаго Ряда у нея тоже длинный список всяких мелочей: катушки, иголки, шерсть и шелк, шпильки, тесемки, крючки, все, что нужно для шитья, штопанья, вышиванья, вязанья. В деревенской лавочкѣ даже ниток порядочных не найти. Все надо везти с собой из Петербурга, или ѣхать за 60 верст в Новгород. Мамины списки перед весенним переѣздом на Вергежу вспомнились мнѣ, когда я читала письма Пушкина из

Михайловскаго, гдѣ он заказывал брату книги и шампанское, ваксу, перья, чернила, сыр, сочиненія Байрона.

Чѣм ближе становилось к отъѣзду, тѣм мы, дѣти, становились несноснѣе, ссорились, подсовывались всѣм под ноги, рылись в уже уложенных ящиках, вытаскивали оттуда свои вещи, совали без спросу на их мѣсто другія. Главная кладь посылалась вперед малой скоростью. Во всѣх комнатах стояли корзины, ящики, чемоданы. Надо было тащить с собой постельное бѣлье, платье, часть посуды, лѣкарства, книги, лабазную провизію. Екатерина II, описывая свои путешествія в Москву, при Елизаветѣ, разсказывает, что за ними везли даже кровати и мебель, настолько скудно было тогда придворное хозяйство. Сто лѣтъ спустя мы, скромные помѣщики средней руки, мебели с собой не возили, но тащили многое, что слѣдовало бы имѣть в двух комплектах. Слѣдовало бы, если бы на это хватало денег. Их у нас всегда было мало. Разговоры отца с матерью о деньгах тучей надвигались среди праздничных сборов в деревню. Ее они очень тяготили. Она не любила просить денег у папы. В нем не было ни скупости, ни жадности, но его созаніе еще не оторвалось от натуральнаго хозяйства, когда только незначительная часть семейных расходов и нужд требовала денег, а все остальное добывалось крѣпостным домашним трудом. Папѣ все казалось, что можно обходиться без денег, без них справиться.

— Откуда я возьму такія деньги? У меня их нѣт, — сердился он.

В отвѣт раздавался ровный, тихій голос мамы:

— Но вѣдь ты знаешь, что и мнѣ их неоткуда взять. Если у тебя денег нѣт, то ничего не подѣлать. Не поѣдем в деревню, останемся в городѣ. Только это будет еще дороже стоить.

Мы из другой комнаты слышим их разговор. На

дѣтских лицах ужас и негодованіе. Не поѣдем в деревню? Неужели он этого хочет?

Конечно, он этого не хотѣл и деньги гдѣ-то находил, но в нашем весеннем переселеніи не участвовал, свой лѣтній отпуск брал позже, в сѣнокос. Комендантом нашего весенняго каравана была мама. Дорога была не дальная. Мы выѣзжали из Петербурга утром, а днем уже были на Вергежѣ. Сто восемнадцать верст по желѣзной дорогѣ, двѣнадцать на пароходѣ. В Петербургѣ мы всегда жили близко от Николаевскаго вокзала. Извозчик стоил не больше четвертака, но их нужно было нѣсколько штук, не считая ломового, на котораго водворялся кухонный мужик, громоздкіе чемоданы, тюки. Их всегда набиралось так много, что даже мама теряла терпѣніе и с укором говорила:

— Ну, куда вы все это тащите?!

Няня Агафья Васильевна обиженно поджимала губы:

— Все с вашего позволенія, барыня. Я вас про каждую штучку спрашивала, что брать, что не брать.

Вокзал и поѣзд это уж преддверіе рая. Носильщики, толкотня, поиски мѣста, суетливая раздражительность старших нас не смущали. Только бы захватить мѣсто около окна. Остальное не важно. Попав в вагон, мама прежде всего провѣряла, всѣ ли мы тут. Два старших брата жили своей жизнью и пріѣзжали на Вергежу позже. Сначала двигались мы пятеро — Маруся, Алеша, Сережа, Дина, Соня. Мама обводит нас взглядом. Всѣ тут. Теперь надо пересчитать вещи. Это труднѣе. Начинается путаница. Никто не запомнил твердо, сколько было мѣст, пятьдесят или больше? Спорят, заглядывают под скамейки, передвигают тяжелые чемоданы, закинутые на сѣтки. Да еще мы, дѣти, сбиваем. Француженка находит, что ея клѣтку с канарейкой поставили слишком высоко и требует, чтобы горничная достала клѣтку и поставила на столикѣ между нами. Александрин говорит быстро. Ея парижскій

говор похож на щебетанье ея канареек. Но русская прислуга умудряется ее понимать. Когда захочет.

Сейчас горничная Софья сидит, как истукан. У нея чухонское лицо, невозмутимое, некрасивое, плоское. На самом дѣлѣ она очень эмоціональна, но хорошо умѣет это скрывать. 45 лѣт прослужила она в нашей семьѣ, но мы рѣдко видѣли, чтобы она потеряла равновѣсіе. Обычно она молчит, как стѣна. Молчаніе ея опора, щит и утѣшеніе. И сейчас Софья с маленьким узелком на колѣнях сидит против тараторящей француженки, смотрит на нее бѣлесыми глазками и молчит, точно ничего не понимает.

Мы, дѣти, отлично знаем, что Софья, убирая комнаты, подавая к столу, наслушалась наших французских разговоров и многое понимает. Она знает, чего от нея хочет гувернантка, но молчит. Нас забавляет эта игра, но я на сторонѣ Александрин. Дѣло идет о птичках, а все, что живет, плавает, ползает, бѣгает, летает, все это меня касается. Я и к Александрин привязалась, потому что она любит звѣрей, заводит лѣтом ежей, лѣчит и приручает то маленьких воробушков, то ворону с подбитым крылом, то журавля со сломанной ногой. Я от Софьи не отстану, пока клѣтка с канарейкой не водворится на столикѣ у окна.

Поѣзд двигается. За окном тянутся однообразныя болотистыя поля и мелкіе перелѣски. Красиваго мало. Но это ничего. Из открытаго окна уже пахнет деревней. Каждая травинка, куст, дерево подталкивают нас ближе к Вергежѣ. По желѣзной дорогѣ надо ѣхать меньше четырех часов, но не успѣвает поѣзд тронуться, как мы начинаем приставать, попрошайничать:

— Сколько еще осталось? Скоро Волхово? А когда ѣсть будем?

Нянюшка ворчит:

— Давно ли фрыштыкали. Выдумщики какіе.

Но мы не сдаемся, особенно Сережа и я. Мама смѣется, говорит кухаркѣ, Вѣрѣ:

— Ну что же, Вѣра, дайте дѣтям по пирожку, если им так ѣсть хочется.

У Вѣры на колѣнях бѣлая корзинка, откуда вкусно пахнет жареным и печеным. Особенной жадностью к ѣдѣ я никогда не отличалась, но я до сих пор помню, с каким сладострастным волненіем мы слѣдили за тѣм, как Вѣра, не торопясь, снимает с корзинки чистое, бѣлое полотенце, как она перебирает шуршащія бумажки, сквозь которыя проступают масляныя пятна, как роется, ищет что-то в глубинѣ корзинки. Это она нарочно копается, видит, что мы страшно голодны, вот и дразнит. Дразнить Вѣра, дѣйствительно, любила. В этой отличной прислугѣ было ироническое классовое раздраженіе против бар. Неглупая, острая на язык, она всю жизнь вынуждена была приспособляться к господам, работать на них, заботиться об их удобствах.

— У господ только и дѣла, что тарелки пачкать, — говорила она с усмѣшкой.

Была у нея еще поговорка:

— Мы и на том свѣтѣ будем на господ работать, — они в котлах кипѣть, а мы дрова подкладывать.

Это не мѣшало ей быть надежной, добросовѣстной прислугой и отличной кухаркой. Пирожки она пекла чудесные и мы уничтожили их в невѣроятном количествѣ. В ея заманчивой корзинѣ были куры, телячьи котлеты, крутыя яйца, ватрушки с творогом и вареньем. Всѣ эти вкусныя вещи имѣли в поѣздѣ, по дорогѣ на Вергежу, особый, неповторимый вкус.

Наконец, Волхово. Наша станція. Мы уже дома. Вид на длинное рыбацкое село, запах рѣки, люди: все свое, домашнее, близкое. Высокая деревянная платформа, просторное, тоже деревянное, станціонное зданіе, выстроенное еще при Николаѣ I. Через него выход на широкую лѣстницу, ведущую к пароходу. Желѣзныя крыши купеческих домов по ту сторону небольшой гавани, гдѣ причаливают пароходы, — все это мы знаем наизусть. И в довершеніе всѣх радостей сразу появ-

ляется Пожарскій. Он носильщик, всего только носильщик, но встрѣчает он нас, как хорошій хозяин желанных гостей. Высокій, прямой, с окладистой сѣдѣющей бородой, с широкой, ласковой, как у добраго дядьки, улыбкой, он обдает нас привѣтливостью, которую так тепло умѣют проявлять простые русскіе люди. Пожарскій был Николаевскій солдат, от тѣх суровых времен сохранил выправку и дисциплину, но остался свободным и независимым. Путников он окружал такой дружеской услужливостью, что при одном имени Пожарскаго угрюмыя лица прояснялись, точно по ним пробѣгал отблеск его улыбки. Исполнительный и сообразительный, Пожарскій все отыщет, ничего не спутает, не забудет. У этого рядового носильщика на второразрядной станціи, гдѣ даже не останавливались скорые поѣзда, была отличная память на лица, на имена, на порученія. Пожарскій знал и мѣстных жителей и постоянных проѣзжих, быстро в них разбирался, каждому вѣрно опредѣлял цѣну.

Для нас Пожарскій был милым преддверіем Вергежи. Когда мама, точно насѣдка, окруженная цыплятами, выходила на Волховѣ из поѣзда на платформу, Пожарскій встрѣчал нас, приложив руку к козырьку, и не спѣша шел в вагон за вещами. Мама облегченно вздыхала. Пожарскій здѣсь. Пожарскій и нас, и наши 50 кульков пристроит на пароходѣ к мѣсту. И там мы уже почти у себя.

На пароходѣ другой важный мѣстный человѣк, другая опора, шкипер, Илья Афанасьевич Голиков. Он держит связь между нами и внѣшним міром, он доставляет почту, исполняет порученія, покупает для нас в Новгородѣ разсаду, мясо, иногда живых поросят и телят. Но Голикова мы, дѣти, побаиваемся. Голиков стоит наверху, на капитанском мостикѣ, важный, недоступный, несловоохотливый. В нем нѣт душевной уютности Пожарскаго. Зато Голиков дает свисток, возвѣщает о нашем пріѣздѣ. Не один, два свистка, чтобы подали двѣ

лодки. Свистѣть он начинает заранѣе, еще от канавы, которая проведена через наши луга к Волхову за версту от усадьбы. Свисток будет длинный, чтобы дворник Кузьма чувствовал, что ѣдут господа. Для других пассажиров, попроще, Голиков дает свисток, только подъѣзжая к усадьбѣ, да и то короткій. Если лодочник не успѣет за ними подъѣхать, тѣм хуже для них. Пусть сходят на Высоком, в селѣ на противоположном берегу. Но Тырковскому семейству полагается сходить у себя на мызѣ, в свою лодку. Для шкипера было бы не гоже не высвистать во время лодку и провезти нас мимо.

Темныя линіи Вергежскаго сада на холмѣ видны издалека, почти от самой станціи. Между нами идет состязаніе, кто первый увидит липовую аллею и крылья мельницы. У Сережи зоркій, охотничій глаз. Алеша думает о чем-то своем, и Сережа часто нас в этой игрѣ перегоняет. Мельница поставлена на самом краю нашего холма, как сторожевая башня. В старыя времена на этом мѣстѣ и был сторожевой пост. Враги могли появиться с сѣвера, с запада. Усадьба выросла на Великом Пути из Варяг в греки, из Скандинавіи в Царьград. Когда-то на скатѣ, ниже мельницы, стояла церковь. Обломки стараго оружія не раз выпахивали из наших полей. Вѣрно случалось им быть полем битвы. Много мог бы разсказать наш холм, если бы на нем порыться. Но в нашей семьѣ лѣниво прислушивались к голосам прошлаго.

Пароход, замедляя ход, останавливается против нашего дома. Голиков отрывисто, властно командует вниз по трубѣ машинисту:

— Замедляй... Стоп...

А нашему дворнику, Кузьмѣ, кричит:

— Правым, правым... Наддай... Стоп. Лѣвым, лѣвым...

Матрос бросает Кузьмѣ свернутую веревку. Кольцом, с шелестом, как змѣя, падает она на дно лодки.

Кузьма подхватывает конец, подтягивается к желѣзному сходню, хватается за него.

— Няня, Вѣра, спускайтесь в лодку, помогите дѣтям.

Но онѣ обѣ мнутся, боятся воды, боятся лодки. Дѣти первыя сбѣгают по чугунной лѣсенкѣ, радуются, что лодка колышется, вертится. В этой водяной зыбкости есть что-то родное. Вергежское.

Мы с дѣтства бездумно ощущали красоту Вергежи, как всѣм тѣлом и всей душой, но безсознательно, ощущали мамину красоту. Вергежа стояла на рѣдкость живописно, на холмѣ, обрамленном рѣкой. У подножья льется Волхов, просторно, неторопливо. Наш, лѣвый, берег пониже, на нем поемныя луга стелются дальше вглубь, дальше к лѣсу отходят горбыли, гдѣ тянутся деревни. На противоположной сторонѣ невысокіе обрывы мѣстами подходят к самой водѣ. Рѣка, то суживаясь, то расширяясь, поворачивается, изгибается широкими колѣнами. Весной в половодье волны плещутся на нижней опушкѣ сада, подмывают елки, липы, вербы, черемухи, с трех сторон обступают наш холм. Он весь опушен старыми деревьями. Темной зеленой массой наступают они на дом. Из этой зеленой рамки выступает шесть бѣлых колонн, поддерживающих двухэтажный балкон. От щебнистаго берега к неширокой, длинной террасѣ перед домом подымается неказистая, деревянная лѣстница. Зато какая пышная сирень жмется к ней с обѣих сторон. Обычно она зацвѣтает к началу наших каникул. Тяжелыя, лиловыя грозри, насыщенныя жирным ароматом, кланяются нам, когда мы стремглав, никого и ничего не слушая, мчимся наверх. Из зеленой чащи, покрывающей весь скат, доносится застѣнчивый запах ландышей. Каждая травка, каждая вѣточка, сама земля пахнут особенно, по Вергежски. Хочется кричать от радости. Да мы и кричим, так просто кричим, безсмысленно, торжествующе. Так трубят мо-

лодые слонята, добравшись в джунглях до тѣнистой свѣжести рѣки.

Отец пріѣзжал рѣдко, и одной из прелестей деревенской жизни было цѣликом отдаваться во власть маминаго либеральнаго правленія. Столько сил, вниманія, любви отдавала она нам, что и в городѣ все вращалось около нея. Всѣх семерых выкормила она своей грудью, что тогда, как и теперь, многія матери предпочитали не дѣлать. У мамы под началом было достаточно прислуги, были русскія няни, нѣмецкія бонны, французскія гувернантки, но всѣ онѣ были только исполнительницами ея указаній. Одна нянюшка Агафья Васильевна была самостоятельной пѣстуньей нашего дѣтства. Это ей далось не за ум, а за чуткое, любвеобильное сердце.

Само собой разумѣется, что нянюшка Агафья Васильевна, прослужившая в нашей семьѣ почти пол-вѣка занимала в нашем домѣ мѣсто важное и отвѣтственное, трудовое и почетное. Она срослась с семьей, не имѣла других интересов, кромѣ наших, была неотдѣлима от жизни не только дѣтей, но и взрослых. Ее на всѣх хватало. Когда она поступила к нам, чтобы няньчить мою младшую сестру, ко мнѣ уже была приставлена французская гувернантка, но все-таки я твердо знала, что это няня и моя, вообще наша няня. Со всѣми мелочами нашей дѣтской жизни мы шли к ней, справедливо увѣренные, что она не только одѣнет и раздѣнет, обует и разует, накормит, вымоет руки, причешет, но и разсѣет волненья, огорченья, страхи, которые порой так бурно вторгаются в дѣтскую душу. Могут ее и ранить, если нѣт около любящей руки. С няней мы позволяли себѣ гораздо больше шалостей и капризов, чѣм с иностранными гувернантками, но ея воркотню, — а поворчать она любила, — мы принимали, как заслуженную. Ну а наставленія ея далеко не всегда принимали во вниманіе.

Вечером, когда мы с Соней уже лежали в кроватках, а нянюшка, плотно подоткнув кругом наши одѣ-

яла, тушила лампу и зажигала перед образом лампадку, мнѣ было так уютно слѣдить за ея неторопливыми движеньями. Она снимала темное платье, надѣвала бѣлую, широкую ночную кофточку, долго расчесывала свои густые волосы. Двѣ длинныя темныя косы ложились через плечи на грудь. В полутьмѣ, при розовѣющем мерцаньи лампадки, няня молодѣла и хорошѣла, казалось мнѣ совсѣм иной, чѣм днем, точно вышла из одной из моих сказочных книжек.

Молилась она долго, шепотом, со вздохами, Крестилась часто, широким крестом. Я с боку смотрѣла на ея, такое знакомое, такое близкое лицо, обращенное к образам, и глубже разливалось в моем дѣтском, уже полусонном, тѣлѣ то живительное ощущеніе опоры и тепла, которое от нея исходило. Конечно, я даже для себя, внутри себя, не облекала его в слова. Просто и бездумно набиралась от нянюшки живительных флюидов любви, которые и сейчас еще меня поддерживают. Сколько таких преданных, любящих, мудрых русских нянюшек оберегали и одухотворяли дѣтскую жизнь своих питомцев, наложили на них свою незамѣтную и нестираемую печать.

Когда мы стали учиться грамотѣ, мы с удивленіем узнали, что няня у нас неграмотная. С безпокойным великодушіем дѣтства мы засуетились около нея, стараясь подѣлиться с ней нашей мудростью. Ей самой страшно хотѣлось научиться читать и писать. Она питала почти суевѣрное уваженіе ко всякой учености и на наши школьныя дѣла смотрѣла снизу вверх. Но наши педагогическіе порывы ей ничего не дали. Наши буки-аз просто не влѣзали в ея дѣвственные мозги. Я не знаю, сколько ей было лѣт, когда она к нам поступила, вѣроятно, меньше 30, но книжной сообразительности у нея оказалось меньше, чѣм у малого ребенка. Она жалобно говорила мамѣ, которая была отличной учительницей и тоже стралась ее просвѣтить:

— Ужь вы, барыня, научите меня хоть в одной книжкѣ читать...

Мама пыталась ей помочь, но бѣдная наша нянюшка даже русскую азбуку никак не могла осилить, хотя старалась буквально в потѣ лица. Несмотря на это у нея явилось честолюбивое желанье учиться по-французски. Она брала мою большую французскую азбуку, разглядывала крупныя буквы и подписи под рисунками, и повидимому не шутя ждала, что французская грамота дастся ей лучше чѣм русская. Я отнеслась к этому очень спортивно и смѣло бросилась ей на помощь, с рьяностью старой гувернантки заставляя ее повторять за мной французскія слова. На ея широком, скуластом лицѣ, с глубоко запавшими сѣрыми глазами, появлялось напряженное, сосредоточенное выраженіе. Губы вытягивались в трубочку. С усиліем, точно ей не хватало воздуха, она произносила:

— Лё тамбур...

И тыкала пальцем в большой барабан, который нес маленькій барабанщик в солдатской формѣ. Потом няня находила бѣленькаго ягненка на ярко-зеленом лугу, также тыкала в него пальцем и говорила:

— Лё мутон...

На ея лицѣ сіяло умственное удовлетворенье, которое заражало и меня, учительницу. Эти два слова она твердо, на всю жизнь запомнила. Но больше ничего ни в одной книгѣ не выучила. Так и осталась при своем мутонѣ и тамбурѣ. А по-русски с величайшим трудом, да и то не твердо, научилась кое-как разбирать вывѣски.

Но это органическое непріятіе печатнаго слова вознаграждалось у нашей нянюшки цѣннѣйшими душевными и даже умственными качествами. Рѣдкій такт, обходительность, умѣнье разбираться в людях, знать как с кѣм обращаться. Среди многочисленной нашей прислуги, за ней было признано неоспоримое старшин-

ство, не по господскому назначенію, или приказу, а по моральному авторитету, по заслугам.

Там, гдѣ нѣсколько женщин обслуживают своим трудом большое и все-таки порядочно избалованное семейство, ссоры и свары неизбѣжны. Нянюшка никогда не принимала в них участія, ни с кѣм не пререкалась, самое большое, если переставала разговаривать. Если в кухнѣ подымалась словесная буря, няня быстро кончала свою ѣду и уходила в дѣтскую, позже в свою комнату. Она знала, что все равно к ней придут, будут друг на друга, или на господ, жаловаться, плакать, грозить уходом. Она даст им выговориться, выплакаться, потом вынесет свое сужденіе, справедливость котораго рѣдко оспаривалась, научит, успокоит, найдет выход. И все это без хитрости, по-хорошему. Няня дурному не научит. Ей можно все сказать, она ничего не разболтает, чужого секрета никогда не выдаст.

И никогда не покривит душой, не скажет неправды.

Мама очень быстро оцѣнила няню, ея прямоту, правдивость, любвеобильность. Ко многому пришлось нянюшку пріучать, по своему ее перевоспитывать, но в основном, в понятіи добра и зла, мама и няня сходились, без слов понимали друг друга и довѣряли одна другой. Трудновато иногда бывало внушить нянюшкѣ гдѣ кончается дѣтская независимость, гдѣ начинается баловство. Но в лицѣ нянюшки Агафьи Васильевны мама пріобрѣла не только исполнительницу, еще меньше наемницу, а вѣрнаго надежнаго друга, тонко отзывавшагося на мамины указанья и заботы, трудности, тревоги, горести. Но между ними не было излишних сантиментальностей. Когда няня говорила, — так барыня приказали, — в этих словах звучало твердое признаніе маминаго превосходства.

Нянюшка легко плакала. Могла на барыню и обижаться. Но мама такое настроеніе быстро прекращала,

за него выговаривала нянѣ, как нам дѣтям за капризы. Спокойное мамино замѣчаье:

— Нянюшка, перестаньте. У вас глаза на мокром мѣстѣ, — сразу дѣйствовало на нянюшку отрезвляюще. Но такіе разговоры рѣдко происходили при дѣтях и никогда при других служащих. Это должно было оставаться между ними двумя.

Нянюшкин авторитет распространялся и на ея деревенских знакомцев на Вергежѣ. Бабы из сосѣдних деревень приносили ей свои нехитрые гостинцы и шепотом разсказывали ей свои семейныя и житейскія дѣла. Нянюшка слушала, внимательно глядя на собесѣдницу, и для каждой находила утѣшительное слово. А случалось, что и укоризненное.

Мы, дѣтьми, бѣжали к ней за дѣлом и без дѣла. Когда подросли, за совѣтом к ней не ходили, но она оставалась необходимой частью нашей жизни и на всякія наши треволненья всѣм сердцем отзывалась.

Нянюшка вырастила не только нас, четверых младших дѣтей, но и слѣдующее поколѣнье. Когда моя старшая сестра вышла замуж, мама уступила ей нянюшку, вродѣ как в приданое дала. Сначала нянюшка была у Маруси одной прислугой, когда пошли дѣти, опять стала нянюшкой. Потом перешла ко мнѣ, няньчить моих дѣтей. Когда они, стали школьниками, она поступила к моей младшей сестрѣ, помогала ей поднять трех сыновей и дочку. В общем нянюшка у нас подняла 15 ребятишек, десятки лѣт жила окруженная смѣнными тырковскими поколѣьями. Так и жизнь свою дожила на Вергежѣ, в нашем родном гнѣздѣ, которое и для нея стало родным. Когда она умерла, ея воспитанники, уже студенты, пріѣхали из Петербурга проводить до мѣста вѣчнаго покоя свою вѣрную и ласковую пѣстунью. У всѣх нас стало одним чутким и преданным другом меньше.

Нянюшка была единственной безсмѣнной маминой

помощницей при дѣтях. Остальныя воспитательницы были скорѣе проходящими, хотя нѣкоторыя и пробыли у нас по нѣсколько лѣт. Мама нас никогда не сбрасывала с рук, не сдавала нас наемницам, сама за всѣм слѣдила, всѣм руководила. Она сама нас всѣх выучила русской грамотѣ по новой звуковой методѣ, которая только в 60-х годах вытѣснила прежнее аз-буки-веди. Учительница она была очень хорошая и, благодаря ея настойчивости, мы знали русскую грамоту лучше многих наших сверстников. С такой же настойчивостью заставляла она нас с ранних лѣт учить французскій и нѣмецкій, но это уже поручалось гувернанткам. Эти уроки шли, главным образом, лѣтом, но не нарушали нашего счастья.

Мы на Вергежѣ досыта, допьяна упивались свободой и привольем, впадали в радостную дикость, с которой гувернантки были безсильны бороться. В классную комнату онѣ нас каждое утро загоняли, вдалбливали в нас русскую, французскую, нѣмецкую грамматику. Но самое важное ученіе шло прямо от жизни, энергія накоплялась и тратилась под открытым небом. Сад, поля, лѣса, рѣка, вот гдѣ были наши классныя комнаты. У меня была врожденная страсть к естествознанію, которую гимназія усилила, а мама поддерживала, подбирала для меня книги и справочники. Я рылась в них, собирала коллекціи насѣкомых и растеній, классифицировала их. Мама не жалѣла денег на расправителей, на длинныя особенныя булавки для насѣкомых, на акваріумы и терраріумы. С улыбкой одобренія смотрѣла она, как я, мокрая, замазанная глиной и тиной, тащу наловленных в пруду головастиков и личинок для моего акваріума. Головастиков приходилось охранять, стеречь, чтобы их не слопали хищныя личинки большого водяного жука. Я хорошо разбиралась в гусеницах, выводила из них бабочек. Только я одна во всем домѣ знала, как их зовут, что онѣ ѣдят, как надо с ними обращаться. Только мои лѣтнія каникулы были нераз-

рывно связаны с царством насѣкомых, на которых я и сейчас поглядываю, как на старых пріятелей. Тут у меня был свой мір, которым ни братья, ни сестры, ни воспитательницы не интересовались.

Пока мы были дѣтьми, на Вергежѣ почти не бывало гостей, только бабушка Эмма Осиповна с тетей Маней проводили у нас лѣто. Обѣ держались довольно далеко от нашей дѣтской ватаги. Маму это огорчало, но не мѣшало ей быть неизмѣнно ласковой и внимательной и к бабушкѣ, и к тетѣ. В гостях она мало нуждалась. Дѣтей было так много, она была так нами поглощена, пока мы росли, что нашим обществом довольствовалась. Совсѣм молоденькой женщиной, в тѣ годы, когда ея сверстницы думали только о нарядах и выѣздах, она зачитывалась книгами о воспитаніи. С особенной блгодарностью вспоминала она Руссо и англійскаго философа Локка. Она нашла французскій перевод его сочиненій на Вергежѣ, среди немногих книг, которыя бабушка Татьяна Яковлевна не увезла в Новгород. В деревнѣ, когда папа, как мировой посредник, был в разъѣздах, в длинные, одинокіе зимніе вечера, уложив спать Адю и Витю, тогда еще единственных дѣтей, мама читала и перечитывала Локка. Она говорила, что от него взяла то уваженіе к свободѣ дѣтской личности, которое положила в основу нашего воспитанія, что он научил ее не наказывать дѣтей, не запугивать их угрозами, а стараться заранѣе предотвращать их от дурных поступков. Руссо укрѣпил в ней вѣру, что человек родится хорошим, с прирожденным стремленіем к добру. Он внушил ей, что только дурно устроенное общество толкает людей на дурные поступки.

Эти мысли и эти писатели оставили свой слѣд, но сильнѣе всяких философских разсужденій было прямое вліяніе ея собственнаго характера, ея личности. Она от природы была довѣрчива, ждала от людей хорошаго, а уж тѣм болѣе от своих дѣтей. Пока мы были маленькими, и соблазны не ворвались в нашу жизнь, ея до-

вѣріе, крѣпче всяких угроз и запретов, заставляло, вынуждало нас стараться по мѣрѣ сил быть хорошими. Главное, не врать. Мы, как и всѣ дѣти, были бы иногда не прочь слукавить, сказать неправду. Ложь — оружіе слабых, а дѣти свою слабость чувствуют. Взрослые могут сдѣлать с ними, что хотят. Но, как соврать, когда из голубых глаз матери льются на тебя голубые лучи любви. Ей мы просто не могли врать. А если и случалось, она это сразу видѣла. Ея лицо, для нас единственное на свѣтѣ, затуманивалось. Это невозможно было выдержать. Братья, Алешка и Сережка, выли, как наказанные щенки. Я была слишком горда, чтобы ревѣть на людях. Я только сжимала маленькій пухлый рот в плотный узелок, крупныя слезы катились по моему красному от ужаса лицу. Я опрометью бѣжала куда-нибудь подальше, гдѣ можно забиться в угол и уже там, наединѣ, слезами выжечь свой стыд.

Страшно послѣ этого показаться мамѣ. Но так скучно без нея, так необходимо потереться мокрым лицом об ея платье, об ея руки. Она ничего не скажет, не будет читать наставленій, заговорит о чем-нибудь другом. Только лицо не такое ясное, как всегда, и этого довольно, чтобы заставить нас чувствовать себя гадкими грѣшниками и мысленно обѣщать никогда больше так не дѣлать. А сдерживать это обѣщаніе бывало и не легко.

Пока мама не переселилась совсѣм на Вергежу, а только привозила нас туда на длинныя лѣтнія каникулы, она не занималась большим хозяйством, поля и скотный двор оставались на отвѣтственности управляющаго. Отец издали присылал ему письменныя распоряженія и не знал, исполняются они или нѣт. Но дом и сад были под маминым непосредственным дѣятельным и дѣловитым началом. При своей радостной любви к природѣ она не могла не любить садоводства. Она расширила старый дѣдовскій фруктовый сад, разводила яблони, вишни, черную смородину, малину, клубнику.

В свѣтлом платьѣ, с зонтиком в руках, она обходила огород и сад, давала указанія поденщицам, сама показывала, как сѣять и садить. У нея была, как говорится, легкая рука. Ея посадки всегда хорошо принимались. Цвѣты садить и сѣять она не довѣряла никому, любила дѣлать это сама. Потом дѣлала из этих цвѣтов, с примѣсью полевых, чудесные, художественные букеты.

Она радовалась красотѣ вездѣ и во всем, в людских сердцах и на людских лицах, в музыкѣ, в красках, в линіях. Лѣтом забиралась с мольбертом в сад, писала масляными красками этюды. Зимой брала уроки живописи, и нам нравилось, что к мамѣ тоже ходит учитель. Художницей она не стала, но на Вергежѣ осталось нѣсколько ея картин, и папина часовня была полна иконами, писаными ея рукой. При всей невзыскательности нашей обстановки мама не допускала вокруг нас ничего вульгарнаго, тѣм болѣе претенціознаго. Она переливала в нас свое чувство природы, пріучала нас впитывать в себя форму, цвѣт облаков, осеннюю окраску листьев, блеск звѣзд, переливы красок на Волховѣ, все очарованіе линій, цвѣтов, запахов.

Для нас в дѣтствѣ природа полнѣе всего воплошалась в рѣкѣ. Мы, как язычники, обожали Волхов. Он занимал огромное, царственное мѣсто в нашей жизни. Мы проводили в водѣ чуть не столько же времени, как на воздухѣ. Купались по десять раз в день. Если не плавали, то шлепали босыми ногами по каменистому берегу, искали в водѣ под камушками раков, которых никогда не находили, хотя их было очень много, ловили мелких снитков сѣтками, маленькими ведерками, а то так и просто руками. Рыбки стайками, с серебристым всплеском, похожим на веселый смѣх, стремительно разсыпались и неуловимыя, юркія, уходили от нас вглубь.

Плавать мама нас научила с ранняго дѣтства. Я не

помню такого времени, когда я не умѣла бы плавать, как не помню того времени, когда не умѣла ходить. Нам позволялось плескаться, сколько угодно. Нас никогда не стращали окриком:

— Смотри, утонешь.

Нас вообще никогда, ничѣм не стращали, хотя мамѣ, навѣрное, не раз было за нас страшно, особенно когда мы начали подростать и становились все смѣлѣе. Но нам она своей тревоги не показывала, давала нам досыта, допьяна упиваться всѣми прелестями и соблазнами большой рѣки. Отец, который хорошо помнил многочисленные запреты своего дѣтства, иногда порывался ограничить нашу деревенскую вольность. Но понемногу и он признал власть Волхова над нашей жизнью. Мнѣ было не больше одиннадцати лѣт, когда он заказал для меня маленькую, двухвесельную лодку. С каким волненіем слѣдила я за тѣм, как ее мастерили на нашем берегу два рыбака из Соснинки. Я весь день проводила около них. С гордостью смотрѣла, как они выводили на носу, черными буквами по бѣлой обшивкѣ, мое имя:

— ДИНА.

Цѣлыми часами, иногда с братьями, чаще одна, каталась я на своей лодочкѣ. Заѣду далеко, далеко вверх по теченію, лягу на дно, смотрю, как плывут, мѣняются, встрѣчаются, расходятся, тают облака, бѣлыя, сивыя, розовыя, оранжевыя. С тѣх пор, куда бы меня не закинула судьба, я смотрю на облака, как на старых товарищей, ощущаю живую связь с их дружеской толпой. Но таких облаков, какія грудятся у нас над Волховым, я уже нигдѣ не видала. На небѣ, то блѣдно голубом, то синем, то сѣром, то переливающем всѣми оттѣнками пурпурно-желтаго заката, облака жили своей жизнью, таинственной, манящей. Такія далекія, такія близкія. Они подымались высоко, высоко, разсыпались мелкими, пушистыми стадами, перекликались, в синей глубинѣ. Грудастыя, неторопливыя, сплетались они в

ожерелья, как огромныя жемчужины, плавно сходились, расходились как волшебные лебеди, готовящіеся в далекій заморскій путь.

Это были облака—друзья. Перед грозой шли они на нас, как враги, как темное войско, подползали из-за лѣсной опушки. Их перерѣзали зловѣщія колдовскія стрѣлы молній. Грозили. Военные барабаны вражеской арміи грохотали, пугали. Но мы не боялись. В наших дѣтских сердцах гроза будила не страх, а буйную удаль. Когда в жаркій, душный іюльскій день раздавалось первое глухое рычанье далекаго грома, мама бросала книгу, работу, оставляла гостей и, на ходу скликая нас, выходила из дому легко, стремительно. За ней почти бѣгом мчались мы на край холма, к мельницѣ. Наползавшая туча, бросала на неторопливыя свѣтло-коричневыя воды Волхова сине-лиловые блики. Вѣтер набегал свѣжими струйками, трепал гибкія вѣтки придорожных акацій и орѣшника, размашисто качал в саду ровныя, важныя липы и березы, что-то торопливо разсказывал старым деревьям, по пути играл с нашими волосами, забирался под наши ситцевыя платья, парусом вздувал мамину свѣтлую юбку. И вдруг падал.

Мы торопимся, боимся что-нибудь прозѣвать в небесных происшествіях. Направо от нас высокая заросль стараго сада, с покривившимся тесовым забором. Налѣво — вишневый сад. Дорога идет корридором между двумя зелеными стѣнами, мягкая, пыльная, по краям поросшая травой. Хорошо бѣжать по теплой землѣ навстрѣчу молніям, которыя вспыхивают там, в концѣ, гдѣ круглым окошком сходятся кусты орѣшника. В этом просвѣтѣ видно, как дракон с отвисшим животом крадется, подымается от горизонта, вздувается, растет, отбрасывает на далекіе поля и луга тѣни, все заслоняет, темнит, глотает свѣт. Вмѣсто радостных лучей солнца, языки молній сыпятся с неба, жалят землю. Все чаще вспышки, все оглушительнѣе гром. Не успѣли мы добѣжать до края холма, как туча уже тут, ея рва-

ные, грязные края клочками висят, копошатся над нами. Вѣтер свистит, суетится, заставляет деревья, кусты, каждую травинку кланяться тучѣ, покрывает рѣку бѣлыми барашками. Восток потемнѣл, нахмурился, но края грозовой тучи кое-гдѣ свѣтятся золотом. Кто прячется за ней? Кто так громко смѣется над напуганной землей?

Огненный карандаш стремительно чертит по лиловой тучѣ яркій свѣтлый узор. И вдруг все наполняет оглушительный, торжествующій грохот. Вѣтер бурно подхватывает мелодію, поет, хохочет. Мама, всегда спокойная, ровная, преображается, становится тоньше, воздушнѣе. Вот, вот развернет крылья и полетит навстрѣчу грозѣ. Всплескивая руками, она кричит, обращаясь даже не к нам, а к травѣ, к вѣтру, к тучѣ. Ея голос звучит бурной радостью:

— Ах, как хорошо!

— Хорошо! — отвѣчаем мы, — хорошо!

И пляшем около нея, слѣдим, как мѣняется очертанія тучи, как невидимыя руки лѣпят из нея все новыя и новыя существа, высчитываем секунды между молніей и громом, радуемся, что промежуток все укорачивается, что вот, вот разразится удар над самыми нашими головами. От грозы, от воздуха, пьянаго, как вино, от мамы струятся волнующіе флюиды, забираются в нашу кровь, которая так горячо бѣжит по здоровому дѣтскому тѣлу.

Вдали, сквозь низко нависшую тучу, начинает прорываться дождь. Понемногу весь горизонт затягивается сѣрым дождевым покровом. Тяжелыя капли пѣной покрывают темную рѣку. Мама с сожалѣніем говорит:

— Кончено. Надо домой. Сейчас хлынет.

Ей, как и нам, жалко уходить, жалко разставаться с грозой. Но первыя, теплыя, тяжелыя капли падают на голову, на плечи, на босыя ноги. Воздух уже пахнет не сухим жаром, а озонистой влагой. Вѣтер пригоршнями бросает нам в лицо холодную воду. В одну ми-

ну́ту платье прилипает к тѣлу, становится холодным. Мы опрометью бѣжим домой, уже не по открытой дорогѣ, а через сад, по аллеям, ищем защиты под их сводами. В догонку нам лѣниво вспыхивают послѣднія молніи, ворчит еще что-то гром. Точно говорит:

— Ну вот, поиграли и полно.

Вряд ли мама сознавала, какой безцѣнный запас энергіи и жизнерадостной безстрашной связи с природой заложила она в нас там, на холмѣ, у мельницы, когда кругом нас бушевали прекрасныя іюльскія грозы. Она об этом не думала. Просто всѣм своим красивым тѣлом, всей своей прекрасной душой любила грозу и с обычной своей неистощимой щедростью спѣшила подѣлиться с нами, заразить нас своим упоеніем, передать нам свою любовь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДЕРЕВЕНСКАЯ СТИХІЯ

На Вергежѣ мы жили, окруженные крестьянской стихіей. Других сосѣдей у нас не было. Помѣщичьи усадьбы вдоль Волхова, гдѣ моя мать в юности танцовала, успѣли с тѣх пор нѣсколько раз перейти из рук в руки. С новыми хозяевами мы не были знакомы. В шести верстах от нас, вверх по рѣкѣ, в Селищенских казармах, стояла 37-ая артиллерійская бригада. Когда моя старшая сестра подросла, офицеры бывали у нас, и сладко кружилась у них голова от ея застѣнчивой красоты. Бывал и командир, толстый весельчак, генерал Алексѣев. Иногда сообща нанимали небольшой пароход и устраивали веселые пикники в Грузино. Послѣ убійства Александра II все это оборвалось. Вергежа попала на черную доску, военное начальство не поощряло общенья офицеров с либеральной Тырковской семьей. Офицеры бывали у нас рѣдко, случайно. У нас никто не бывал, и мы никуда не ѣздили, если не считать рѣдких поѣздок к двум священникам и в женскій монастырь Званка. Но наша семья была большая, нам хватало своего общества, особенно пока мы были дѣтьми. Когда мы подросли, к нам стали пріѣзжать кузины и кузены, товарищи братьев и мои подруги, а до тѣх пор общались мы только с крестьянами, из деревенских ребятишек набирали себѣ ватаги для игр, с нѣкоторыми из них завели прочную, хорошую дружбу.

Вергежа — усадьба не была отдѣлена от міра и от

Вергежи — деревни каменной стѣной, которая на западѣ обычно громоздится между помѣщиком и фермером. Крестьянская жизнь, трудовая и праздничная, переплеталась с нашей. Особенно тѣсно мы были связаны с ближайшими сосѣдями, с Вергежцами.

У моего дѣда было больше тысячи крѣпостных, но жили они в других волостях. Только двѣ деревни, Вергежа и Остров, были расположены недалеко от барской усадьбы. Остров по раздѣлу достался дядѣ Васѣ. Вскорѣ послѣ эмансипаціи он, за безцѣнок, продал всѣ свои угодья богатому лѣсопромышленнику, Дыренкову, и сдѣлал это потихоньку от моего отца, который очень охотно сам купил бы от брата смежныя с Вергежей земли. Странная была в семьѣ Тырковых привычка таиться друг от друга.

Островскіе мужики были другіе, чѣм Вергежскіе. Болѣе достаточные, болѣе хозяйственные и болѣе развязные. Тяжелая рука дѣда тяжелѣе ложилась на ближних, на Вергежских. До Островских все-таки было двѣ версты, а Вергежа в крѣпостное время начиналась у самого въѣзда в усадьбу. Я ее на этом мѣстѣ не застала. Мой отец воспользовался правом, данным помѣщикам, и на свой счет перенес всю деревню на новое мѣсто, за версту от нас. Мѣсто выбрали хорошее, на горбылькѣ, между двумя ручьями, гдѣ можно было поить скотину, стирать бѣлье, строить бани. Крестьянскія земли были расположены вокруг деревни, к лѣсу шли пашни, к рѣкѣ заливные луга. Но я могу себѣ представить, как выли бабы, как ругались мужики, когда их подняли с насиженных мѣст... От них самих я никогда не слышала ни жалоб, ни разсказов об этом вынужденном переселеніи, хотя случилось оно только за нѣсколько лѣт до моего рожденія, было событіем сравнительно недавним. Вообще я почти не слыхала разсказов о крѣпостном прошлом, хотя постоянно вертѣлась среди деревенских жителей, старых и малых.

При мнѣ в усадьбѣ доживали свой вѣк двое старых

Тырковских дворовых — Федор Некрасов и старуха Агафья. Еще при бабушкѣ Татьянѣ Яковлевнѣ она ходила в ключах, потом была ключницей и у моего отца. Когда одряхлѣла, жила на покоѣ в скотной избѣ, в свѣтлой комнатѣ с теплой, широкой лежанкой, с которой рѣдко слѣзала. Я никогда не видала ни на одном человѣческом лицѣ таких темных, глубоких, как осеннія колеи, морщин, как у нея. Сколько ей было лѣт, никто не знал. Она увѣряла, что когда француз воевал, ей было годков двѣнадцать, и она помогала сушить сухари для новгородскаго ополченія. По ея словам дѣдушка привез из Новгорода плѣнных французов для садовых работ. Они посадили нашу чудесную липовую аллею. Первые годы французскій садовник подстригал верхушки, оттого и при нас онѣ тянулись ровно, как по линейкѣ. Мы иногда пробовали что-нибудь вытянуть из старой ключницы:

— Ну, скажи, Агафья, дѣдушка очень свирѣпый был? Крѣпостник?

Это было для нея слово непонятное. Свирѣпый, это она хорошо понимала. Тусклые, круглые глаза смотрѣли мимо нас, в дальнее, для нея молодое, прошлое. Длинная синеватая нижняя губа шевелилась, разговаривала с невидимыми собесѣдниками. Вслух Агафья говорила:

— Зачѣм свирѣпый? Хозяйственный был старый наш барин, Алексѣй Дмитрович. Когда надо, наказывал. По поступкам.

Агафья сама была хозяйственная. В этом был смысл и интерес всей ея жизни. Она тряслась над барским добром, над обрывками веревочек, над всякими черепками, крошками, остатками. Каждую весну вела она борьбу с моей матерью, которая прежде, чѣм разложить по полкам свѣжую, привезенную из Петербурга, провизію, устраивала в кладовой генеральную чистку. Агафья на это смотрѣла, как на опустошительный набѣг. С мрачной укоризной слѣдила она, как горничныя охапками вытаскивали поѣденную мышами бумагу,

слипшуюся крупу, промасленныя тряпки, дощечки от ящиков, прокисшій, покрытый паутиной хлам, накопившійся там за зиму. Шлепая босыми ногами по мягкой, зеленой травѣ весело мчались дѣвушки по двору и бросали всю эту дрянь в глубокую яму оставшуюся от разобраннаго в незапамятныя времена флигеля. Агафья ключница ворчала, торговалась, уговаривали барыню, что в хозяйствѣ все может пригодиться. Пока мама уходила завтракать, Агафья плелась к ямѣ, тихонько сползала в нее, старалась клюкой выловить свои любимыя древности, тащила их обратно и украдкой опять водворяла на толстыя полки, еще болѣе древнія, чѣм она сама. Мама это замѣчала, не спорила, только смѣялась. В мамѣ не было ни тѣни цѣпкой привязанности к вещам, к имуществу, на которой вѣками складывалась и держалась хозяйственная жизнь большинства людей.

А для Агафьи-ключницы стеречь, беречь барское добро было смыслом и радостью жизни. Всѣ недуги старости не могли остановить ея усердія. С годами ее не то, что скрючило, а сложило пополам, походка у нея сдѣлалась такая необычная, что никакіе окрики учительниц не могли остановить нас, когда из окон нашей классной комнаты во втором этажѣ мы видѣли, как по дорогѣ от скотнаго двора, медленно шаркая ногами по пыли, бредет Агафья. Мы с Сережей вихрем проносились по дому, разыскивая маму, чтобы она вмѣстѣ с нами вышла посмотрѣть, как плетется Агафья, опираясь, вмѣсто палки, на бутылку из под шампанскаго. Эта бутылка казалась нам, чѣмъ-то вродѣ колдуньинаго жезла. Головой почти касаясь земли, Агафья ползла на барскій двор, подгоняемая заботами о господском добрѣ, чтобы напомнить барынѣ, присмотрѣть за дѣвками. Она плохо слышала, плохо видѣла, но ей все чудилось, что онѣ шепчутся, крадутся. Ея угасающіе глаза все высматривали, не тащит ли чего-нибудь челядь? Когда я прочла «Мертвыя Души», Плюшкин представился мнѣ в образѣ Агафьи, с ея скрюченной спиной, длинной губой, темным повойником.

Другой дворовый, оставшійся жить на Вергежѣ, Федор Некрасов, был иного склада. В нем было что-то угрюмое, непріязненное, колючее. Он считался садовником, хотя в этом дѣлѣ ничего не понимал, понимать не хотѣл и не раз упрямо, властно выдергивал новые цвѣты, которые мама тщательно выводила и разсаживала. Некрасов любил не сажать, а искоренять. Цѣлыми днями ползал он на колѣнях по дорожкам и коротким ножем вырывал сорныя травы. Никогда не употреблял он скребок, не работал стоя. Ему больше нравилось ползать по землѣ, не смотрѣть ни на что кругом. Стучит обмызганным лезвіем по щебню и все что-то ворчит, сам с собой разговаривает. О чем? Была ли у него когда-нибудь семья? Какую он прожил жизнь? Не знаю. Я никогда с ним не разговаривала. Он не любил дѣтей. Мы это знали и его слегка побаивались.

Деревенскіе ребятишки его нещадно дразнили. Забирались в сад, покрадывались к нему и над самым ухом кричали:

— Дѣдушка Некрасов, у-у-у-у...

Только и всего. Но этого было довольно. И мы с ними кричали и тоже изо всѣх сил, с бьющимся сердцем, убѣгали и прятались в кусты. Это уканье приводило старика в бѣшенство. Он вскакивал и с ножем в руках бросался ловить насмѣшников. Поймать никого не мог, слишком был стар и слѣп. Только ярость в нем сохранилась не по годам.

— Как вам не стыдно старика дразнить, — корила нас мама.

— Да вѣдь мы ничего не говорим худого, только дѣдушка Некрасов, у-у-у-у... Что ж тут такого?

— А все-таки не хорошо, не надо... — но она не могла удержаться от смѣха, — положим и он дурак, что сердится.

В старыя времена Федор Некрасов был крѣпостным слугой моего внучатаго дяди, Александра Дмитріевича Тыркова, одноклассника Пушкина по Лицею. Ни от

кого из Тырковых, ни от отца, ни от его братьев и сестер, не слышала я разсказов об их родном дядѣ. Мама говорила, что он был душевно больной, и жил не в большом домѣ, а во флигелѣ, гдѣ при нас помѣщалась баня и прачешная. Комната, гдѣ жил Александр Дмитріевич, была бревенчатая, проконопаченная мхом, который торчал из-под обрывков картона. Обоев, повидимому, никогда не было. Мы любили рыться в пазах, между бревнами, искали там обломков карандашей, засунутых когда-то несчастным больным. Федор Некрасов раз сказал мамѣ:

— Что барин, Александр Дмитріевич, был не в своем умѣ, вы этому не вѣрьте. Поумнѣе многих были. Только что, конечно, до простых людей очень добры были, оттого с ним это и случилось...

Из путанных его намеков мама поняла, что «это случилось» послѣ декабрьскаго бунта. Как-то трудно себѣ представить, что «Тырковіус, брус кирпичный», как прозвали его лицеисты, мог имѣть отношеніе к Обществу Умных. Никто из декабристов о нем не упоминает, но он был одноклассником Пушкина и И. Пущина. Единственный протокол лицейской годовщины, писанный рукой Пушкина, составлялся на квартирѣ Тыркова, гдѣ они в тот, 1819 г., справляли день 19 октября. Может быть, Федор Некрасов наливал Пушкину вино кометы? Может быть, он даже помнил проказливаго, шумнаго, смѣшливаго барина? У неграмотных людей бывает отличная память. К несчастью, мы, грамотные, слишком часто забываем во время почерпнуть в ней разсказы о прошлом. В то время, когда я, вмѣстѣ с деревенскими ребятишками, дразнила дѣдушку Некрасова, я уже знала наизусть цѣлыя страницы Пушкина, но мнѣ и в голову не могло придти, что когда-нибудь буду себя корить, что не поговорила с отставным камердинером о славных лицейских друзьях моего внучатнаго дяди.

По мѣрѣ того, как мы росли и ускользали от над-

зора гувернанток, крестьянскіе ребятишки все чаще становились товарищами наших игр. Нелѣпое приставаніе к старику Некрасову было только одним из наших общих удовольствій. По будням эти дѣти работали на своих полях или в нашей поденщинѣ. По праздникам стайкой слетались в усадьбу, сначала собирались на берегу, у плота, понемногу просачивались наверх, на наш просторный двор. К концу лѣта, когда по обрыву, вдоль рѣки, зрѣли орѣхи, а в саду неотразимо пахло яблоками, сборное мѣсто у плота имѣло корыстный характер. Фруктовый сад спускался к самой рѣкѣ, забор был невысокій, а первая часть сада, ближе к дому, и совсѣм не была огорожена. Ребятишки, под самым носом караульнаго, пробирались в сад, ловко охотились за вкусными, господскими яблоками, но даже мнѣ с Сережей в этом не признавались. Да мы их и не спрашивали, установили заговор молчанія.

Мама позволяла нам играть с крестьянскими дѣтьми. Папа считал, что с простым народом нечего смѣшиваться и этого не одобрял. Дѣти это знали и стараго барина боялись. Они старались ему не показываться на глаза, когда он прізѣжал в отпуск. Это бывало в серединѣ лѣта, когда на полях и лугах от восхода до заката кипѣла работа, в которой и наши пріятели принимали участіе. Все кругом приходило в движеніе. Всюду виднѣлись люди. Всѣ торопились, всѣ были не такіе, как осенью или весной, точно самая напряженность работы создавала праздничность.

Первый знак к покосу подавали зарѣчные мужики, бывшіе военные поселяне. Против нашей террасы, на другом берегу рѣки, на лугах, принадлежащих Высоцким крестьянам, появлялась процессія. Яркая зелень густой, высокой травы пестрѣла цвѣтистыми мужицкими рубахами. Как муравьи они то собирались толпой, то разбивались на линіи, останавливались, бродили по всему просторному лугу, точно что-то искали. Это Высоцкіе дѣлили покосы. Заливные луга были общіе, при-

надлежали всему селу, и их ежегодно распредѣляли между домохозяевами. Так дѣлалось со всѣми крестьянскими общинными покосами кругом. Пашню передѣляли рѣдко. В нѣкоторых деревнях не мѣняли надѣлов со времени освобожденія. Но пашня зависѣла от трудолюбія и хозяйственной сметки пахаря, там был сѣвооборот, хотя бы и трехпольный. Пашню нельзя было часто перебрасывать из рук в руки. А заливные покосы зависѣли только от разлива, от дождя и солнца, от Бога. Засуха могла ухудшить или улучшить траву в том или ином углу, большое половодье могло, задержав воду в низинках, вымочить там всю траву. Поэтому ради уравнительной справедливости, неграмотные мужики каждое лѣто по новому перекраивали травяные нарѣзки. Такой у них был вѣрный глаз, что я не помню ни ссор, ни тяжб из-за покосов.

Они ходили по травѣ с цѣпью, мѣрили, вбивали колышки, ставили отмѣтины. Подымался крик. Видно было, что красныя, бѣлыя, синія рубахи сползаются вмѣстѣ, машут руками. Русскій человѣк за словом в карман не полѣзет, кричит охотно и громко, но и руками любит дополнять словесные доводы. Как иначе переспорить сосѣда — убѣдить его, что нынче на том клину одна осока выросла, а на горбылькѣ сплошной клевер пошел, как посѣянный. Долго бродят они по травѣ, в концѣ концов, все подѣлят. На слѣдующій день к нам, с того берега, уже летит острый свист кос.

Наполняется хозяйственной торопливостью и Вергежскій дом. По мѣрѣ того, как мы росли, многое мѣнялось на Вергежѣ. Но ощущение страдной поры, напряженнаго желанія успѣть собрать годовые запасы трав и хлѣбов, оставалось, как водораздѣл, для всего лѣта, для всего года. Отец в деревнѣ носил длинную русскую рубашку, свѣтлые шаровары из полосатаго тика, засунутые в рыжеватыя голенища русских сапог, отлично сшитых извѣстным сапожником Гюне. Он обувал папу 60 лѣт подряд, с Правовѣдѣнья и до самой

смерти. В таком нарядѣ отец с ранняго утра уходил на покос. Вся его широкая фигура, его загорѣлое, потное лицо, обрамленное смолоду черной, потом сѣдой бородкой, быстрый взгляд темных глаз, слѣдивших за прокосами, кучами, зародами, снопами, скирдами, а главное за тѣм, чтобы поденщики все это, как можно, скорѣе убирали, складывали, вязали, свозили, его движенія, еще болѣе стремительныя, чѣм всегда, превращали его в живое олицетвореніе, в воплощеніе помѣщичьей энергіи. Если погода хмурилась, хмурился и он. Тогда мы предпочитали не попадаться ему на глаза, но в эти страдныя недѣли и мы не могли не признать за ним права сердиться, кричать, топать ногами.

Мама ходила в людскую, провѣряла, довольно ли стряпуха напекла черных калиток с творогом, не забыла ли поставить на лед ведра с квасом. В десятом часу все это полагается отнести косарям, на перехватку. Рабочій день начинался так рано, тянулся так долго, что трудно было дождаться полудня, не перекусив до обѣда.

Нам, дѣтям, казалось, что покос это веселая игра, в которую большіе любят играть без нас. Мы бѣжим на гору, к мельницѣ. Простор подхватывает, как на крыльях. Мы им до пьяна упиваемся. Небо горит синевой. Бѣлыя, грудастыя облака медленно сходятся и расходятся, отражаются в рѣкѣ, лѣнивыя, важныя. Им сегодня некуда торопиться, их никто не просит падать на землю дождем. По обѣ стороны Волхова раскинулась зеленая ширь, перерѣзанная сѣрыми линіями деревень, окаймленная вдали темной щеткой лѣса. И всюду, куда ни взглянешь, шевелятся люди, лошади, возы, стоят копны, растут зароды. Сотни мужчин, женщин, дѣтей, старух, стариков, парней, дѣвок разсыпались, по обычно пустынной травяной равнинѣ. Медленный, ровный сельскій ритм смѣнился быстрой покосной пляской вокруг прокосов и копен. На нашем лугу, в одном углу, косари мѣрно поблескивают косами, достригая неско-

шенныя низинки. В другом бабы, точно балуясь, машут граблями, собирают траву в вальки, в копны. Болтая босыми ногами, скачут мальчишки на потных лошаденках. За ними прыгает, привязанный к длинной веревкѣ, кол, торопится, не хуже мальчишек, наскоро подхватить копну, подтащить ее к, наполовину сложенному, зароду, по которому расхаживают, прыгают мужики, уминают тяжелыми сапогами пухлое сѣно.

Всѣ торопятся. Покос нельзя вести под мирный ритм — эй ухнем. У него другой темп. Он не выражен в одной пѣснѣ, но заложен во многих. На покосѣ поют больше, веселѣе, удалѣе, звончѣе, чѣм на какой бы то ни было работѣ.

От мельницы мы сбѣгаем, скатываемся по крутой тропинкѣ прямо на луга. Цѣпкая, с шершавыми шишечками, трава, которая растéт только на этой тропинкѣ, царапает наши голыя ноги. Кто-то ворчливо кричит:

— Платье оборвешь. Куда мчишься... Успѣешь...

Я даже не оборачиваюсь. Как же нам отстать от происшествій. Вѣдь это покос. Нам там дѣлать, конечно, нечего, мы только всѣм подвертываемся под ноги и ко всѣм пристаем. Найдешь кѣм-то оставленныя грабли и начинаешь подхватывать сѣро-зеленое, душистое сѣно. Травинки ершатся, колются, отбиваются, забираются в сапоги, царапают руки. Какія-то букашки щекотят, цѣпляются. Тонкая кожа на непривычных ладошках быстро краснѣет от шишковатой ручки грабель. Не бѣда. Голосистая Фима с веселым хохотом отбирает от меня грабли:

— Эй, барышня, мозоли набьешь...

Кругом всѣ хохочут. Что мнѣ — обижаться или тоже хохотать? Сережа, старше меня на два года, он уже взгромоздился на пузатую, низкорослую лошадку, пятками подгоняет ее, вскачь мчится за кучей в другой конец луга, подхватывает ее, ѣдет с ней обратно к народу... Я на такой подвиг не способна, не умѣю ѣздить

на неосѣдланных лошадях, да и на сѣдло еще не садилась. А хорошо бы вскочить на коня и ускакать от Фимы и ея смѣха. Но кругом столько веселых, знакомых лиц, так хорошо с разбѣга вскочить на кучу и с другой стороны скатиться с нея головой вниз, так вкусно пахнет водой, землей, сѣном, людьми, лошадьми, что некогда обижаться. И так не хочется уходить домой, когда из усадьбы доносится обѣденный колокол.

На западѣ уже горят вечернія краски, когда в концѣ дороги, от скотнаго двора показываются поденщицы с граблями на плечах. Косое солнце, пробиваясь сквозь мелкіе листья вишневаго сада, играет на ярких ситцах, на темных бабьих повойниках, на цвѣтистых дѣвичьих платках. Во двор полагается входить с пѣснями. Впереди поденщицы, сзади косари. Они обходят круглый лужок, гдѣ в бабушкины времена бѣлили длинныя полотнища домодѣльнаго холста, и быстро шагая по мягкой, теплой, низкой травѣ, толпой обступают крыльцо.

Кончен трудовой день. Для большинства он начался в шесть чесов, если не раньше. Бабы сначала убирались дома, доили коров, выгоняли скотину, хлопотали около печки. На покос онѣ идут позже, когда роса сойдет. Это уж вторая работа. Теперь солнце садится. Девятый, если не десятый час. Четырнадцать часов на ногах, с коротким перерывом для обѣденнаго отдыха. И все-таки всѣ веселые. Слышатся шутки, смѣх, голоса звнкіе, бѣлые зубы блестят на молодых и старых, запыленных, красных от загара, лицах. Они устали, но их изнеможеніе напитано запахом трав и солнца, а не заводской копотью.

Горничная Софья выносит четверть водки и двѣ большія чайныя чашки. Мама сама наливает и обмѣнивается нѣсколькими словами с каждым. Мужики подходят попарно, обѣими руками берут на три четверти наполненную водкой чашку, осторожно подносят ее ко рту, быстро опрокидывают, одним глотком прогла-

тывают драгоцѣнную влагу. Потом крякают, берут ломтик чернаго хлѣба, густо посыпаннаго крупной солью, не торопясь жуют и с поклоном отходят в сторону, давая мѣсто слѣдующей парѣ. Водку получают только метальщики зародов, эти аристократы покоса, да изрѣдка косари, если их в этот день просили приналечь, скосить какой-нибудь застоявшійся клин или помочь метальщикам, когда наползает туча и надо спѣшно покрыть зарод. Для остальных это не каждодневное угощеніе.

Расплата идет каждый день, наличными. В моем дѣтствѣ женщины получали четвертак, подростки пятиалтынный в день. Кромѣ мѣстных крестьян на покосѣ работали пришлые, часто просто босяки. Пока не было машин, и все дѣлалось руками, без них трудно было бы справиться. Эти бродячіе люди откуда-то появлялись среди лѣта. Для их житья отводился сарай, мимо котораго мы ходили с опаской. Сосѣдних крестьян мы знали и, конечно, не боялись, а тут чужаки. Они не здороваются, смотрят на нас непривѣтливо, даже как будто насмѣшливо. Из их сарая слышатся незнакомые, грубые голоса, раздается перебранка, доносится запах махорки, хотя курить в сараѣ строго запрещено. Иногда среди босяков попадается хорошій гармонист, и в дождь слышится его затѣйливая игра. Перед сараем на травѣ тлѣет костер, на нем что-то кипит в двух, черных от сажи, котелках. Босяки сами кормятся. У них артельные повара, артельная общая жизнь, которая по праздникам, не рѣдко, кончается артельной дракой. По будням дрались мало, не потому, что соблюдали праздничныя традиціи, а потому что по будням им денег на руки не давали. Субботнюю получку они к понедѣльнику начисто пропивали. Зная свою слабость, многіе из них просили не даавть им полнаго еженедѣльнаго разсчета, задерживать часть получки, чтобы у них к зимѣ сохранился хоть какой-нибудь запас.

Попадались среди них и болѣе степенные, семейные

люди, припасшие деньги для дома, для семьи, но большинство были безпечные голыши. Вѣроятно, были между ними и бывшіе люди, когда-то знавшіе иную жизнь. Но я была слишком мала, чтобы разобраться в их бродячей толпѣ, а когда подросла, американскія косилки, грабли, жатки вытѣснили босяков. Хотя все-таки в разгар покоса и жнитья рук часто не хватало, и какіе-то прохожіе люди временно ютились в наших сараях.

По праздникам считалось грѣхом работать за деньги, но православным разрѣшалось друг другу помогать и в праздник. В концѣ іюля, или в началѣ августа, на Вергежѣ устраивалась помочь. Среди недѣли кто-нибудь из наших служащих вечером объѣзжал верхом четыре сосѣднія деревни и приглашал баб на пожинки. Онѣ приходили послѣ воскресной обѣдни, празднично одѣтыя, цвѣтистыя, веселыя. С пѣснями шли на жнитво, с пѣснями жали. Жатье—тяжелая женская работа. Надо наклониться до самой земли, захватить горсть тяжелой, жесткой, часто колючей соломы, ударить серпом под самый корень, чтобы поменьше пропадало соломы. Если рожь длинная, колос тяжелый, как почти всегда бывало на наших полях, то плечи быстро устают вскидывать ее. Овес жать легче, зато он больше путается, бабки выходят нескладныя, растрепанныя. В жатьѣ нужна большая сноровка, а то руки перерѣжешь и спину разломит. У опытной жницы своя ритмическая хватка, в пять темпов. Наклонится, наполнит лѣвую руку соломой, ударит правой рукой, положит аккуратно на землю, расклонится. Нѣсколько раз пробовала я продѣлать эти пять, казалось бы, простых движеній, но так и не переняла их ритма. Книги рано заглушили зов земли. А жницы, молодыя и старыя, умудрялись еще пѣть, то наклоняясь, то выпрямляясь, взмахивая срѣзанными колосьями, как пушистым золотым вѣером.

В дни помочи работа продолжалась недолго. Было еще далеко до заката, когда бабы с пѣснями, яркой толпой, вваливались на двор, гдѣ для них уже были

разставлены столы и скамейки. Угощеніе было — хоть куда. Главным блюдом, как на всѣх крестьянских праздниках, были пироги, бѣлые, пшеничные. В наших сѣверных губерніях крестьяне питались очень вкусным черным хлѣбом, из собственной, необдирной ржаной муки. Только по праздникам полагалось печь из покупной бѣлой пшеничной муки пироги, караваи, ватрушки. Но и это далеко не каждое воскресенье. В день помочи обѣ наши кухарки, людская и барская, сбивались с ног, выпекая гору пирогов с рисом, с капустой, с изюмом, с ягодами, с вареньем. Их нарѣзали широкими ломтями и аппетитными грудами разставляли на тарелках вдоль столов. В больших чашках подавали свѣжіе, нарѣзанные, густопосоленные огурцы и селедки, посыпанныя мелко накрошенным луком. Вилками пользовались по очереди. Гдѣ же тут напасти сервировки на сотню человѣк, которые, к тому же, не особенно привыкли к вилкам. Кружки и чашки собирали со всей усадьбы. Онѣ ходили из рук в руки, как круговыя чаши на античных пирах. Подавали чай. Его пили много, до сыта. Прислуга то и дѣло наполняла большіе самовары водой и сыпала в самоварную трубу горячіе угли из-под плиты.

Пили холодный квас и медовую сыту. Мама сама с утра заливала свѣжій, душистый мед кипятком, разливала в большіе, глиняные кувшины и посылала на ледник студить. Сыту жницы очень любили. Это уже было лакомство. Кругом нас мужики, по косности своей, пчелами не занимались, хотя мѣста наши для пчеловодства очень годились. У моей матери и у курляндцев, которые жили за рѣкой, пчелы хорошо водились. Сосѣдніе крестьяне с чуть насмѣшливым любопытством смотрѣли, как барыня, в бѣлом балахонѣ, с сѣткой на головѣ, возится на пчельникѣ, но учиться у нея не хотѣли. Бабам нравилось, что мама угощает их медом, над которым сама потрудилась, что все Тырковское семейство, с барином во главѣ, около них хлопочет, уго-

шает жниц, ходит кругом столов, болтает, шутит. Пріятно, послѣ работы, беззаботно сѣсть за стол, ѣсть и пить готовое угощеніе. Весь двор гудѣл веселым гулом голосов. Когда всѣ тарелки пустѣли, из людской появлялся гармонист. Высокая Катерина Тимошиха, статная, ловкая, быстрая и на слова, и на работу, вылѣзала из-за стола и, подняв руку, приплясывала, подпѣвая, сначала потихоньку, потом все громче, все заразительнѣе. Бабы вторили вполголоса, не сходя с мѣст. Мало-по-малу одна за другой, втягивались онѣ в плясовой вихрь.

В эти жаркіе, іюльскіе дни, когда земля торопила, звала, требовала себѣ служенія в потѣ лица, жницы плясовым аккордом заключали ровное колыханіе колосьев, падавших под мѣрные взмахи их серпов. Рабочий ритм переходил в ритмическое веселье. Там, на жнитвѣ, заиграли соки, поднялась в здоровом тѣлѣ удаль, которую жницы не успѣли истратить в короткіе часы праздничной работы. Теперь нарядныя, сытыя, отдохнувшія, онѣ мѣрно притаптывали ногами, обутыми в тяжелые полусапожки, поводя плечами, взмахивая платочками, поплыли в погонѣ за острым, жгучим опьяненіем, которое владѣет тѣлом плясуньи, будь она Тамара Карсавина или просто Катерина Тимошиха. Из этих ярких, лихих деревенских плясок под гармонь на пыльной деревенской улицѣ, или на зеленом лугу перед господским домом, вышли тѣ русскіе танцы, массовые балеты, которыми сводят с ума Европу и Америку большіе и малые русскіе балетмейстеры, Дягилев, Фокин, Мясин. А главное — русскіе танцовщицы.

Помочь это чаще всего бабій пожиночный праздник. Чтобы увидѣть пляшущих мужиков, надо итти в деревню в годовой праздник, в престол. В менѣе пышные праздничные дни даже любители рѣдко пускались в пляс. Наш край не такой артистическій, как Орловская или Курская губерніи, или сѣвер Россіи. Поют у нас с визгом, в разноголосицу, развѣ заведется хорошій

запѣвало, подтянет, направит, поведет за собой. Но все-таки и наши новгородцы, как и всѣ русскіе по всей землѣ русской, не могли ни работать, ни веселиться, ни справлять обряды без пѣсни, без танца. Я так к этому привыкла, что была совершенно увѣрена, что всѣм народам так же свойственно пѣть, как говорить. Когда я очутилась внѣ Россіи, поразила меня молчаливость англійских и французских деревень, гдѣ нѣт такой тесной общей жизни, какая была у русских крестьян, с их деревенской улицей, общинной землей, мірскими сходами, храмовыми праздниками, ярмарками, богомольями.

Особенно людно и гостепріимно справляла каждая деревня свой престольный праздник. Помимо общаго для всего прихода храмового праздника, у каждой деревни были два своих угодника, один лѣтній, другой зимній. Эти праздники были дѣлом шумным, разорительным, не всегда смирным. К ним три месяца готовились, от них три мѣсяца отдыхали. Мы были тѣснѣе всего связаны с Вергежей, с Островом, отчасти с селом Высоким на правом берегу Волхова, гдѣ 6 августа праздновали второго Спаса. Рядом с нами на Вергежѣ 18 августа справляли Фрола и Лавра, покровителей скота, а вОстровѣ—Петра и Павла, 29 іюня. У нас всюду были крестники и крестницы, были семьи, с которыми у мамы, а потом и у нас, были пріятельскія отношенія. Они заранѣе приходили нас приглашать, а в самый день праздника, утром, в придчувствіи настоящего угошенія, приносили теплые вкусные пироги.

Отец не мѣшал нам принимать эти приглашенія, но сам держался вдалекѣ, только из окна своего кабинета смотрѣл, как подавался тарантас, как мама ѣхала с нами в деревню Вергежу. Первый визат был к приказчик, Степану Бизееву. Он встрѣчал нас на улицѣ, у ворот. Его жена, умная, степенная Марья, ждала нас на дворѣ, у порога, низко кланялась, цѣловала каждаго трижды и по чисто намытой деревянной лѣстницѣ вела

в горницу. Около печки пѣл самовар. Под образами, на покрытом бѣлой, домотканной скатерью столѣ стояли тарелки и чашки с большими розанами. Степан неловко, с угрюмой застѣнчивостью, встряхивал кругло подстриженными волосами и каждому из нас совал жесткую, несгибающуюся руку. Это тоже был признак праздничности. В обычные дни ему в голову не приходило здороваться с нами за руку.

Угощеніе начиналось с чая. Потом Марья доставала из печки глиняную плошку с шипящей, горячей, поджаристой бараниной. Наши кухарки не умѣли так жарить баранину. Не знаю, было ли это наше воображеніе или мясо вкуснѣе, когда печется на угольях, в русской печкѣ, но мы эту баранину уписывали, как лакомство. Потом принимались за пирог с изюмом или малиной. Марья пекла их лучше всѣх в деревнѣ. Все запивалось кофеем с розовым топленым молоком, на котором плавали густыя, поджаристыя пѣнки. Какой невѣроятно обильной кажется вся эта крестьянская ѣда сейчас, в сентябрѣ 1941 г., когда вся Европа считает каждую каплю молока, набрасывается на каждую горсть плохой муки.

У Марьи все было необыкновенно аппетитно, и нам нравилось быть почетными, желанными гостями. Та же церемонія повторялась еще в двух, трех избах, гдѣ у мамы были крестницы или пріятельницы. Не зайти к ним, нельзя. Это была бы обида. И в каждом домѣ надо поѣсть, хоть немного. Позже, когда братья подросли, и мама предоставила нам одним ѣздить на деревенскіе праздники, братьев так обильно угощали водкой или крѣпкой, дешевой наливкой, что мнѣ приходилось укорачивать наши визиты. Когда я укоризненно говорила хозяину:

— Ну, что ты все Сергѣю подливаешь? Он и так уже подвыпил. Довольно!

— Ну уж, барышня, тоже скажешь, подвыпил... Просто это так, от воздуха...

В дѣтствѣ мы очень любили эти крестьянскіе праздники и пиршества, их яркость, шум, движеніе, шмыготню и крики ребят, пестрых дѣвиц, прогуливавшихся из конца в конец широкой улицы. Хожденіе по улицѣ начиналось сразу послѣ обѣда и кончалось поздно ночью. Первый выход — всѣ в ситцевых платьях. Если в тот год пошла мода на желтое, всѣ, как одна, щеголяют канареечными нарядами. Если мода на бордовое — всѣ в бордовом. В деревнѣ мода такой же деспот, как в Парижѣ. Ситцевыя платья полагалось мѣнять нѣсколько раз в день. Под вечер наступала очередь шерстяных платьев. За послѣдніе десять лѣт между японской войной и войной 1914 года русское крестьянство стало стремительно богатѣть. Дочки уже щеголяли и в шелковых платьях. Но в послѣднюю четверть XIX вѣка не у каждой дѣвушки был даже шелковый платок, который полагалось носить на плечах или на головѣ. Тяжелые, с бахромой, прекрасной расцвѣтки, эти платки усиливали нарядную красочность веселой толпы деревенской молодежи.

Часами гуляли они взад и вперед по длинной улицѣ, дѣвушки, взявшись за руку, за ними парни, вразсыпную. Ходили и ходили, перебрасываясь шутками, пока не задребезжит гармоника. Бѣжать нельзя, засмѣют. Надо степенно плыть, без суеты. У Герасима изба хорошая, высокая, перед ней просторная, утоптанная площадка. Это мѣстный танцевальный зал. Я еще застала хороводы, но в концѣ 80-х годов деревня от хороводов перешла на кадриль. Ея фигуры продѣлывались без антрактов, молча, быстро, с той же напряженной серьезностью, которая, много лѣт спустя, забавляла меня на лицах пожилых англійских танцоров в ночных клубах Лондона.

Во время танцев парни и дѣвушки почти не разговаривали, только ловко подбрасывали себѣ прямо в рот сѣмячки и лихо выплевывали пустую шелуху. Да изрѣдка музыкант, подняв гармошку к уху, неожиданно

пустит замысловатое колѣнце и кто-нибудь из танцоров откликнется звонким ритмом частушки. Потом бросит даму и пустится в присядку. Кругом разступаются, очищают ему мѣсто. Выходит второй танцор, третій. Зрители притаптывают, подпѣвают, подсвистывают, поводят плечами. Дух пляски мелькает, манит, веселит, все тот же, что царствовал на праздниках Діониса, на славянских русаліях.

Дѣвушки почти никогда не танцовали русскую, только жеманно поводили плечиками, хихикали, прикрывая рот концом пестраго головного платка. Им русская казалась грубым, мужицким танцем. Им хотѣлось танцовать, как танцуют купеческія дочки в Соснинской Пристани или офицерши в военном собраніи в Селищенских казармах. Только старухи, хватившія крѣпостного права, знали русскую, знали, как плыть, незамѣтно переступая с ноги на ногу, как, подбоченя лѣвую руку, правой рукой махать платочком, подманивать партнера. Ну, а молодежь отплясывала безсчетное количество кадрилей, одну за другой, весь вечер и часть ночи. Ночных танцев мы, дѣти, уже не видѣли. К вечеру от кабака шел пьяный гул, и мама спѣшила увезти нас домой.

От деревни до усадьбы шла прямая дорога, и в будни мы отлично пробѣгали ее пѣшком. В престольные праздники это не полагалось. Мама опять забирала нас в тарантас, запряженный парой с пристяжкой.

— Кузьма пожалуйста, на мосту поѣзжай тише, — говорила она дворнику, который в такіе дни щеголял в красной кумачевой рубашкѣ.

Потом со вздохом прибавляла по-французски:

— Ах, как от него водкой пахнет. Опять напился. Ну, авось, довезет.

Кузьм ворчливо отвѣчал:

— Не извольте, барыня, безпокоиться. Не в первой.

И вдруг, не дождавшись, когда мы хорошенько уся-

демся, ударял кнутом и по кореннику, и по пристяжкѣ. Лошади, тоже вдруг, срывались с мѣста и с неожиданной стремительностью несли нас по ухабистой деревенской дорогѣ, на всем ходу сбѣгали с косогора на бревенчатый, шаткій, дырявый мост, на котором нас так трясло, что мы с шумом и смѣхом сыпались на досчатое дно тарантаса, цѣпляясь за маму, стукались друг о друга. Мама что-то кричала Кузьмѣ, но он, не обращая вниманія, еще раз поддавал жару лошадям и в нѣсколько минут доставлял нас к крыльцу.

Нельзя было ему не торопиться. Необходимо было поскорѣе вернуться в деревню, обойти всѣх пріятелей и кумовей, с каждым распить стаканчик, а то и два. Перед этим надо еще распречь, выводить, напоить лошадей, задать им травы. Собственно, это дѣло не его, а рабочих. Его дѣло дворницкое, возить воду, колоть дрова, мести двор, выѣзжать к пароходу. Но сегодня всѣ ушли, всѣ гуляют. Он один за всѣх старается. А барыня этого не понимает. Кузьма, искоса поглядывая на барыню, которая все еще стоит на крыльцѣ, довольная, что всѣ дѣти в цѣлости, уже вслух заканчивает свою мысль:

— Что ж, я ничего... Я завсегда при своей должности.

И вдруг громко икает. Мама только что повернулась к нему, чтобы сдѣлать ему выговор за дурацкую ѣзду, но видит его осовѣвшее от водки лицо, которому он старается придать степенное выраженіе, и невольно смѣется. Смѣемся и мы, хотя не совсѣм понимаем, в чем дѣло. Ея смѣх всегда нас заражает. И потом, так хорошо вернуться домой, пробѣжать через тихія, прохладныя комнаты, выскочить на балкон, увидать внизу Волхов, уже тронутый вечерними тѣнями.

— Мама, купаться...

Хватаем полотенца и бѣжим вниз, к водѣ. А мама довольна, что отбыла сосѣдскую повинность и увезла нас раньше, чѣм водка одурманила мужицкія головы.

Престольные праздники начинались молебнами, а кончались драками. С утра крестьяне уходили к обѣднѣ в село Коломно, гдѣ была наша приходская церковь. Оттуда привозили старика священника, отца Петра, с дьячком — заикой. Они служили на улицѣ общій молебен перед большой иконой Фрола и Лавра. Прикрытая только косой крышей, икона стояла на небольшом деревянном помостѣ посреди деревни, у края дороги. В каждой избѣ тоже справляли короткую службу, кропили святой водой. За это им давали, кто двугривенный, кто цѣлый полтинник, да еще натурой — яйца, пироги, масло, иногда куренка, овса в мѣшечкѣ. Дьячек все это принимал, складывая в телѣгу. Потом будет с попом дѣлить. Сейчас надо быстрым ходом обойти всѣх домохозяев и у каждого требу справить, да и водочки выпить, и закусить. Не знаю, как наши деревенскіе попики выдерживали такіе обходи и не удивляюсь, что и они и их причт часто бывали пьяницами. Как отказаться, как себѣ отказать в таком удовольствіи?! Право угощаться и угощать было важнѣйшей частью деревенских праздников. В остальное время мужики совсѣм не так много пили, как про них обычно разсказывают. Только горькіе пьяницы пили, когда попало, как только зазвенит в карманѣ денежка. Эти кабацкіе завсегдатаи, шумные, озорные, готовые все спустить, составляли меньшинство, во всяком случаѣ, в том уголкѣ русской деревни, который я хорошо знала. Большинство даже по воскресеньям обходилось без водки, рѣдко ходили в казенку, хотя кабак был деревенским клубом. Зато на Рождество, на Пасху, на свой престольный праздник к водкѣ почти всѣ припадали, как припадает верблюд к ключу, послѣ долгаго перехода по пустынѣ. Пили с сосѣдями и у сосѣдей, пили с родственниками, которые цѣлыми семьями приходили погостить из дальних деревень, иногда верст за тридцать. Им полагалось гостить три дня. Ѣли и пили весь день, водку запасали четвертями. Никто не считал, сколько

стаканчиков пропустит хозяин за эти дни с зятьями, шурьями, сватьями и прочими сродственниками.

К вечеру винный туман расползается по деревнѣ. Противорѣчія обостряются, старые счеты всплывают, каждое слово может породить ссору, а там и до драки недалеко. Часто дерутся не из-за чего, просто, потому что хочется подраться. У молодых силушка по жилушкам переливает, удаль ищет выхода. У стариков бродит злое раздраженіе, просыпается дикая потребность побезобразничать, найти исход неизрасходованным во время страстям.

Забіяк знает вся округа. Быть драчуном, это соціальное положеніе, порождающее своеобразное честолюбіе, требующее физической силы, дерзости, смѣлости. Будь в русской деревнѣ больше привычки к играм, драк было бы меньше. Игры есть и очен увлекательныя — в казаки-разбойники, в палочку воровочку, в лапту, в бабки, в рюхи. Но как только мальчики превращались в парней, они переставали играть в игры. Только иногда среди вечерней, затихающей послѣ работ, улицы разставляются рюхи, или бабки, и к играющей молодежи присоединяются женатые мужики. Но это случалось не часто.

Я не запомню, чтобы эти игры когда-нибудь привели к дракѣ. Драка это занятіе праздничное. По пьяному дѣлу. Начинается она внезапно и безсмысленно. Раздается перебранка, крик растет, становится угрожающим, переходит в рукоприкладство. Сначала тузят друг-друга кулаками, приправляя удары грубой бранью, потом повалят противника на землю и топчут, топчут его тяжелыми сапогами. Первая кровь, как темный хмель, темнит душу. Сбѣгаются товарищи, вмѣшиваются свои, кровные, за кого-то заступаются, кого-то лупят во всю. Бѣгут бабы, воют то испуганно, то с той сладострастной истерикой, которую в женских сердцах не рѣдко подымает мужская борьба, война. Мужиченко, остервенѣвшій от вина и боя, чаще всего ледящій,

старательно выворачивает из забора кол и уже с оружіем лѣзет на противника. Толпа растет, с любопытством следит за ристалищем, пока дѣло не начинает принимать опасный уголовный оборот. Если найдутся благоразумные люди, выльют во-время ушат холодной воды на озвѣрѣвших бойцов, тогда еще ничего. Но бывает, что кровь льется так густо, что уже пахнет настоящим членовредительством, если не душегубством. Тогда по прямой дорогѣ от деревни к усадьбѣ пустится бѣжать баба. Вьется, надувается по вѣтру ея цвѣтное платье. Бѣжит и от самой деревенской околицы начинает кричать истошным голосом:

— Ой, убили, убили... Василья моего на смерть убили...

Так и вопит всю версту, пока не добѣжит до моей матери. Бросится ей в ноги и воет:

— Барыня, помоги... Убили моего Василья, как есть убили...

В раннем дѣтствѣ я с острым волненіем слушала этот вопль, это слово «убили» и с удивленіем ловила в добрых маминых глазах что-то похожее на усмѣшку.

— Пожалуйста, Настасья успокойся. Скажи толком, что с ним? И не кричи так. Дѣтей напугаешь. Сядь. Разсказывай.

Часто не успѣвала Настья на своем древне-русском, живописном, не тронутом городской порчей, языкѣ разсказать, как Спиридоново отродье налетѣло на ея Василья, как Яков хлясть его по башкѣ отрясиной, только что башку долой не снес, как уже по корридору мчалась, торопливо шлепая босыми ногами, молоденькая горничная. Перед тѣм, как войти в столовую, она немного замедляла шаг, но все-таки у нея еще дух перехватывало, когда она докладывала мамѣ:

— Барыня, там на кухнѣ Василий. Кровища так и хлещет...

На круглом, розовом лицѣ горделивое сознаніе, что

она тоже участвует в событіях. Мама ее сразу обрывала:

— Ну, и ты еще будешь страсти разсказывать. Принеси в дѣвичью таз, полотенце. А главное, не кричи.

Мама идет наверх, в кладовую, гдѣ у нея особый шкаф с лѣкарствами. Теперь я уж от нея не отстаю. Мнѣ тоже надо участвовать в происшествіях. Мама достает лѣкарства, спускается вниз, в дѣвичью. Василій сидит на табуреткѣ. На лицѣ у него кровь, глаза полупьяные и странная улыбка, смущенная, но скорѣе довольная, ползает под длинными, густыми усами. Точно и его, как Машу, горничную, занимает, что вот какое происшествіе случилось. Мама омывает, обстригает, очищает, перевязывает его рану. Крови много, но кость не задѣта, только кожу разсѣкли. Я стою рядом и не спускаю глаз с его разбитой головы. Так интересно, что даже не страшно. Тѣм болѣе, что мама сразу говорит:

— Ну, Василій, на этот раз ты дешево отдѣлался. Только другой раз не лѣзь.

— Да что ты, барыня, да нешто я лѣз... Это все Спиридоновское отродье наш конец завсегда задирает...

— Всѣ вы хороши, — говорит мама. — Еще не бывало, чтобы кто-нибудь признался, что первый затѣял драку. Всегда сосѣд виноват.

Когда драка, дѣйствительно, кончалась тяжкими увѣчьями, мама сама шла в деревню, как позже ходила я. Земскій врач жил в 25 верстах, в Грузинѣ. Был военный врач ближе, всего в шести верстах. Но когда его дождешься! Да он и не обязан пріѣзжать. Первую помощь приходилось оказывать мамѣ. К ней и довѣрія было больше.

— Нѣт, уж ты сама меня полѣчи. Развѣ дохтура понимают... Им наши болѣзни ни к чему, — пренебрежительно говорили бабы.

Нелегко было вытянуть из них, гдѣ и что у них болит. Первое заявленіе паціентки обычно было:

— Вся немогу.

Затѣм начинался многословный, путанный разсказ, как у нея под сердце подкатывает, в жар и холод бросает, дух спирает и т. д. Мама слушала терпѣливо, наводящими вопросами добиваясь чего-нибудь болѣе яснаго. С дѣтьми діагноз было легче ставить. Тут у моей матери был свой восьмикратный опыт, купленный цѣной тревог и страхов у постели собственных дѣтей. Была и интуиція, вытекавшая из глубокаго материнскаго инстинкта.

Медицинской пріемной служила ей дѣвичья, проходная комната, ведшая из кухни в корридор. Здѣсь, на одну из трех кроватей, баба клала своего ребенка и начинала разматывать разноцвѣтныя тряпки, в которыя он был завернут. Стоя рядом с мамой, ощущая ея успокоительное тепло, я смотрѣла, как из под выцвѣтших лоскутков показывается маленькое тѣльце, ножки, часто худенькія и грязныя, вздутый животик, перевязанный еще отдѣльной, замызганной полоской холста. Пальчики перебирали воздух, точно ножки паучка бѣгут. Все тѣльце вертѣлось, извивалось, вызывая во мнѣ щемящее чувство жалости, страха, отвращенія. От запаха пота, кислаго молока, грязных пеленок щекотало в горле, слегка тошнило.

— Ты на покос его с собой берешь? — прежде всего спрашивала мама.

— Нѣт, барыня, покос у нас дальній. Гдѣ его тащить. Няньку мы наняли, Шурку Андрееву.

— Шурку? Так вѣдь ей только одиннадцать лѣт.

— Да, да... Одиннадцать годков уж сполнилось... Дѣвченка ничего. И печку стопит, и воды принесет, шустрая, — одобрительно говорит молодуха.

У всѣх кругом были такія няньки, от 10 до 13 лѣт. Получали онѣ за лѣтніе мѣсяцы рубля два денег, да отрѣзок ситца на платье. Одному Богу извѣстно, сколько невинных дѣтских душ погубили по русским деревням эти несчастныя дѣвчонки. В лѣтніе дни, когда всѣ

годные для полевой работы бабы и мужики, включая стариков и подростков, с ранняго утра и до позднего вечера оставались на покосѣ или на жнитвѣ, няньки царствовали по деревням. Онѣ носились по улицѣ, заводили игры, баловались, дрались, залѣзали в чужіе огороды полакомиться луком, огурцами, иногда яблоками. Или степенно сидѣли на любимой заваленкѣ, держа младших воспитанников в охапкѣ, покрикивая на тѣх, что уже ползали или бѣгали, звонко шлепая их по голым задочкам.

Потом вдруг сорвутся и, крѣпко прижимая худенькими ручками дѣтеныша к животу, перекидываясь от его тяжести назад, мчались, как обезьянки, в другой конец деревни, затѣвая налет на чьи-нибудь зеленыя яблоки или купанье в темном, холодном ручьѣ. Дорогой онѣ дѣловито засовывали в рот своих питомцев грязную соску, холщевую, пропитанную застарѣлой молочной кислотой тряпку, в которую завязывали кусочек чернаго хлѣба, намоченнаго в молокѣ. Продѣлав это, нянька уже чувствует себя добросовѣстной воспитательницей.

Этими вонючими сосками искони отравляли, вѣроятно, и сейчас отравляют, поколѣнія русских дѣтей. Но сколько еще другого ущерба и увѣчья причиняли дѣвочки няньки своим беззащитным питомцам. Роняли их не только с рук, но даже из окон. А у нас по Волхову, избы строились высокія, в два этажа, с подпольем. Какіе ужасные ожоги видала я в дѣвичьей на младенческом тѣльцѣ, когда баба раскрывала ватное, кумачное одѣяльце и с трудом отдирала присохшія, пропитанныя зеленым гноем, тряпки. Младенец уже не кричал, только глухо стонал, точно жаловался кому-то невидимому, неслушающему. Большинство ожогов было кипятком, из самовара. Нянька, вот такая 11-лѣтняя Шурка, двумя руками волочит кипящій самовар, а ребенка тащит под мышкой. Споткнется и обольет кипятком и его, и

себя. Или двѣ дуры дѣвчонки завозятся около самовара, опрокинут его и не уберегут ребенка.

А был и такой случай. Прибѣжала к нам пригожая чернобровая молодуха из деревни Дымно, верстах в четырех от нас. Был ясный, счастливый лѣтній вечер, и мы с мамой, усталыя, но тоже ясныя, возвращались из сада с корзинками, полными клубники. Баба стремительно подошла к мамѣ и, крѣпко прижимая ребенка к груди, с такой мольбой посмотрѣла на нее большими, голубыми, посвѣтлѣвшими от загара глазами, что мама сразу поставила корзинку с душистыми ягодами на землю и приподняла край бѣлой оборочки, покрывавшей лицо младенца. Мнѣ снизу, — я сама была еще не очень большая, — было не видно ребенка, но ловить отраженіе на мамином лицѣ я умѣла лучше, чѣм потом. Сердце мое сжалось.

Мы прошли в дѣвичью. Баба раскрыла своего ребеночка. Он был темносиній, точно его окунули в краску. Оказалось, двѣ няньки схватили его за руки и за ноги, стали каждая тянуть к себѣ и так разыгрались, что, повидимому, разорвали ему внутренности. Молодуха была заботливая мать. Мальчик был хорошо выкормлен, пеленки свѣжія, сверху он был завернут в чистое бѣлое одѣяльце. Молодая мать стояла у постели, перебирая его оборку. Из под темных бровей красивые глаза смотрѣли так умоляюще, точно перед ней была не Тырковская барыня, а сама Матерь Божія.

Я видела, как у мамы задрожали губы, как на ея глаза, тоже голубые, красивые, набѣжали слезы.

— Сядь, подожди, здѣсь, – тихо сказала она бабѣ, — пойду, посмотрю, какое у меня лѣкарство есть.

Ея рука крѣпко обняла меня за плечи и провела прямо в дѣтскую.

— Няня, Динѣ спать пора. Надо ее в большом тазу вымыть. Она в ягодах замазалась. Покойной ночи, Дина.

— Мама, я с тобой.

— Нѣт.

Я знала, что, когда раздается такой короткій, сухой отказ, не стоит спорить. Это рѣдко бывало. Мнѣ и хотѣлось, и страшно было возвращаться в дѣвичью, гдѣ на бѣлом одѣяльцѣ лежал посинѣвшій, умирающій ребеночек.

И все-таки, несмотря на неумѣніе матерей и нянек, деревня кишѣла живой, веселой, здоровой дѣтворой. Недаром русская пословица говорит: большой падает, Бог борону подставляет, младенец падает — пелену подстилает.

Мама свою медицинскую мудрость почерпала из «Лѣчебника домашней медицины» доктора Флоринскаго. Эти два толстых, прочно переплетенных тома стояли на видном мѣстѣ на ея книжных полках. И в жизни наших сосѣдей эти книги занимали видное мѣсто. По ним мама, никогда не изучавшая медицины, ставила діагноз, опредѣляла лѣченье. Руководство было составлено на рѣдкость толково. Кромѣ того у мамы был врожденный дар распознавать болѣзни. Очень наблюдательная и умная, она была болѣе проницательным діагностом, чѣм многіе врачи, с которыми мнѣ приходилось имѣть дѣло. Не говоря уже о том, что ея лѣченіе помогало, потому что ея паціенты ей безгранично довѣряли, знали, что исходит оно от душевнаго желанія дать больному облегченіе. Теперь сказали бы, что от нея исходят цѣлебные флюиды. Но она, воспитанная на реализмѣ XIX вѣка, разсмѣялась бы, если бы это услышала.

Она давала не только совѣты, но и лѣкарства, которыя привозила с собой. В ея шкапчикѣ, в кладовой, была цѣлая аптека. Все это, конечно, раздавалось даром, но благодарные больные послѣ того, как «от барыниных средствій была польза», приносили ей, кто дюжину яиц, кто кузовок бѣлых грибов, кто вышитое полотенце. Мама, смотря по больным, одних тут же отплачивала за гостинцы серебряными монетками, болѣе

достаточных просто благодарила. Дары всегда принимала. Иначе это была бы обида.

Тяжело больных она навѣщала, иногда убѣждала родных отправить их в губернскую больницу в Новгород или в Грузино, гдѣ была хорошая больница нашего околодка. Или вызывала оттуда доктора. Между Вергежей и Грузином только 25 верст. В старое время мой дѣд, Тырков, ѣздил туда в гости к своему другу, Аракчееву, по отличной дорогѣ, четверкой. Эта поѣздка не брала больше двух, трех часов. Во второй половинѣ XIX вѣка мосты на лугах, вдоль Волхова, развалились и только обломки свай, покрытыя зеленой плѣсенью, напоминали о прежних переѣздах. Лѣтом пароходы обслуживали жителей, зимой мороз наводил мосты. Но попасть к нам из Грузина значило потратить цѣлый день. Земскій доктор, заваленный работой, торопился захватить обратный пароход, чтобы на слѣдующій день не пропустить пріема больных. Он оставлял мамѣ лѣкарства и наставленія, смотрѣл на нее, как на свою ассистентку. Они дѣлили между собой отвѣтственность за врачебную помощь, непосильную для него одного в таком большом участкѣ. Так было не только у нас. Земским врачам было бы очень трудно справляться, если бы не было среди помѣщиц таких добровольных помощниц, как мама.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОТЕЦ

К маминым врачебным талантам отец относился со смѣшанным чувством. Его мать, память которой он очень чтил, тоже лѣчила мужиков и баб, но то были ея крѣпостные, ея собственность. В кладовой хранилась бабушкина шкатулка с гомеопатическими крупинками в стеклянных трубочках, откуда мы украдкой таскали мелкіе, сладкіе шарики. Бабушка лѣчила ими на разстояніи, не выходя из гостиной, куда чернь не допускалась. Она не любила слишком близко подходить к простонародью, и мой отец от нея эту черту унаслѣдовал. Он морщился, что Софинька, как называл он маму, «любит возиться с мужичьем». И в то же время гордился, что его жена все умѣет, даже лѣчить.

Чужія болѣзни вызывали в нем брезгливый страх. Он сердился и пугался, когда видѣл наши царапины и синяки. Для нас, дѣтей, боялся заразы. За себя мнительности в нем не было и тѣни. Здоровье у него было несокрушимое. Дожил он до 78 лѣт, не зная, что такое болѣзнь. Я никогда не видала его в постели больным, не помню, чтобы он когда-нибудь принимал лѣкарства. При этом он не имѣл никакого понятія, как человѣк устроен; как работает его тѣло здоровое, или больное. Он не видѣл большой разницы между врачем и знахарем. Возня моей матери с больными, то, как умѣло, как терпѣливо перевязывала она раны, иногда запущенныя, зловонныя, казалось ему чѣм-то близким к

колдовству. В вопросах здоровья и гигіены, как и во многих других, она была для него полным авторитетом. А для себя он сам установил единственное, твердое правило:

— Я так привык. Я так всегда дѣлал.

И был прав. У него, как это бывает с очень здоровыми людьми, был вѣрный инстинкт. Он ѣл, гулял, купался именно так, как ему было нужно. У него был хорошій аппетит, но он никогда не переѣдал. Спал он немного, но крѣпчайшим сном. Лѣкарств в жизнь свою не принимал. Он был средняго роста, широкоплечій, грузный, но очень подвижной, быстрый. В 70 с лишним лѣт он с утра, быстро, быстро, почти бѣгом, уходил на далекія лѣсныя пожни посмотрѣть, хорошо ли занимается трава, не подросли ли годныя для продажи осины. К завтраку возвращался домой потный, раскраснѣвшійся от ходьбы и солнца и, прежде всего, шел купаться. Дворник нес за ним в купальню табуретку, кувшин, полотенце. Тут же вертѣлись внуки. Цѣлая процессія. До сыта поплавав в холодном Волховѣ, отец подымался по лѣстницѣ, довольный, освѣженный, точно и не пробѣжал до завтрака по солнцепеку 12 верст.

Когда в Петербургѣ была холера, отец не отступил от своей привычки пить сырую Невскую воду из под крана и только смѣялся, когда ему говорили, что в ней холерныя бациллы. В его время в Училищѣ Правовѣдѣнія, на уроках судебной медицины, о бациллах не говорили. В их существованіе он просто не соглашался вѣрить.

Отец был человѣк совсѣм не книжный. Я никогда не слыхала, чтобы он привел строчку из Пушкина или Лермонтова. Так же как он никогда не слыхал ни от меня, ни от кого из своих дѣтей ни одного Евангельскаго текста. Романов он не читал. Даже Толстого и Достоевскаго мама не могла уговорить его прочитать. В его кабинетѣ стоял Свод Законов, еще какія-то юридическія изданія, и сочиненія религіозных писателей.

Их он читал, главным образом, во время Великаго Поста. Тогда, проходя мимо закрытых дверей его кабинета, мы слышали, как он у себя часто, глубоко вздыхает, точно вздымается на высокую гору.

Он был чиновник и помѣщик. Таких, как папа, служилых дворян, интересы которых дробились между канцеляріей и деревней, было не мало. Одна земля не давала им возможности содержать семью, оплачивать воспитаніе дѣтей. Приходилось искать дополнительнаго заработка, итти в город, на казенную, или частную службу. Жизнь нашей семьи дѣлилась на двѣ рѣзко отличныя части — лѣто в деревнѣ, зима в Петербургѣ, гдѣ мы должны были учиться, отец служить. Он нѣсколько раз мѣнял службу. Сначала поступил в департамент геральдіи, но архивная служба была совсѣм не по нем. Послѣ освобожденія крестьян он был мировым посредником, занимался размежеваньем помѣщичьих и крестьянских земель. Эта работа кончилась, началась судебная реформа, был учрежден институт мировых судей. Отец прошел по первым выборам в Петербургѣ и получил участок за Невой, на Охтѣ. Там, на Кушелевкѣ, в просторной городской усадьбѣ гр. Кушелева-Безбородко, я и родилась, 13 ноября 1869 г. До меня, считая Зою, которая умерла младенцем, уже было шестеро дѣтей. Я была предпослѣдняя. Пять лѣт спустя родилась самая младшая, Соня.

Большая семья заставила отца искать лучшаго жалованья. Он ушел из судей и поступил в министерство финансов. Там он скоро выдвинулся и получил хорошо оплачиваемое мѣсто начальника суднаго отдѣленія в департаментѣ таможенных сборов. Должность была для него очень подходящая. Он был хорошій юрист, честный, независимый, на рѣдкость энергичный работник. Если бы не исторія с моим братом, революціонером, и не излишнее усердіе отца в разслѣдованіи хищеній в Таганрогской таможнѣ, отец, рано получившій чин дѣйствительнаго статскаго совѣтника, дослужился бы до

сенатора, может быть, пошел бы и выше. Этот срыв произошел позже. Пока я росла, отец был видным петербургским чиновником, получал 6-7000 рублей жалованья, что по тогдашним цѣнам на жизнь было не мало. У нас была большая квартира, нѣсколько человѣк прислуги. Учились мы в дорогих школах, кромѣ того были учительницы языков, музыки, иногда репетиторы, гувернантки. На все это нужны были деньги. Их не всегда хватало.

От дѣдушки денег в наслѣдство отец не получил. Послѣ освобожденія крестьян помѣщичьи хозяйства покачнулись. Пока были крѣпостные, их труд, так или иначе, вывозил. В крайнем случаѣ можно было отсидѣться в деревнѣ. Мужик прокормит. Послѣ освобожденія крестьян пришлось перейти на платный труд, на денежное хозяйство, на цифры, на бухгалтерію. Многіе помѣщики медленно понимали, что с ними произошло. Со своим новым положеніем они справиться не сумѣли. Усадьбы пошли с молотка. Главными покупателями были купцы, изрѣдка крестьяне. Мой отец до этого не допустил, хотя он тоже терпѣть не мог бухгалтеріи.

Переход к свободному наемному труду требовал перемѣны не только в хозяйствѣ, но и в психологіи хозяина. Отцу было трудно понять цѣнность и денег, и человѣческаго труда. Когда банк, служащіе, прислуга, рабочіе, возчики дров, кредиторы требовали от него денег, он отбивался от них, как от врагов:

— Чорт их возьми совсѣм. Чего они пристают? Нѣт у меня денег!

— Но вѣдь ты им должен, — спокойно возражала мама. — Они на тебя работали.

— Ну так что ж? Могут подождать. Должны быть благодарны, что я им работу давал.

Что рабочіе должны быть благодарны работодателю, это в нем твердо сидѣло. У мамы был как раз противоположный взгляд, она считала, что мы должны быть благодарны тѣм, кто что-нибудь для нас дѣлает,

хотя бы и за деньги. Она и нам, дѣтям, этот взгляд прививала. Но отца передѣлать могли только годы, да и то не во всем. Ни ея доводы, ни ея мягкій, тонкій юмор не дѣйствовали. Он думал и поступал по своему. И своего часто добивался. Непрактичный, неразсчетливый, живя в Петербургѣ, только урывками занимаясь хозяйством, без оборотнаго капитала, он не только удержал всѣ наслѣдственныя земли, но еще, в концѣ 70-х годов купил с торгов имѣніе Пертешно, принадлежавшее гр. Ламсдорфу. То, что он сумѣл всѣ земли сохранить, объясняется его изумительной энергіей и рѣдкой финансовой изобрѣтательностью. Поставив себѣ задачу, он не признавал препятствій. В данном случае задача была ясная: моя вотчина, мой лѣс, мои поля, моя Вергежа, и я никому этого не отдам. И не отдал. Так и умер полным хозяином 5.000 десятин и всего унаслѣдованнаго добра. В нем было глубокое, стихійное чувство собственности, но относилось оно, главным образом, к помѣстному имуществу. Чувство денег у отца было слабое. Жадности к деньгам—никакой. Ни умѣнія, ни желанія их откладывать, копить, считать.

В личных расходах он был так же скромен, как и мама, никогда себѣ ничего не позволял, заграницей был раз в жизни, да и то не поѣхал дальше Вѣны, куда проводил маму, ѣхавшую в Карлсбад лѣчиться от тяжелой болѣзни печени. Эта поѣздка была не роскошью, не забавой, а жизненной необходимостью. Привычки у них обоих были очень простыя. Но, конечно, основная рамка жизни была просторная. Вергежа всему придавала размах. Даже пока мы жили в ней только три лѣтних мѣсяца, все-таки весь год был пронизан созаніем, что там, на холмѣ, над Волховом, есть двухэтажный дом с бѣлыми колоннами. Наш дом, гдѣ нас ждет деревенское приволье и обилье. Мама с легкой насмѣшкой относилась к чувству собственности, с которым ея редикальныя воззрѣнія плохо уживались, но и для нея, как для нас, как для отца, это слово — Вергежа, — звучало,

как романтическій призыв. Только отец слышал в нем иную мелодію, чѣм мы.

На Вергежѣ, в границах своих владѣній, он был, прежде всего, хозяин. Его власть должны были признавать люди, постройки, звѣри, деревья, травы, даже небеса. Когда, быстро помахивая тростью, обходил он свои поля, не только приказчик, слѣдовавшій за ним, два шага отступя, но и прохожіе, знакомые и незнакомые, чувствовали, что идет сам барин, что надо снять шапку и поклониться. На поклоны он отвѣчал вѣжливо, но если встрѣчный шел не по общему проселку, пересѣкавшему нашу землю, а по одной из боковых дорог или тропинок, полевых, луговых, лѣсных, отец мог его остановить и сурово спросить, что он тут дѣлает?

Он настойчиво требовал, чтому ему докладывали обо всем, что происходит в его владѣніях. Сам он был не очень наблюдателен и мог не замѣтить, что дѣлается под самым его носом. Служащіе это хорошо знали и не редко его надували. Любимый его приказчик, Семен Никифоров, на обязанности котораго было продавать в Петербургѣ наше сѣно и дрова, довольно свободно обращался с папиными деньгами. Он был смышленый, ловкій, расторопный, но пьяница. Вечером, сидя по своим углам за учебниками, мы, дѣти, знали, что сегодня Семен несет папѣ деньги. Если, пробираясь в кабинет через длинную, слабо освѣщенную столовую, Семен попутно ронял стулья, разставленные вдоль стѣны, значит, покупатели его на славу угостили. Из кабинета раздавался папин окрик:

— Семен, с ума ты сошел! Чего ты там стукочешь?

Семен кое-как добирался до дверей кабинета, и, прислонившись к притолкѣ, неувѣренно отвѣчал:

— Виноват. Споткнулся. Стул не на мѣстѣ стоял.

— Дурак! Ходи осторожнѣе! Сѣно продал?

— Так точно.

Голова у Семена была крѣпче, чѣм ноги, и он, хотя и невѣрным языком, но толково докладывал о сдѣлкѣ,

а главное вынимал из-за пазухи пачку сторублевок и осторожно клал на край стола. Для отца это была самая интересная часть разговора. Он всегда нуждался в деньгах, и их вид дѣйствовал на него успокоительно. Он их пересчитывал, запирал в ящик письменнаго стола, задавал Семену еще нѣсколько вопросов, потом говорил:

— Ну, иди в кухню. Небось проголодался. Скажи Софьѣ, что я велѣл тебѣ стакан водки дать.

— Покорнѣйше благодарим.

Семен, пятясь, выходил из кабинета и уже осторожнѣе пробирался через столовую, старясь, чтобы проклятые стулья на него не набрасывались.

— Ну, опять Семен пьян, — говорила мама. — Как ты не боишься, что он, когда-нибудь всѣ деньги пропьет, или потеряет.

Отец смотрѣл на нее с удивленіем:

— Семьен пьян? Почему ты так думаешь? Я не замѣтил.

Он не отличал пьяных от трезвых. Когда мои братья и кузены выросли, и им случалось войти в столовую не совсѣм твердым шагом, папа видѣл их расплывчатыя, непонятныя улыбки и смѣялся, не подозрѣвая, что с ними творится. Смѣялись и мы. К этому времени мы уже научились растворять его вспыльчивость в нашем смѣхѣ.

Папа уже был в отставкѣ и поселился на Вергежѣ, когда в ясную зимнюю ночь над нами медленно пролетѣл, оставляя на небѣ яркій слѣд, сверкающій метеор. Папа узнал об этом только на слѣдующій день и сразу вскипѣл. Горничной было приказано немедленно вызвать приказчика, старшаго скотника и дворника. Всѣ твое явились и стали в дверях из коридора в столовую. Это было традиціонное мѣсто, откуда служащим полагалось выслушивать господскія распоряженія. Я сидѣла с книгой в глубоком креслѣ и лѣниво подумала, зачѣм это папа собрал весь штат? В коридорѣ послышались

его поспѣшные, несмотря на полноту, легкіе шаги. Он вбѣжал в столовую и сердито крикнул:

— Это еще что такое? Отчего вы мнѣ ничего не донесли?

Приказчик, скотник, дворник с недоумѣніем переглянулись. Чего это старый барин так расхлопотался? Переминаясь с ноги на ногу, они ждали дальнейшей распечки.

— Эдакое безобразіе! Над моими землями летит комета, происходит небесное явленіе, а мнѣ никто не докладывает. Я должен все знать, что у меня в имѣніи дѣлается. Понимаете?

Служащіе опѣшили. Не знаю, видѣли ли они метеор, но слова о небесных явленіях их ошеломили.

Я не удержалась и громко засѣялась. Отец, еще сердитый, обернулся ко мнѣ. Он меня раньше не замѣтил, а тут увидал мое смѣющееся лицо, сначала поколебался, не разсердиться ли еще крѣпке, заодно и на меня? Потом засмѣялся. И на лицах служащих заиграли улыбки. Так пролетѣвшій мимо метеор дѣйствительно очень примѣчательный разсыпался смѣхом.

У отца была древняя, мужицкая жадность к землѣ. Он крѣпко держался за нее. Только старшему сыну выдѣлил он при жизни земельный участок. Остальным никогда не дал ни клочка из многих своих десятин. Он был влюблен в землю, как в женщину, для нея ничего не жалѣл, неустанно вкладывал в нее деньги, почти всегда занятыя, часто взятыя под большіе проценты. Когда он начинал разрабатывать под пашню новые участки, копать канавы, выписывать дорогія сѣмена и машины, мама спрашивала:

— А ты подсчитал, стоит ли, окупится ли?

Он рѣшительно отвѣчал:

— Что тут подсчитывать? Мнѣ надоѣло смотрѣть на такое безобразіе! Видѣть этого не могу!

Это был такой же художественный подход к полям, как у мамы к цвѣтникам. Самое удивительное, что,

хотя долги иногда принимали грозный характер, но, в концѣ концов, папина эстетика окупилась. Правда, только через много лѣт, когда мама принялась за хозяйство, к его энергіи присоединила свою спокойную практичность.

Для изворота, для текущих расходов и платежей всегда находились какіе-то доходишки, иногда неожиданные. Когда десятин так много, как было их у моего отца, то, если пошарить, всегда найдется, что обернуть в деньги. Это относится и к общерусскому хозяйству. Всякое правительство всегда найдет новые рессурсы в необъятности Россіи. У земли есть такое свойство, что преданнаго хозяина она выручает, для него что-то вырастит, что-то родит. В наших сѣверных мѣстах она безшумно, незамѣтно родит лѣса. Лѣс отец рубил безпощадно и в далеком Апраксином Бору, и в Пертешнѣ, и на Вергежѣ, и на участкѣ, доставшемся ему позже около станціи Бабино, по наслѣдству от двоюроднаго племянника, князя Ширинскаго-Шахматова. Цѣну своему лѣсному добру отец плохо знал. Продавая лѣс, он руководствовался не столько его биржевой стоимостью, сколько тѣм, как много ему в данный момент нужно было денег, чтобы оплатить срочные векселя, банк, или другіе неотложные расходы.

Пертешно, гдѣ было 1.700 десятин, он купил дешево, за 25.000. Да и то не за наличныя, а через Тульскій банк. Купил и сразу продал лѣсопромышленнику оптом дубовые участки за нѣсколько тысяч. На самом дѣлѣ дуба там было на нѣсколько десятков тысяч. Отец не любил вспоминать об этой продажѣ.

Он вообще не любил говорить о своих денежных дѣлах с кѣм бы то ни было, даже с мамой. Только во вторую половину жизни, когда мы уже устраивались по своему, он стал с нами болѣе сообщителен.

Случай с дубовым лѣсом был далеко не единственный. Отец до конца жизни не знал по-настоящему своих владѣній, их денежной цѣнности, их доходности. В

отставку он вышел поздно, выслуживая полную пенсію. До тѣх пор в деревнѣ проводил только мѣсяц отпуска, из Вергежи выѣзжать не любил, далеко не каждый год бывал в Пертешнѣ. Правда, хотя от нас до этого имѣнія, по прямой линіи было только верст 30, но добираться туда было трудновато. Там был посажен приказчик из отставных жандармов, Осташев. Он очень увлекался иностранной политикой, выписывал «Сын Отечества» и раньше многих видных дипломатов начал бояться Германіи и захватных планов императора Вильгельма. Политическіе интересы не мѣшали ему потихоньку продавать сѣно, лѣс, всякое наше добро. В Пертешнѣ был обширный кирпичный скотный двор, гдѣ прежній владѣлец держал сотни волов. Черкасскій скот тогда еще гнали с юга до Петербурга гужом. Дорогой быки тощали, и их ставили на откорм. Осташев постепенно распродал кирпичи крестьянам, а папу увѣрил, что стѣны огромнаго зданія размыло и снесло весенним половодьем, хотя усадьба стояла не на Волховѣ, а на маленькой, смирной лѣсной рѣчкѣ. Осташев и на мелочах ловко наживался. В Пертешенских лѣсах были цѣлыя заросли черной смородины. Весной из Петербурга, со Щукина рынка, пріѣзжали скупщики собирать смородинный лист для посолки огурцов. Отец получал от Осташева за эту сдѣлку 25 рублей и с особенным удовольствіем записывал эти деньги на приход. На самом дѣлѣ скупщики платили в десять раз больше, но об этом узнали только, когда Осташев ушел.

Другой курьез вышел с рыбной ловлей, но тут уже Осташев был не при чем. Волхов, рѣка рыбная, особенно славился зимой налимами, лѣтом сигами. Они идут из Ладожскаго озера через пороги вверх по рѣкѣ. Это происходит не то в іюлѣ, не то в началѣ августа, не помню. В нѣкоторых мѣстах, например, в старинном рыбацком селѣ Соснинская Пристань, гдѣ построена железнодорожная станція Волхово, сиги идут сплошными стаями, и тони закидываются непрерывно, днем

и ночью. Около Вергежи сиги не ловились, и отец не привык думать о них, как о доходной статьѣ. Поэтому, когда к нему пріѣхал из Соснинки на челночкѣ рыбак, по прозванью Карась, и предложил 15 рублей в год за право ловить рыбу с наших Волховских лугов в Пертешнѣ, отец сразу согласился.

— А уж я тебя, Ваше Превосходительство, уважу, еще 15 сижков представлю, — прибавил Карась, блестя лукавыми, улыбающимися глазами.

Так шло нѣсколько лѣт. Мы проходили полосу остраго безденежья, и эти 15 сигов, которых Карась аккуратно привозил, как только начинался улов, были для мамы, в ея кухонном бюджетѣ, большим подспорьем. Ѣли их вареными, запекали в пироги, коптили. Копченый сиг, да еще Волховской, это тонкая штука. Всѣ были довольны.

Раз мы, молодежь, отправились в лодкѣ вниз по Волхову в наши Пертешенскія владѣнія. Плыли все утро, дорогой завтракали, наслаждались горячим днем, красотой берегов. Было уже далеко за полдень, когда мы причалили к Пертешенским лугам. Прежде, чѣм подыматься дальше по извилистой рѣчкѣ, от Волхова к усадьбѣ, мы остановились посмотрѣть, как на нашем берегу тащат тоню. Рыбаки, с удивительным искусством, закидывали поперек рѣки широкій невод, который доходил почти до противоположнаго берега. Сотни крупных, серебряных сигов плескались в сѣтях. Мы разговорились с рыбаками. Они не подозрѣвали, кто мы. Для них Вергежская мыза была гдѣ-то далеко. Они непринужденно болтали, разсказывали, что живут на нашем лугу в избушкѣ, уже вторую недѣлю. Днем и ночью закидывают сѣти.

— Значит, хорошо рыба идет?

— Еще б-ти. Ему, сигу, самый здесь ход. Что не закинем, кажинный раз сотню, полторы вытащим. Страсть рыбное мѣсто эти Тырковскіе луга.

Полтораста сигов? Каждый сиг стоил около рубля?.

Сколько же денег Карась со своими сѣтями здѣсь выловит? Ловко он это устроил. Мы начали хохотать. Рыбаки не понимали, в чем дѣло, смотрѣли на барчат с любопытством. А мы сѣли опять в лодку и то на веслах, то толкаясь шестами, часа два подымались вверх по ручью, который струился по отцовским владѣніям, извиваясь среди лужаек, окаймленных зарослями дуба, черемухи, лип, берез. Густая трава, цвѣты, птицы, взлеты уток, мир, благодать, богатство. И все это наше, Тырковское, а мы зачѣм-то жмемся в городѣ, часто без двугривеннаго в карманѣ.

Когда мы разсказали отцу, что Карась на наших сигах не одну тысячу рублей нажил, отец вспылил, бранился, грозил, что не пустит этого мошенника себѣ на глаза. Через двѣ недѣли мошенник явился и привез обычную дань, полтора десятка крупных, жирных сигов, связанных веревкой, пропущенной через красныя жабры. Ну и пятнадцать цѣлковых привез. Мы сидѣли в столовой за дневным чаем, когда неопытная, молодая горничная неожиданно ввела его в комнату. Отец круто повернулся, так что стул затрещал. Это бывало перед бурей. Но она не разразилась. Не знаю, был ли отец в благодушном настроеніи, или пересилил древній дух гостипріимства, но он только сказал:

— А, Карась... Ну, садись. Выпей чаю.

Смѣх прокатился вокруг стола. Отец искоса посмотрѣл на молодежь, не удержался и тоже засмѣялся. Счастливый дар дружнаго смѣха, который мама внесла в нашу семью, многое смягчал и облегчал. Именно дружнаго, артельнаго смѣха. Мы рѣдко потѣшались друг над другом, вообще смѣялись не столько над кѣм-нибудь, как над чѣм-нибудь.

Карась, видный, плечистый мужик с окладистой русой бородой, быстро осмотрѣл нас зоркими глазами рыболова и привѣтливо замѣтил:

— Веселые у тебя, ваше превосходительство, барчата.

— Это ты, Карась, их развеселил, — с лукавой усмѣшкой отвѣтила мама. — Ну, садись, выпьешь чаю с медом.

Ему налили чаю, дали хлѣба с маслом, меду, теплаго, только что вынутаго из улья, поговорили о погодѣ, о травах и хлѣбах, и только тогда отец сказал:

— Спасибо Карась, что сигов привез. А уж на будущій год я сам буду их ловить. Они у тебя веселые, сами в сѣти лѣзут.

Карась засмѣялся.

— Лѣзть, то лѣзут... Ну и мы их, ваше превосходительство, маленько подгоняем. Но оно, конечно, самому способнѣе их ловить... Только мокрое это дѣло, не барское.

— Ничего, за то денежки будем загребать. Ты со мной шутки шутил. За такую тоню 15 рублей. И тебѣ не стыдно?

Отец собрался разсердиться. Но в столовой было так хорошо. Через пять высоких окон лился смягченный зеленой листвой жаркій солнечный свѣт. Волхов чуть слышно плескался. Сквозь открытыя окна его освѣжающее дыханіе струилось по столовой. И от нас, от дочерей и сыновей, шло освѣжающее дыханіе ранней молодости. На наших лицах, как и на маминам, было заразительное, веселое любопытство. Карась, наблюдательный и смѣтливый, все это учел и примирительно сказал:

— Ваше превосходительство, цѣну вы назначали, не я...

— Ну, назначил, чорт тебя побери! Как я мог знать. Мнѣ никто не доложил, что в моих угодьях столько рыбы плавает...

Очень трудно было удержаться от смѣха. Но нельзя. Дѣло идет к тому, чтобы торговаться. Да и нам всетаки досадно, что Карась столько лѣт даром забирал наших сигов. Отец встал и увел Карася в кабинет. Там они договорились. Карась будет платить не 15, а 150

рублей. Обѣ стороны остались довольны. Карась знал, что за Тырковскую тоню можно и гораздо больше дать. У его дочерей уже сундуки были полны платьями и шубками, всѣм, что нужно для приданаго. Даже брилліантовыя сережки у них были. У нас ни сережек, ни приданаго нѣт, да мы за этим и не гонимся.

К безденежью мы привыкли с ранняго дѣтства. Думаю, что так бывало во многих помѣщичьих, дворянских семьях, но так как сосѣдей, кромѣ крестьян, у нас не было, то я не знаю, как другіе с безденежьем справлялись. В нашей дѣтской жизни безденежье оставляло слѣд только тогда, когда разговоры о деньгах сердили отца и он устраивал мамѣ буйныя сцены, разражавшіяся с внезапностью горной грозы. Он кричал, топал ногами, кого-то укорял, кому-то грозил и, наконец, стремительно и мелко шагая, убѣгал к себѣ в кабинет, с шумом хлопал дверями. На нѣкоторое время в домѣ воцарялась пренепріятная, далеко не успокоительная тишина.

Мы оставались около мамы, неувѣренные, что крик кончен. Эти вспышки отцовскаго гнѣва, чаще всего неожиданныя и несоразмѣрныя с поводом, вызывали в нас чувство отпора, страстное желанье оградить мать, заступиться за нее. Но сдѣлать мы ничего не могла. Мы не вмѣшивались, — это было бы совершенно невозможно, — но одно наше присутствіе, выраженіе дѣтских лиц, заставляли отца сдерживаться. И мы это знали. Чѣм грубѣе он становился, тѣм горячѣе разгоралась в дѣтских сердцах любовь к мамѣ. Мы всей душой были на ея сторонѣ. Она всегда была права. Он всегда неправ.

Ссоры часто происходили из-за нас. Нам самим рѣдко попадало от отца. Он не любил дѣлать нам замѣчаній, если был чѣм-нибудь недоволен, выговаривал мамѣ.

Она неизмѣнно за нас заступалась, находила нам оправданіе, готова была принять всѣ удары, только нас

оградить от его вспыльчивости. Это было два полярно противоположных подхода к воспитанію. Мама ждала от своих дѣтей добровольнаго послушанія, основаннаго на пониманіи и любви. Она умѣла нас остановить, или направить одним словом, одним взглядом. Отец не забыл ветхозавѣтной дисциплины страха, царившей в его семьѣ. Ему было трудно понять, почему, чѣм громче он кричит, тѣм упрямѣе становится наш молчаливый отпор. К счастью, отец был слишком занят службой, хозяйством, денежными дѣлами, чтобы возиться с нами, иначе мы попали бы под перекрестный огонь двух противоположных токов. Да и не только потому, что он был занят. В глубинѣ души он признавал, что первое право на нас имѣет мама, что главная отвѣтственность лежит на ней. Было в нем смутное ощущеніе, что не все вѣрно в той широкой свободѣ, которую она нам давала, но мамѣ было легче защищаться, чѣм ему нападать, она свою систему продумала, нашла для нея подкрѣпленіе в книгах. В нем говорила только среда, семейныя традиціи, голоса прошлаго. Мама была несравненно болѣе ловким и тонким адвокатом, чѣм он прокурором. Когда он требовал, чтобы мы во-время ложились спать, не слишком поздно возвращались домой, не опаздывали к обѣду, а тѣм болѣе в церковь, он, конечно, был прав. Но он так круто отстаивал свою правоту, что мы упрямо замыкались и про себя думали, что, если бы не мама, вот нарочно стали бы ложиться еще позднѣе, еще больше опаздывать, а то и совсѣм не приходить в церковь.

С церковью выходило очень неладно. Не только изза отца, из-за всего склада, из-за воспитанія, домашняго, школьнаго, общаго, из-за того, что называется духом времени. Тут отец ничего не мог подѣлать, не знал даже, как к нам подойти. В домѣ было двѣ половины — на одной мама и мы всѣ, а на другой он, один. Только мамино мягкое умѣніе сглаживать противорѣчія затушевывало водораздѣл. Мы сходились за завтраком

и обѣдом, папа часто не вслушивался в нашу болтовню. Остальное время дня мы сидѣли или по своим комнатам, или около мамы в гостиной. Отец, если не был на службѣ, сидѣл у себя в кабинетѣ. Пока он был молод, на него чаще налетали бурныя вспышки неудержимаго гнѣва, не всегда разумнаго, и нам, дѣтям, легче дышалось, когда его не было дома. Старшіе братья и Маруся чувствовали это еще сильнѣе. В них обида за мать претворялась во враждебность. Она с годами прошла, но в молодости они это остро чувствовали.

Люди вообще, тѣм болѣе люди страстные, необузданные, состоят из противорѣчій. При всей своей рѣзкой вспыльчивости отец был полон добродушія, никому не желал зла, а добро часто дѣлал, постоянно за кого-то хлопотал, давал юридическіе совѣты, ходил по казенным канцеляріям из-за чужих дѣл. Все это безвозмездно, безкорыстно. В нем было дѣтское, наивное простодушіе и довѣрчивость. Обмануть его и в мелочах, и в крупном было не трудно. Он ничего не замѣчал. Лукавыя дѣла и мошенничества сходили с рук служащим и приказчикам. Но он мог яростно налетать на них изза вздора, часто из-за того, чего они не дѣлали.

Пока мы были дѣтьми, нам было трудно разобраться в противорѣчіях его характера. Дѣтям вообще трудно понять старших. Когда папу обуревал безпричинный гнѣв, его приводило в ярость мягкое, но твердое сопротивленіе мамы. Он не помнил себя, выкрикивал грубости, только для того, чтобы сдѣлать ей больно. Потом мучился, просил прощенія, иногда плакал.

Он очень ее любил. Любил ея заботы, ея доброту, ея артистичность, ея смѣх, оставшійся да конца молодым. До послѣдних лѣт жизни он любовался ея красотой, правда, замѣчательной, восторгался ея умѣніем вить гнѣздо, вести дом, направлять прислугу, лѣчить, жить, садовничать, рисовать образа, дѣлать букеты, одѣвать дѣтей, восторгался всей ея разнообразной,

щедрой, неутомимой дѣятельностью. Под старость, когда дѣло уже подходило к золотой свадьбѣ, было что-то безконечно трогательное в том, как он робко касался пальцами какой-нибудь розовой воздушной матеріи, из которой мама шила одной из внучек платье и говорил, оглядывая нас всѣх:

— Посмотрите, мама то у нас какая... Все может...

— Да что ты, никогда не видал, как я шью? — говорила она недовольным голосом.

Но если бы он перестал восторгаться, любоваться, по ея жизни побѣжали бы холодные сквозняки. Несмотря на бѣшеныя сцены, отец окружал ее нѣжным уваженіем, котораго так недостает женщинам во многих семьях. Она для него была существом особой породы. Случалось, что ея сложная умственная и духовная жизнь бѣсила его своей непонятностью, недоступностью. Но она же давала ему сознаніе опоры, чего-то вѣрнаго, надежнаго.

Темп жизни у каждаго из них был совершенно разный. Он всегда торопился, стремился, бѣжал, не успѣвал замѣтить, что дѣлается кругом. Мама была плавная в движеніях, в мыслях, в чувствах. Она все дѣлала спокойно, не торопясь, все успѣвала, для каждаго находила привѣтливое слово. У нея были зоркіе глаза. Она внимательно всматривалась, понимала людей, цѣнила в них ум, но еще выше ставила доброту и порядочность. К богатству, к положенію, к карьерѣ относилась с насмѣшливым равнодушіем. Судя по отрывкам их разговоров, как они запомнились мнѣ с дѣтства, отцу очень хотѣлось, чтобы она поддерживала и развивала тѣ свѣтскія отношенія, которыя перешли к нему от Тырковых, из Правовѣдѣнія, создавались на службѣ. Казалось бы, молодой красавицѣ, на которую всюду, гдѣ она появлялась, обращали вниманіе, будет даже пріятно искать свѣтских успѣхов. Но мама, при всей своей благовоспитанности и хорошей простотѣ манер, была совсѣм не свѣтская женщина. Она не любила пріемов,

официальных отношеній, выѣздов, визитов, внѣшняго шуршанія, вынужденной любезности, притворной ласковости, на которой держались отношенія в среднем чиновничье-дворянском кругу, гдѣ по положенію мужа ей надлежало быть. От природы она была общительна, со всѣми равно привѣтлива. Но ея либерализм, ея независимость бунтовала против архаическаго духа петербургских гостиных. Несмотря на всѣ настоянія отца, она бывала только у своих родных, да у двух папиных товарищей по училищу, у Бартенева и Принца, которые оба быстро подымались по чиновничьей лѣстницѣ, и оба попали в сенаторы.

Не знаю, было ли это школьное вліяніе гернгутеровскаго протестантизма на маму в ту юношескую пору, когда закладываются основы характера, или сказался на ней раціонализм XIX вѣка, но в ней не было органическаго уваженія к традиціям, которыми папа жил. Мама была либералка, с ясной, оптимистической вѣрой в человѣка, в прогресс, в то, что завтрашнее навѣрное будет лучше вчерашняго. Папа дорожил крѣпкой связью с прошлым, хотѣл удержать его формы в обычаях, его идеи в обязанностях. Он часто повторял: так было при моих родителях. Для него это была не мертвая формула, а живое воспоминаніе. Реформы 60-х годов он принял от всего сердца, но в них он не видѣл отреченія от всего, что было и как дѣлалось раньше, особенно в обиходной жизни, в семьѣ. Политически он считал, что пока на этих реформах и слѣдует остановиться, их глубже ввести в жизнь. Нетерпѣливыя домогательства либералов, а тѣм болѣе революціонеров, были ему совершенно чужды. А мама им сочувствовала. Но она умѣла к чужим убѣжденіям, к чужим привычкам относиться с уваженіем.

Так в нашей семьѣ мы могли наблюдать два теченія, на которыя распадалось настроеніе той части дворянсва, которое привыкло думать, привыкло сознательно опредѣлять свое отношеніе к дѣйствительности. Отец,

представитель традицій с глубоким интуитивным чувсвом своих корней, классовых, имущественных, духовных. Русскій до мозга костей. И православный, не по обязанности, не внѣшне, а по существу православный человѣк, для которого хожденіе в церковь, посты, говѣніе было необходимой частью жизни. Мама была проникнута христіанской моралью, но у нея не было потребности в обрядѣ, в церковности. Только под конец жизни стала она задумываться над мистической, чудесной стороной христіанства. В тѣ годы, о которых я сейчас пишу, ея міросозерцаніе строилось, главным образом, на вѣрѣ в прогресс, на любви к людям. Другая могла бы впасть в сухое резонерство, но у нея было любящее, дарящее сердце, рѣдкая чуткость к людям, к их страданіям, слабостям, заблужденіям. Ея широкая терпимость охватывала и посторонних и близких, что часто бывает гораздо труднѣе. Оттого, несмотря на несходство между ею и моим отцом, несмотря на его крутой характер, она сумѣла создать на рѣдкость дружную, теплую семью, гдѣ ни папѣ, ни дѣтям, ни ей никогда не было тѣсно и почти никогда не было скучно. Как-то само собой выходило, что, хотя в характерѣ отца было много властности, а у мамы не было никакого желанія командовать, предписывать свою волю, но движущей силой, солнцем семьи была она.

Отец это раз навсегда признал, не разсужденіем, не логикой, не как результат многолѣтней тяжбы, которая нерѣдко опредѣляет между мужем и женой предѣлы власти, а просто принял всѣм существом своим, как принимаем мы дневной свѣт, или запах воздуха. Казалось бы, глубокое расхожденіе в религіозном міросозерцаніи должно вносить между ними разногласіе, разъединеніе, привести к тяжкой борьбѣ за дѣтскія души. Но отец проявил неожиданную для его крутого нрава терпимость и в борьбу не вступил.

Пока мы были дѣтьми он, в Петербургѣ, сам водил

нас к обѣднѣ во Владимірскую церковь, от которой мы близко жили. Вслѣд за отцом пробирались мы через переполненную народом церковь на правый клирос, гдѣ он оставлял меня и Марусю, а сам, с мальчиками, шел в алтарь. Молиться мы не умѣли и не хотѣли. Глазѣли по сторонам, разсматривали молящихся, украдкой посмѣивались над ними. Особенно смѣшили нас стоявшія на том же клиросѣ три сестры, богатыя, старыя дѣвы, наряженныя по допотопной бабушкиной модѣ, но молодящіяся. Нас забавляло, что онѣ и в церкви перешептывались между собой по-французски, и старшая напоминала младшей, точно дѣвочкѣ, как надо себя держать, хотя этой дѣвочкѣ уже было за семьдесят.

Моя сестра была уже взрослая барышня. В черном бархатном беретѣ, оттѣнявшем ея бѣло-розовую кожу, с красивым, тонким профилем и темными, задумчивыми глазами, она была похожа на картину средневѣковаго итальянскаго художника. На нее всѣ оборачивались. Мнѣ это очень нравилось, я сама ею любовалась. Но еще больше нравилось мнѣ, что она приносит в церковь, вмѣсто молитвенника маленькую книжку революціонных стихов, изданіе Народной Воли.

Такое тогда царило кругом нас настроеніе, что Маруся уже с 16 лѣт чувствовала себя чуть не революціонеркой. Во время обѣдни она раскрывала принесенный с собой томик стихов и, как другіе читают молитвы, читала призывы к бунту и террору, хотя по природной своей кротости была неспособна даже муху обидѣть. Мнѣ, маленькой гимназисткѣ, это казалось необыкновенно смѣло и умно. А отец подходил с нами к кресту и умиленный, довольный, что пріобщил свое семейство к церкви, возвращался с нами домой. Бѣдный папа, если бы он знал, какую книгу читает в церкви его красавица дочь.

Совсѣм иной характер носило деревенское богомолье. Оно было связано с большими праздниками, с днями семейных торжеств, имѣло бытовые корни. В

деревнѣ мы бывали в церкви рѣже и охотнѣе, хотя всегда умудрялись опоздать к началу службы. Простота и незатѣйливость обряда, знакомыя лица священника и прихожан придвигали нас ближе к церковной жизни. Возможно, что, незамѣтно для нас, что-то нам передавалось от исконной набожности мужиков и баб. Это были неглубокія, скользящія настроенія, но все-таки отец их чувствовал и был счастлив, когда в Высоцкой церкви, или в Званском монастырѣ, рядом с ним располагалось это неуемное семейство.

Сам он молился не только в церкви, но и дома. В его небольшом кабинетѣ на Вергежѣ главный угол занимал кіот краснаго дерева, гдѣ под стеклом висѣли большія и маленькія иконы, крестики, четки, памятки из святых мѣст и монастырей. По субботам нянюшка Агафья Васильевна зажигала лампадку из краснаго хрусталя на высокой рѣзной бронзовой подставкѣ. Вечером, проходя мимо открытой двери, я видѣла, как мерцает ея отблеск на ликах Спасителя, Божьей Матери, Святых. Уютом, теплом вѣяло из темнаго кабинета. Но в безпечную мою голову не приходила мысль войти, перекреститься, помолиться.

Перед кіотом стоял, разрисованный и выжженный мамиными руками, аналой с полками для святоотеческих книг. Папа читал их, главным образом, в Великом Посту. На Страстной он собирал нас к себѣ в кабинет к, чтобы пробудит в нас созаніе глубокаго смысла этих дней, читал нам Евангеліе или отцов церкви. Мы слушали молча, тупо, упрямо замыкаясь в своей глухотѣ и слѣпотѣ. Он поглядывал на нас через очки, вздыхал, продолжал читать. Не мог он не чувствовать, что мы притаились за стѣной, через которую не доходят до нас святыя слова. Как дорого дала бы я теперь, чтобы имѣть его библіотеку. Сколько раз, много, много лѣт позже, в Лондонѣ, мама, окруженная внуками и правнучками, возвращаясь со мной и моим мужем, англичанином, из русской церкви, с грустью говорила мнѣ:

— Как папа был бы счастлив, если бы он нас теперь видѣл...

Этого счастья мы ему не дали. Он не дожил до той крутой перемѣны, которую опыт и потрясенія жизни произвели во мнѣ и моих дѣтях. Семья росла, множилась, а он, попрежнему, оставался одинок в своем молитвенном усердіи, в своих церковных привычках и потребностях. Онѣ у него были крѣпкія, глубокія, обросли бытом, пустили подземные корни. Для всего был установлен опредѣленный лад, похожій на ритуал: для поѣздок на узком челнокѣ в Высоцкую церковь, в селѣ напротив нас, на другом берегу Волхова; для поѣздок на лошадях, лѣтом в тарантасѣ, зимой в маленьких санках, в женскій Званскій монастрь, бывшее имѣніе Державина, в шести верстах от нас. Туда отец ѣздил с ночевкой, чтобы отстоять всенощную и обѣдню, послушать хорошее монастырское пѣніе, побесѣдовать с игуменьей о дѣлах небесных и земных, так как он был их совѣтчиком. Иногда ѣздил отец и в болѣе далекія богомолья, но так и умер, не осуществив своей мечты, побывать в Іерусалимѣ. Все денег не было, хотя Палестинское Общество возило паломников по какой-то очень дешевой расцѣнкѣ.

Особенный обиход был связан с нашей усадебной часовней. Мы всѣ ее любили. Там даже до нас долетали отголоски небеснаго пѣнія. Часовня была выстроена в полѣ, прямо за частоколом, окружавшем просторную, на нѣсколько десятин раскинувшуюся, Вергежскую усадьбу. Часовня была деревянная, на невысоком кирпичном фундаментѣ. Лѣстница в три ступеньки выложена плитами. По бокам—деревянныя приступки, вродѣ скамеек, с которых открывался чудесный вид на Волхов, на далекій изгиб Высоцкой луки, на поля, лѣса, деревни. Часовенка была небольшая, скромная, тихая, без притязаній. Внутри почти все было сдѣлано мамиными руками, носило печать ея вкуса, ея чувства симетріи. Она выжгла высокій аналой, она сшила бѣлое

с кружевами покрывало на стол, гдѣ лежали крест, Евангеліе, требник, стояли высокіе мѣдные подсвѣчники с восковыми свѣчами. Она разставляла букеты, которые так артистически подбирала. Почти всѣ образа — были писаны ея рукой. Это отец особенно цѣнил.

В часовнѣ не было отопленія, и зимовали образа в домѣ, в кабинетѣ. Весной, обычно перед самой Пасхой, нянюшкѣ Агафьѣ Васильевнѣ, поручалось стереть пыль, почистить оклады, мѣдные подсвѣчники, серебряное кадило. Дѣлала она это с умиленной сосредоточенностью, строго слѣдя за тѣм, чтобы молодая, смѣшливая горничная Ольга тоже сохраняла степенную серьезность. Это было не легко. Особенно если кто-нибудь из молодых барчат мимоходом заглядывал в кабинет и, подмигивая Ольгѣ, говорил:

— Что, нянюшка, святых на дачу собираете?

Нянюшка неодобрительно поджимала губы и, укоризненно глядя на шутника сѣрыми, глубоко запавшими в орбиты глазами, говорила:

— Вам все смѣхи, да шутки. Небось с утра ни разу лба не перекрестил? Ступай себѣ, грѣховодник, нечего тебѣ тут дѣлать.

Всѣ мы, ея воспитанники и воспитанницы, были грѣховодниками, что не мѣшало ей нас любить, баловать, нами любоваться.

Когда все было приведено в порядок, нас скликали со всѣх концов дома и сада и поручали нести кому образ, кому книги, или коробку с ладаном. Вся процессія торжественно выступала из дому. Впереди шел отец, нес один из больших образов, за ним его потомство, потом Ольга с подсвѣчниками и кадилом, дворник со стульями. Шли по широкой березовой аллеѣ, которая тянулась от двора к околицѣ, наполняя все кругом сладким запахом молодой, клейкой листвы. Это было веселое шествіе, открывавшее весну и отец ласково оглядывал нас, точно благодарил, что и мы участвуем в его своеобразном крестном ходѣ.

Осенью, с наступленіем холодов, такая же процессія двигалась в обратном порядкѣ. На нас сыпались мелкіе, отливавшіе всѣми оттѣнками золота, листья березъ. Сѣрыя тучи неслись низко. Снизу доносилось плесканье воли, подгоняемых пронизывающим сѣверным вѣтром. Кончилось лѣто. Святые угодники возвращались с дачи в теплый дом.

Когда папа бывал на Вергежѣ, он каждый вечер, послѣ обѣда, шел в часоню молиться. Изрѣдка пріѣзжал священник то наш, приходской, из далекаго села Коломно, отстоявшаго от нас за восемь верст, то ближній Высоцкій батюшка. Служили молебен; или всенощную. В открытыя окна вливался запах елей, берез, трав, цвѣтущаго клевера, только что скошеннаго сѣна. Птичьи голоса сливались с возгласами свяещнника, и какая то свѣтлая легкость расправляла душу. Эти службы в нашей тѣсной часовенкѣ отстаивались незамѣтно, без усталости и скуки. Иногда Званская игуменья привозила свой хор. На бѣлых, штукатуренных стѣнах четко вырисовывались темныя фигуры ея клирошанок. Их лица под черными, бархатными, остроконечными шапочками казались еще моложе, вносили в тихую деревенскую часовню своеобразную художественность. Как у мастеров кватроченто, сквозь небольшія окна, с толстыми желѣзными рѣшетками, виднѣлась зелень полей, разрисованных красочными головками диких цвѣтов, верхушки далеких деревьев, голубое небо с бѣлым облачным узором.

Мы любили нашу Вергежскую часовню, любили ее бездумно, без покаянных тревог о наших грѣхах, но далекіе от бунта, соблазнявшаго нас на торжественных богослуженіях Владимірскаго собора. В этой небольшой папиной молельнѣ, гдѣ каждая подробность, каждая икона были с дѣтства знакомы, молитвенныя слова легче западали в душу. и даже нетерпѣливая юность внимательнѣе прислушивалась к сердечному краснорѣчію длинных акафистов. Положим, не всегда. Если в

этот день у нас гостили наши молодые товарищи, если переведенные с греческаго многосложные эпитеты вызывали на их лицах сначала недоумѣніе, потом с трудом сдерживаемую улыбку, то нам не легко бывало подавить заразительный смѣх. Но в нем не было ничего оскорбительнаго, вызывающаго. Подданными Небеснаго Царя мы себя не сознавали, но и бунтовать против Него, как против царя земного, не собирались. Мы об этом не думали, тѣм болѣе в часовнѣ, гдѣ от стѣн, от полей, от открытых дверей, от пчел, гудѣвших в травѣ, от большой красной бабочки, залетѣвшей в окно, от всего вѣяло ясным спокойствіем, свѣтлым миром. Отец это тоже радостно чувствовал. В часовнѣ приподымались грани, раздѣлявшія нас с ним.

Это случалось не часто, в особые, праздничные дни. Обычно он шел молиться один, даже не пытался звать нас с собой. А как бы он был счастлив, если бы кто-нибудь из дѣтей опустился с ним рядом на колѣни перед его любимым образом Спасителя.

Иногда он пробовал подойти к нам. Раз, когда я уже была курсисткой, он вошел в мою комнату.

— Вот, я тебѣ подарок принес, — сказал он, неувѣренно улыбаясь.

Он был человѣк волевой, с яркими, рѣшительными желаніями, с гнѣвными, порой необузданными вспышками, но в то же время застѣнчивый, стыдливый. Он все больше стѣснялся с нами, по мѣрѣ того как мы росли, сбрасывали дѣтскую неопредѣленность, и все явственнѣе сказывались наши собственныя желанія и симпатіи, проявлялись наши личныя особенности и свойства. Эту его неувѣренную улыбку я уже хорошо знала.

Я с любопытством развернула тяжелый пакет. В нем было три книги — молитвенник, Евангеліе и Апостольскія Посланія, в роскошном, синодальном изданіи с русским и славянским текстом. Я поблагодарила, полюбовалась красным с золотом сафьянным переплетом, под-

битым бѣлым муаром, отличной бумагой, крупным шрифтом. Отец слушал мои вѣжливыя слова, и тѣни набѣжали на его смуглое лицо с крупными скулами и темными, красивыми глазами. Он поцѣловал меня и с легким вздохом сказал:

— Может быть, когда-нибудь почитаешь...

Я поцѣловала его руку. Гдѣ-то теперь эти прекрасныя три книги? Я не догадалась взять их с собой, не ждала таких долгих скитаній. А как хотѣлось бы теперь их имѣть.

Другой раз, когда я уже разошлась с первым мужем и жила в маленькой квартиркѣ, гдѣ только в дѣтской висѣла в углу икона, папа, который очень безпокоился за меня, вдруг спросил:

— Чей образ ты хотѣла бы имѣть? Я хочу тебѣ подарить.

Вопрос застал меня врасплох. Об иконах и молитвѣ я совсѣм не думала и тѣм тороплившѣе отвѣтила:

— Спасителя.

— Хорошо. А я думал Божьей Матери...

Непривычное чувство виноватости смутило меня. Эти сдержанныя, простыя слова пріотворяли двери в какіе-то покои, куда мнѣ не было доступа... А вѣдь мы жили, опьяняясь самоувѣренным сознаніем, что весь мір перед нами открыт, что мы все понимаем.

С годами благочестіе отца росло. Он все чаще пріобщался, все чаще ѣздил на богомолье, построил в селѣ Высоком новую церковь. Постройка этой церкви яркая страница в папиной жизни. У него до самаго конца дней был запас кипучей энергіи, но он тратил ее на служебныя дѣла, на хлопоты около гнѣзда, а общественными дѣлами не занимался. Года два был безплатным секретарем Общества Попеченія о Слѣпых. Увлекался этой работой, устраивал сборы, мастерскія, распространял брошюры. Два раза в недѣлю принимал у себя. К большому неудовольствію прислуги наша передняя в эти дни наполнялась слѣпыми и их родственниками,

зрячими. Папа терпѣливо выслушивал просьбы, давал справки, направлял, сам ѣхал куда-то хлопотать. Не знаю, почему он прекратил эту работу, и не понимаю, почему мама, всегда готовая помочь нуждающимся и обремененным, относилась к папиному секретарству с усмѣшкой. Сама она никогда ни в каких обществах не состояла и дам патронесс не любила.

Общество Слѣпых это был конец 80-х годов. Потом пришло наше обѣднѣніе, трудности, оскудѣніе жизни. У отца временно опустились руки. Но, послѣ того, как мама осторожной, но твердой рукой стала распутывать и налаживать хозяйство, у папы опять скопился запас динамической энергіи, и он задумал построить в селѣ Высоком, вмѣсто обветшалой деревянной церкви, новую, каменную. Когда он в первый раз заговорил об этом с мамой, она с удивленіем на него посмотрѣла:

— Сколько же это будет стоить? Откуда же ты деньги возьмешь?

— Деньги найдутся, было бы усердіе.

Мама пожала плечами, но прав оказался отец. Деньги он нашел. Сам он дать ничего не мог, кромѣ нѣкотораго количества лѣса и кирпича. Денег у него совсѣм не было. Он и Сережа, тогда студент Лѣсного Института, ютились вдвоем в маленькой квартиркѣ в Петербургѣ. Но папа неутомимо объѣзжал знакомых и незнакомых, просил, убѣждал, настаивал и по рублям, по копѣйкам собрал таки тѣ 40.000 рублей, которые нужны были на постройку. Ѣздил в Кронштадт, сколько то получил от отца Іоанна, стоял там на паперти со сборной книжкой, как дядя Влас. С сѣдыми волосами, с сѣдой кругло подстриженной бородкой, с живыми, молодыми, черными глазами, он обращал на себя вниманіе. Осанистый вид и орден на шеѣ, который он в таких случаях надѣвал, не оставляли сомнѣнія — барин, настоящій барин. Тѣм охотнѣе клали на его сборную книжку пятаки простые люди на паперти Андреевскаго Собора в Кронштадтѣ, в Сергіево-Троицкой

Лаврѣ, в московских церквях, всюду, гдѣ он появлялся. Так трудился он нѣсколько лѣт. Главную поддержку нашел он в отцѣ Іоаннѣ. С тѣх пор папа стал духовным сыном Кронштадтскаго батюшки.

Большая радость изливалась на него от отца Іоанна. Не обращая никакого вниманія на погоду, в лѣтнія бури и в зимнія метели, ѣздил папа к нему в Кронштадт и там в алтарѣ, а иногда в густой толпѣ богомольцев выстаивал длинныя службы. Отец Іоанн был к нему очень ласков, находил время для личных бесѣд. Отец возвращался от него успокоенный, просвѣтленный. НИКОГДА НИКТО из дѣтей не сопровождал папу в этих поѣздках. Я себѣ этого простить не могу. Но все же я отца Іоанна видѣла, проведя с ним три дня под Вергежской крышей, когда он пріѣзжал к нам на освященіе Высоцкой церкви.

В папиной жизни постройка этой церкви и появленіе отца Іоанна в нашем домѣ были важнѣйшими событіями. Для всѣх нас, для всей Вергежской семьи, это было только одним из красочных происшествій нашего Вергежскаго, живописнаго бытія. Так же как встрѣча с отцом Іоанном была только одной из встрѣч с незаурядным человѣком. Мы не могли не поддаться очарованію, из него излучавшемуся, но понять его дарящую силу мы были не в состояніи. Я была еще очень молода, поглощена собственной, плохо налаженною жизнью и брала на вѣру интеллигентскую предвзятость, предубѣжденность против чудака священника, который привлекает в Кронштадт со всей Россіи тысячи бездѣльников, лицемѣров и кликуш, распространяющих суевѣрную молву о его чудесах. Все, сказки, одурманивающія простой народ. В наше время чудес не бывает. Понятно, что и к чудотворцу мы подходили с ребяческим скептицизмом. Обманщиком мы его, слава Богу, не считали, но удивлялись, почему он терпит, поощряет этот шум, эту толкотню богомолок и богомольцев вокруг него и его церкви.

А когда он появился, когда, по желанію отца, мы всей семьей спустились вниз, к рѣкѣ встрѣтить отца Іоанна на прибрежном порогѣ усадьбы, и он заглянул ясными, острыми глазами прямо мнѣ в глаза, какое-то теплое волненіе поднялось во мнѣ. Я и сейчас вижу свѣт этих удивительных, глубоко сидящих глаз. Они сіяли точно двѣ лампадки. Такого непрерывнаго сіянія я никогда, ни у кого не видала. И у обыкновенных людей глаза могут иногда вспыхивать, загораться лучами, то темными, то свѣтлыми. Из глаз отца Іоанна лучи струились непрерывно. Я тогда не подозрѣвала, не способна была понять, что это отраженіе непрерывнаго внутренняго сіянія.

Его появленіе у нас не только отцу, который был счастлив, как влюбленный юноша, но и нам всѣм принесло большую радость. При его знаніи людей и прозорливости он не мог не увидать сразу нашу далекость от всего, чѣм питалась и горѣла его избранная душа... Он понял, что во всей большой семьѣ только один православный человѣк, — мой отец. Когда папа, уже в гостиной, поочереди представлял ему всѣх дѣтей, я прочла в пристальном взглядѣ отца Іоанна пониманіе и сожалѣніе, что мы так слѣпы. Он не попытался нас вразумить, тѣм болѣе покорить. Но разговаривал с нами иначе, чѣм с папой. С ним отец Іоанн, хотя они были близки по годам, разговаривал, как отец с сыном, с тихой, внимательной лаской. Когда он обращался к кому-нибудь из нас, это просто был привѣтливый свѣтскій человѣк. В нем было много свѣтской обходительности. Мы это почувствовали в первый же вечер, когда важные гости еще не съѣхались, и в гостиной, кромѣ нас, были только отец Іоанн и его старый товарищ по Академіи, о. Орнатскій из Петербурга. Они давно не видались, о. Іоанн обрадовался этой встрѣчѣ, обнял и расцѣловал своего однокашника. Они вспоминали студенческія проказы, когда они по ночам, украдкой, бѣгали на концерты и перелѣзали чрез высокія стѣны

Александро-Невской Лвры, чтобы не попасться на глаза инспектору. Оба священника наслаждались веселыми воспоминаніями своей юности, а мы наслаждались, слушая их, глядя на помолодѣвшія их лица. Наша незатѣйливая гостиная потеплѣла, сдѣлалась еще уютнѣе. Потом о. Іоанн замолчал. Лицо его перемѣнилось. Он ушел в себя. Мы не поняли в чем дѣло, но папа понял. Быть может, свѣтлый гость заранѣе предупредил его о часах своей молитвы. Папа подошел к батюшкѣ:

— Если угодно, батюшка, я провожу вас в сад. Уже темнѣет.

Они вышла вмѣстѣ на балкон и сошли в аллею. О. Іоанн особенно любил молиться под открытым небом и вѣроятно еще днем, когда папа показывал ему свою усадьбу, выбрал себѣ нашу липовую аллею, нашу зеленую колоннаду, как естественную молельню. Туда уходил он каждый вечер и возвращался из сада с лицом утомленным и счастливым.

На слѣдующій вечер ему чуть не нарушили этот порядок. Из Новгорода пріѣхал архіерей со свитой. Сразу стало ясно, что Кронштадтскій батюшка им чужд и неугоден. Это происходило в самом началѣ 90-х годов. Синод с недовѣрчивой подозрительностью присматривался и прислушивался к дѣятельности о. Іоанна, к его проповѣдям, к тому растущему поклоненію, которое привлекало со всей Россіи толпы народа в Кронштадтскій Андреевскій собор. Это усердіе, это скопленіе казалось синоду излишним. О. Іоанн уже был народным, но еще только простонародным пастырем. Среди духовенства шепотом говорили, что не миновать ему синодальной немилости. Еще не знали, что он вскорѣ станет близок к царской семьѣ.

Новгородскій архіерей, в отвѣт на почтительную просьбу моего отца разрѣшить о. Іоанну отслужить у нас в домѣ всенощную сухо заявил, что служить всенощную будет священник, котораго он привез с собой.

Бѣдный папа. Он так мечтал об этой всенощной в нашей столовой. Пришлось покориться.

Вечером всѣ сидѣли в гостиной. Мама, как полагается, на диванѣ. Рядом с ней старшая из прiѣхавших монахинь. С другой стороны в креслѣ, архiерей, который привѣтливо бесѣдовал с хозяйкой. Священники расположились на стульях вдоль стѣн. О. Iоанн молча сидѣл далеко под самым окном. Когда настал его час вечерней молитвы, он подошел к архiерею и, как полагается по церковной дисциплинѣ, попросил разрѣшенiя уйти. Стоял он близко, но владыка его не замѣчал. О. Iоанн вернулся на свой далекiй стул. Я видѣла, как остальные священники украдкой переглянулись. Они-то понимали все значенiе этой сцены. Через нѣсколько времени о. Iоанн опять подошел с той же просьбой, и опять владыка не обратил на него вниманiя. Опять отошел о. Iоанн на свое мѣсто под окном. Та же сцена повторилась в третiй раз. Тут уже мама не вытерпѣла и тихо сказала ерхiерею:

— Владыка, о. Iоанн что-то хочет вам сказать.

Только тогда архiерей взглянул на Кронштадтскаго батюшку и, придерживая широкiй рукав шелковой рясы, дал ему отпускное благословенiе.

Папа открыл перед отцом Iоанном дверь на балкон, и батюшка ушел в сад, в свою облюбованную липовую аллею. По гостиной прошел совсѣм не христiанскiй сквозняк недоброжелательных чувств... Наша привычка тянуться ко всему и ко всѣм, кого не одобряют власти, усилила набѣжавшiй холод. Мы насторожились против архiерея, повернулись к о. Iоанну. Он стал ближе, доступнѣе, понятнѣе. Тѣм болѣе, что Отче Наш, единственная молитва, которую архiерей позволил ему прочесть на всенощной, все еще звучала в сердцѣ. Такой молитвы я ни раньше, ни потом не слыхала.

А кругом дома, в темнотѣ на рѣдкость теплой октябрьской ночи, слышались осторожные шаги, заглушенные голоса, шорохи и шепоты, дыханiе нѣсколь-

ких тысяч людей. Они пришли и пріѣхали со всей округи получить благословеніе Кронштадтскаго батюшки. Всѣ усадебные зданія, всѣ сараи не могли вмѣстить паломников, которые наполняли двор, сад, расплылись по всей усадьбѣ. Настоящая ночная осада, к счастью, мирная. Присутствіе этих богомольцев, явственѣе пріѣзда почетных гостей, среди которых были и губернатор, Б. Штюрмер, и обер-прокурор Синода, Саблин, говорило о том, что на Вергежѣ происходит какое-то большое событіе. От этой невидимой толпы в дом просачивалась волнующая, свѣтлая напряженость.

Не знаю, нашел ли о. Іоанн в тот вечер в саду тихое мѣсто для своей одинокой молитвы, но на разсвѣтѣ он вышел к народу. Из ложной стыдливости я не спустилась вниз, не отдалась людскому морю, залившему наш просторный двор, осталась в своей комнатѣ во втором этажѣ и только украдкой, из-за занавѣски смотрѣла на сіявшія счастливым умиленіем лица старых и молодых, мужчин, женщин, дѣтей. Всѣ лица были повернуты в одну сторону, к крыльцу, гдѣ стоял о. Іоанн. От меня его не было видно. Слышен был мягкій, ласковый голос, но слов разобрать я не могла. В толпѣ крестились. Восклицанія, вздохи, похожіе на всхлипыванія, проносились над ней, долетали до меня. И заражали смутным волненіем.

Еще заразительнѣе пронеслось через мою душу настроеніе богомольцев в день освященія Высоцкой церкви. По деревенской мѣркѣ выстроена она была довольно просторно, но так много собралось народу, что только часть попала внутрь церкви. Огромная толпа стояла за оградой под открытым небом, заполняла широкую сельскую улицу, еще при Аракчеевѣ обсаженную березами и прочно вымощенную. День был тихій, солнечный. Волховская даль раскинулась в своей прощальной, осенней красѣ. Служба кончилась. Надо было сходить вниз, к пароходу, который должен был перевезти нас через рѣку на Вергежу, гдѣ нас ожидал

завтрак, накрытый на сотню гостей. Торжественная процессія во главѣ с архіереем, окруженным духовенством, вышла из церкви. Новгородскій владыка, осторожно двигаясь по крутому спуску, на ходу благословлял народ. Вокруг него на обрывистых изрытых дождями рытвинах, тѣснились и карабкались люди. Архіерея, губернатора и все их окруженіе они пропускали вѣжливо, чинно. Но глаза их искали другого пастыря, искали своего батюшку, Кронштадтскаго. Он шел одним из послѣдних среди духовенства. А для толпы он был первым. Как только его завидѣли, всѣ ринулись к нему. Стало даже жутко, — а вдруг давка, вдруг эти, все ближе наплывавшія людскія волны, его стѣснят, собьют с ног. Но онѣ только облили, обвили его и, точно на руках, снесли вниз, к рѣкѣ.

К нему были повернуты лица и сердца, за ним слѣдили тысячи глаз, к нему тянулись невидимые нити, токи. Я шла близко от о. Іоанна и физически эти токи ощущала. Это излученіе народной души на мгновеніе снесло, растопило грубую оболочку равнодушнаго любопытства, затемнявшаго мое сознаніе. Я не любила и не люблю толпу, но в этот сіяющій праздничный день я, сама того не сознавая, растворилась в толпѣ православных богомольцев.

О. Іоанн был в своей стихіи. Он привык ощущать вокруг себя это струеніе сердец, которое словами передать трудно, а забыть нельзя.

Вспоминая все это, как я радуюсь за папу, что он в подлинном единеніи с народом, так глубоко переживал, так по-дѣтски отдавался духовной близости с Кронштадтским батюшкой. И как горько думать, что мы, вся остальная Тырковская семья, прошли мимо этого источника воды живой.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ГИМНАЗІЯ КНЯГИНИ ОБОЛЕНСКОЙ.

В деревнѣ ритм нашей жизни шел от рѣки, солнца и дождя, от покоса и сбора ягод, от головастиков и гусениц, из которых я терпѣливо выводила лягушат и бабочек, от ручных воробышков и зайчат, от всего, что росло, плодилось, двигалось, кусалось, ласкалось, летало, плавало, ползало, вообще от чего-то живого. В городѣ дни опредѣлялись сухим шелестом школьнаго дневника. Расписаніе уроков, учебники, отмѣтки. Между ними воскресенье. Оно не имѣло настоящаго своего лица, было только между.

Школы мама выбирала для нас очень тщательно. Этим, конечно, занималась она, а не папа. Только старшаго брата, Виктора, отец сразу послѣ рожденія записал в Училище Правовѣдѣнія, гдѣ сам учился. Мамѣ очень не хотѣлось отдавать своего первенца в закрытую школу, тѣм болѣе, что он, единственный из нас всѣх, был некрѣпкаго здоровья. Но отец настоял на своем. Второй мой брат, Аркадій, учился в третьей классической гимназіи, гдѣ сердил директора, чеха Лимоніуса, своей неудержимой смѣшливостью. Лимоніус трем, если не четырем, поколѣніям преподавал латынь, но русскій язык, за свою долгую службу в Россіи, так и не выучил, чѣм потѣшал своих учеников. Слѣдующіе два брата, Алексѣй и Сергѣй, оказались школьниками нерадивыми и кочующими. Они переходили из школы в школу, и мамѣ много пришлось с ними

повозиться. Маруся, которая была на шесть лѣт старше меня, кончила гимназію кн. Оболенской, куда и меня отдали. Младшая, Соня, попала к Стоюниной. Наше ученье требовало больших расходов. Это все были частныя школы. Онѣ обходились гораздо дороже казенных. Не только ученье, но и учебники, и одежда больше стоили. По мѣрѣ того, как росли дѣти, рос и список долгов. Но мама твердо вѣрила, что образованіе важнѣе богатства. Она поставила себѣ задачей научить нас языкам, провести через хорошія школы. Ради этого она героически выдерживала всплески отцовскаго гнѣва. Бывало, что по всей нашей большой, в восемь комнат, кватирѣ раскатывался его вопль:

— Да откуда же я денег возьму? Чорт вас всѣх возьми!...

Оглядываясь назад через дымку многих десятилѣтій, я чувствую обиду за маму, что ея усилія, подчас самоотверженныя, дали такіе малые результаты. Не удалось ей ни направить наши жизни, ни сдѣлать всѣх своих дѣтей счастливыми, ни вылѣпить наши характеры согласно своей мечтѣ. Все это развивалось в зависимости от заложенных в каждаго из нас данных, под вліяніем событій и встрѣч, на которыя она, при всей своей горячей, умной преданности дѣтям, при исключительной с нами близости, все таки вліять не могла. Ея отношеніе к нам было ровное и справедливое, она одинаково хлопотала и трудилась над каждым сыном, над каждой дочкой. А вышли мы всѣ такіе несходные, так по разному устраивали и разстраивали свою жизнь. Все же от нея, через нее, нѣкоторые общіе навыки перешли ко всѣм нам. Она привила нам равнодушіе к деньгам, независимость, вѣжливость, особенно с низшими, отсутствіе мелочности. Но драгоцѣнный дар жизнерадостности, свѣтлый оптимизм, который был у нея в крови, не всѣ дѣти от нея унаслѣдовали.

Меня очень рано отдали в гимназію. Я вообще была ранняя. Читать научилась пяти лѣт, слушая, как

мама учила Сережу, который упирался, учиться совершенно не хотѣл. Он был ближе всѣх ко мнѣ годами, и мы были очень дружны. Сережа был коренастый, сильный, ловкій. Под тонкой русской рубашкой играли стальные мускулы. На красивом лицѣ легко расплывалась широкая улыбка. Она мелькала не только на губах, но в больших сѣрых, ясных глазах. Сережа всегда был готов на всѣ проказы, не знал ни удержу, ни страха. Плавать, бѣгать, лазить по деревьям, если надо, то и подраться, на это не было никого лучше его. Его мальчишество передавалось и мнѣ. Тут я была его вѣрной спутницей и смиренной подражательницей, хотя бѣгать так быстро, лазить по деревьям так высоко, как он, так и не научилась. Но в книжном спортѣ я с первых же шагов раз навсегда его обогнала. Он был от природы очень не глуп, на два года старше меня, но плелся позади меня. Дѣтская мудрость рано подсказала нам, что это не так уж важно. Мы были неразлучной парой и дополняли друг друга. Учились, конечно, в разных школах. Тогда еще не было смѣшаннаго обученія. Но школьную жизнь мы проходили бок о бок, держась за руки, окруженные его товарищами и моими подругами. Мы вмѣстѣ шалили, вмѣстѣ приспособлялись к жизни и к людям, радовались, огорчались, волновались, кипѣли. Между нами была подлинная, вѣрная дружба. Сережа, безпечный богатырь и весельчак, придавал и мнѣ увѣренности. Сережа здѣсь, значит, все ладно. Я не отдавала себѣ отчета, как он обогащает мое дѣтство, мою юность.

Нас почти одновременно отдали меня к Оболенской, его во 2-ое реальное училище. Это была казенная школа. Директор, Рихтер, был нѣмец, сухой, придирчивый формалист. Сережѣ от него постоянно попадало. Мамѣ часто приходилось объясняться с директором, оправдывать своего сына. А Сережа шалил, сколько хватало воображенія. Я с интересом слушала его разсказы и завидовала ему, что он может совер-

шать такіе подвиги, для которых у Оболенской не было ни предлога, ни оправданія, так как начальство и не думало нас притѣснять.

Сережа не долго пробыл во 2-м реальном училищѣ. В III классѣ им задали сочиненіе о способах освѣщенія столицы. Сережа сочинитель был плохой. Он написал кратко и ясно: «Столица освѣщается фонарями». Расписался — Сергѣй Тырков, и бодро подал почти пустую страничку.

Директор вызвал маму и заявил, что такой сознательной дерзости он не потерпит. На самом дѣлѣ фонари были только предлогом. Директору давно не нравился независимый, шаловливый мальчишка. Его смѣющіеся глаза слишком дерзко смотрѣли прямо в лицо начальству. Примѣшивалось и то, что в Тырковском семействѣ завелась зараза неблагонадежности. Благодаря Аркадію, политика очень рано оказала вліяніе на нашу жизнь. Да и в души наши рано просочилась.

Сережу из казенной гимназіи перевели в частную гимназію Бычкова, которая скоро перешла к Я. Г. Гуревичу. Стоило это во много раз дороже казенной. Отец платил неаккуратно и сердито. Сердиться можно было еще и потому, что учебная дисциплина стояла у Гуревича не высоко. Сережу работать так и не научили. Он лѣнился, бездѣльничал, баловался.

И с меня у Оболенской настоящей работы не требовали, к правильным занятіям не пріучили, но я своей гимназіи за многое благодарна. Мнѣ было семь лѣт, когда меня туда отдали. Обычно русских дѣтей поздно отдавали в гимназію. Но моя младшая сестра заболѣла скарлатиной и, чтобы меня отдѣлить от нея, меня помѣстили на полный пансіон к Оболенской. Это продолжалось только два мѣсяца, потом я осталась в гимназіи, как приходящая.

Первый день, когда меня туда привели, все было так чуждо, так непріятно, что если бы не моя дѣтская гордость, я просто взвыла бы, как щенок. Навсегда

запомнился угол в проходной комнатѣ, куда я забилась и спряталась за книгой, которую принесла с собой. Я уже тогда не могла жить без книг, зачитывалась, упивалась ими. Когда мнѣ сказали, что меня отвезут в гимназію, я схватила книгу, как в минуту опасности хватаются за дружескую руку. Прибѣгали дѣвочки, казавшіяся мнѣ большими опасными звѣрями, отводили мою книгу в сторону, безцеремонно меня разсматривали и с хохотом убѣгали. Им было смѣшно, что я такая маленькая, такая смуглая, черномазенькая, что из под кругло подстриженных, черных, обильных волос смотрят не по лицу большіе, черные, неулыбающіеся глаза. А, может быть, их забавляло, что эта маленькая обезьянка читает не книжку с картинками, а Пушкина.

Начальница гимназіи, княгиня Александра Андреевна, тоже меня внимательно осмотрѣла и стала приглашать по воскресеньям играть с ея единственным сыном, Володей, моим однолѣтком. Как часто бывает, когда родители навязывают дружбу, ее не вышло. Меня почему-то раздражало, что у Володи отдѣльная игрушечная комната с двумя огромными шкафами, наполненными невиданными, сложными игрушками. В то время дѣтей не так баловали подарками, как это дѣлают теперь. Я игрушек не любила, в куклы не играла. Эти шкафы мнѣ были почему-то непріятны. Володя широко открывал двери своей кладовой и спрашивал:

— Во что играть? Что достать?

— Ничего. Закрой. Давай в прятки играть.

Прятаться в пустых, просторных классах и в длинных корридорах было жутко, но забавно. Володя с трудом меня находил. Я была быстрѣе и изобрѣтательнѣе его. Может быть потому, что он был единственный, обожаемый, забалованный сын. Что не помѣшало ему вырости в очень хорошаго, дѣльнаго человѣка, с которым много позже мы снова оказались товарищами, но уже играли мы не в прятки, а в оппозицію.

Восемь лѣт пробыла я в гимназіи. Поступила в нее

семилѣтней, замкнутой дѣвочкой, нерѣдко глядѣвшей на чужих изподлобья, оставила ее озорной, свободолюбивой, задорной и очень общительной дѣвушкой, избалованной успѣхами среди гимназистов, студентов, юнкеров. И школьные успѣхи, не стоившіе мнѣ никакого труда, баловали меня. Память у меня была отличная, была способность быстро схватывать, умѣнье в каждом вопросѣ находить главное. Мама это в нас упорно развивала.

— Ты прежде всего пойми, гдѣ суть. Пойми, в чем дѣло. Мелочи потом разберешь, — твердила она нам, когда мы спотыкались над уроками.

Как пригодились мнѣ позже, в моей писательской и лекторской работѣ, эти ранніе, внушенные ею навыки.

Как это ни странно, но пробыв столько лѣт в одной из лучших школ Россіи, я из нея не вынесла привычки к систематическому труду. Пришлось ее вырабатывать самой, когда жизнь прижала к стѣнкѣ. А в школѣ, зачѣм было стараться работать, если и так, налету, не открывая учебника, со слов учителя, я все схвачу и запомню.

По дѣтской своей неосмысленности я даже щеголяла этой легкостью. Подруги завидовали мнѣ, учителя неосторожно вслух говорили о моих способностях, не понимая, что, если, дѣйствительно, есть способности выше средняго, то и требованія надо предъявлять выше средняго. Все же:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Не помня зла, за благо воздадим...

Зла я от них и не видѣла, а добра много получила, и гимназіи княгини Оболенской многим обязана. Это было не коммерческое предпріятіе, а идейное дѣло, основанное в общем порывѣ энтузіазма 60-70-х годов. Среди многих задач выдвинулись тогда и задачи народнаго просвѣщенія на всѣх его ступенях. Это была и

цѣль в себѣ и один из способов служенія народу, к которому тогда все сводилось, у одних на словах, у других на дѣлѣ. Не знаю, по свойству ли русскаго характера, или благодаря идейному подъему эпохи, но русская интеллигенція 70-х годов создала такія школы, которыя в нѣкоторых отношеніях до сих пор могут служить образцами для западных педагогов.

Обо всем этом мы, гимназистки, конечно, не думали. Нам казалось, что гимназія нам страшно надоѣдает. Кому охота в пасмурное, раннее, зимнее утро, в темной комнатѣ, освѣщенной одной свѣчкой, вылѣзать из теплой постели. Наскоро напьешься чая с хлѣбом, с маслом, хватаешь ранец, покрытый жесткой, черной с бѣлым, тюленьей шкуркой, мысленно перебираешь, не забыла ли что-нибудь и стремительно сбѣгаешь с лѣстницы. Меня рано стали отпускать одну. Пріучать нас к независимости тоже входило в мамину систему. Первый год отец сам отводил меня в гимназію, которая была близко от нас. Мы тогда жили в Басковом переулкѣ, гимназія помѣщалась на углу Надеждинской и Итальянской, которую позже окрестили улицей Жуковскаго. Отец шагал быстро, не оглядываясь на меня. Я едва поспѣвала, семенила, бѣжала за ним почти бѣгом. Потом стала бѣгать одна, что мнѣ гораздо больше нравилось, а отцу меньше. В 80-х годах в дворянской средѣ еще держалось старинное представленіе, что барышнѣ опасно, неприлично одной ходить по улицам. Многія дѣвочки приходили и пріѣзжали в гимназію с матерями, с гувернантками, с горничными. Да и не только в дворянской средѣ дѣвочек держали под охраной. У нас учились двѣ дочери богатаго купца Соловьева. У него на Невском была фруктовая торговля. Сестры Соловьевы были худенькія, прехуденькія, блѣдныя, преблѣдныя. Мы удивлялись, почему их не могут откормить, когда у них в лавкѣ столько вкусных вещей? Жили Соловьевы на углу Николаевской и Нев-

скаго. Мы тоже переѣхали в тот район. Их дом был на полдорогѣ между нашей квартирой и гимназіей. Когда я торопливо мчалась, чувствуя, что опять опоздала к молитвѣ, меня перегонял толстый, широкозадый кучер. Далеко раскинув локти, неторопливо, бережно вез он двух бѣлобрысеньких дѣвочек в ученье. Перед ними, спиной к кучеру, сидѣла такая же толстая, как и он, нянька. Пѣшком дѣвочки никогда не ходили, ни зимой, ни лѣтом.

Зимой онѣ и не могли бы дойти пѣшком, так много было на них накутано. Это было одним из наших развлеченій, смотрѣть, как нянька разворачивает Соловьевых, точно свивальник с младенца снимает. Платки, шали, наушники, набрюшники, фуфайки, — чего только не было на двух хиленьких, тоненьких дѣвочках. Уж и дразнили же мы их этими платочками и теплыми штанишками.

С младшей Соловьевой я встрѣтилась болѣе полувѣка спустя в По, во время нѣмецкой оккупаціи. Она из милліонерши превратилась в бѣдную бѣженку, была оторвана от дѣтей. Но в этой попрежнему тоненькой, хрупкой женщинѣ обнаружился поразительный запас спокойнаго мужества, ясной любви к людям. А вѣдь обычно считается, что из балованных, заласканных дѣтей богачей вырастают закоренѣлые эгоисты.

В гимназіи царил дружный дух и между дѣвочками, и в отношеніях со старшими. Даже с классными дамами. За восемь лѣт их у меня смѣнилось только двѣ, — Софья Ермолаевна Усова и Елисавета Антоновна Коссиковская. Софья Ермолаевна провела одно лѣто у нас на Вергежѣ, учила меня и Сережу и очень подружилась с мамой. Я ее любила. Мнѣ нравилось ея бѣлое лицо с горбатым носиком, с темными бровями. Один глаз у нея сильно косил. Но я и это в ней находила милым, как все в ней. Возможно, что меня еще и потому к ней тянуло, что раз я случайно услыхала, как она сказала мамѣ:

— Дина у вас особенная, не такая, как всѣ.

Мнѣ было тогда лѣт десять, не больше. Я сдѣлала тогда же открытіе, которое меня очень, очень взволновало. Я подмѣтила, что Софья Ермолаевна влюблена в Аркадія. Про любовь я давно начиталась... Евгеній Онѣгин, Демон, любовная лирика Пушкина, Некрасова, Лермонтова, — всѣм этим я была напитана, не говоря о переводных романах, которые я находила в разрозненных журналах Вергежской библіотеки. А тут моя собственная классная дама влюблена в моего брата, как Татьяна в Онѣгина, как княжна Мэри в Печорина. Аркадій, как эти герои, пренебрегает ея любовью. Никто из старших при мнѣ об этом не говорил, но я-то видѣла, что Софья Ермолаевна краснѣет, когда с ним говорит; видѣла, что он над ней подсмѣивается, и всѣм своим дѣтским, романтическим сердцем жалѣла мою косоглазую, отвергнутую учительницу. Позже Софья Ермолаевна вышла замуж за публициста, С. Н. Кривенко, сотрудника «Отечественных Записок». Она была с ним очень счастлива. С. Н. Кривенко и его пріятель, Н. В. Шелгунов, сотрудник «Дѣла», были первыми писателями, с которыми я встрѣтилась. Они принесли в мамину гостиную разговоры о политикѣ, о писателях и жизни в редакціях, к которым я прислушивалась с не дѣтским любопытством. Это был один из ручейков, спозаранку влившій в меня оппозиціонное любопытство.

Другая классная дама, Елизавета Антоновна, цѣликом связана с гимназической жизнью. Она поступила к нам совсѣм молоденькой и сразу подкупила гимназисток своей мягкостью. Она никогда не сердилась, хотя порой мы приводили ее в отчаяніе. Тогда она, дрожащим голосом, со слезами на красивых, добрых глазах, говорила:

— Как вам не стыдно?!

Нам, дѣйствительно, становилось стыдно. Мы обступали ее, сбивчиво, безсвязно объясняли, как все слу-

чилось, обѣщали не быть такими глупыми и нѣсколько дней сдерживали обѣщаніе.

Во второй половинѣ моей школьной жизни княгиня стала прихварывать и на помощь себѣ взяла свою сестру, М. А. Ладыженскую. С ней у насъ установились колючія отношенія. Ей мы никогда ничего не обѣщали. В черном платьѣ со шлейфом, в черном вдовьем чепчикѣ с бѣлыми траурными плерезами, она одним видом вызывала в нас настороженность. В ея величавой походкѣ, круглых движеніях, высокопарных наставительных фразах, мы чувствовали дѣланность, сухость, претензіи. Мы сразу ощетинивались, как ежата. Сестры совсѣм по разному подходили к дѣтям. Княгиня всегда готова была оказать нам довѣріе и этим нас обезоруживала. Уж на что я была непокладистая, но в тѣх рѣдких случаях, когда княгиня вызывала меня в свой кабинет, чтобы хорошенько отчитать, я выходила от нея с искренним желаніем шалить меньше, учиться больше.

Ладыженская подходила к нам, как строгій судья к преступнику. Во мнѣ, да и не только во мнѣ, она вызывала острую потребность что-нибудь выкинуть. Это было не трудно прочесть на моем лицѣ и не удивительно, что она меня очень не долюбливала. Вѣроятно, было за что. Был во мнѣ задор, ребяческая заносчивость, которые могли раздражать. Но большинство учителей, несмотря на это, относились ко мнѣ болѣе, чѣм снисходительно. Исключеніе составляли француженка и священник. Поступая в гимназію, я говорила по-французски, как по-русски, но там многое забыла, а научиться ничему не научилась. М-ль Дюбю была учительницей нерадивой, небрежной. Я училась у нея годами, а грамматики так и не знала. О французской исторіи и литературѣ знала только то, что вычитала из книг, которыя сама находила.

Quoi, le doux nom de fille est un titre, ma
soeur,
Dont vous voulez quitter la charmante
douceur?

Это единственныя строчки из Мольера, которым М-ль Дюбю меня научила, да и тѣ в жизни мнѣ мало пригодились. Зато я хорошо запомнила ея колкости, ея насмѣшки над моими манерами, над моей внѣшностью. Я была в одном из младших классов, когда, послѣ дѣтскаго костюмированнаго была у княгини Оболенской, гдѣ я была в костюмѣ итальянки, М-ль Дюбю нѣсколько уроков подряд издѣвалась над моим неумѣньем танцовать, над моим костюмом. Спрашивала, кто сшил мнѣ такое уродство?

Танцовать я, дѣйствительно, не умѣла, даже готова была это признать, а костюм был прехорошенькій. Он не мог не быть хорош, так как его шила мама. Я была по настоящему оскорблена и француженкѣ нагрубила. Все кончилось появленіемъ траурной Ладыженской, которая окончателно привела меня в бѣшенство. К французским урокам у меня осталось острое отвращеніе. За все это позже я поплатилась. Уже эмигранткой в 1904 г. я изрѣдка писала в парижском еженедѣльникѣ «L'Européen». Милѣйшій его редактор, La Chesnais, мнѣ ласково говорил:

— C'est très interessant, madame. Et vous avez du style. Mais votre orthographe!?!..*).

С законоучителем я тоже была не в ладах. Вѣрнѣе он со мной жил не дружно. По Закону Божьему у меня в дневникѣ неизмѣнно стояло три с минусом, низшій удовлетворительный балл, предназначенный для тупиц. Тупицей я никогда не была. Если бы священник иначе взялся за нас, вѣроятно, я так же хорошо запомнила бы богослуженіе, даже катехизис, как еще до

*) Очень интересно. У вас и стиль есть. Но ваша орфографія?!

школы запоминала короткіе, живописные мамины разсказы из исторіи Ветхаго Завѣта. Но батюшка не вносил ни одной живой ноты в сухіе и бездарные казенные учебники. Ко мнѣ лично он относился с явной, придирчивой недоброжелательностью, которая во мнѣ вызывала отвѣтное отталкиваніе от учителя и его уроков. Я даже главных молитв не выучила и вынесла из школы глупое, упрямое отрицаніе текстов и их толкованій. Дома мы были пріучены относиться к священникам с уваженіемъ. Вряд ли я на уроках могла, что называется дерзить попу, как я дерзила француженкѣ. Мнѣ было непріятно, что именно священник меня распекал перед цѣлым классом. Но в моих отвѣтах и вопросах он слышал отголоски моего ребяческаго скептицизма, безпокойную строптивость отроческой, ищущей мысли. Мнѣ принесло бы большую пользу, если бы батюшка пожелал пристальнѣе вглядѣться в свою ученицу, понять, что и ей не легко дается полоса ранних сомнѣній. Но его раздражало, что какая-то третьеклассница с косичками задает вопросы, которые он считает дерзкими. Он ставил мнѣ плохіе отмѣтки, читал длинныя, язвительныя наставленія о невѣжественной гордынѣ ума и все дальше отгонял меня, школьницу, от православія.

Пишу все это не из злопамятства, а потому что, к несчастію, таких законоучителей было губительное множество. Их офиціальное, холодное, прямолинейное отношеніе к урокам отчуждало от религіи молодежь и без того зараженную безвѣріем XIX вѣка. Русскіе люди, получая хорошее образованіе, оставались совершенно безграмотны во всем, что касалось христіанства и православія, не подозрѣвая его глубины, его красоты. Только при свѣтѣ революціонных молній начали мы вглядываться в нашу родную церковь.

С остальными учителями у меня шло ладно. Нѣкоторые из них мягко, но твердо, умѣли заставить ме-

ня учиться, хотя ученіе давалось мнѣ так легко, что уроков я не готовила. Был у нас очень хорошій учитель словесности, Н. И. Смирнов. Мы подсмѣивались над его семинарскими манерами и сѣверным оканьем, но уроки его очень любили, заражались его увлеченіем старыми памятниками русской словесности, а еще больше писателями XIX вѣка. Слушали его с настоящим вниманіем, сочиненія ему писали болѣе охотно, чѣм другим. Мнѣ он спуску не давал, на устных отвѣтах требовал точности и сразу меня ловил, когда замѣчал, что я размазываю, так как не знаю урока.

— Садитесь, госпожа Тыркова, — говорил он. — Слѣдующій раз отвѣтите мнѣ то же самое, но получше.

То, что он неправильно ставил удареніе на моей фамиліи и то, что на его умном, некрасивом лицѣ была мягкая, но опредѣленно насмѣшливая улыбка, веселило весь класс, но нисколько меня не обижало. Теперь я понимаю, что нас со Смирновым сближала наша общая, страстная любовь к русской поэзіи. Тогда я этого не сознавала, но его уроки проходили свѣтло и легко.

В одном из классов, кажется, в четвертом, между мной и Смирновым разыгралась борьба, длившаяся больше мѣсяца. Виной был аорист. Мы подробно проходили церковно-славянскую грамматику, за что я очень благодарна Смирнову, так как могу читать Евангеліе по-славянски. Но разбираться в грамматических формах я никогда не любила. А тут еще я вбила себѣ в голову, что славянская грамматика никому ненужная чушь. Русская грамматика, отчасти сама собой, отчасти благодаря мамѣ, рано влѣзла в мою строптивую голову, перед славянской я захлопнула дверь. Смирнов меня уговаривал, корил, высмѣивал. Ничего не помогало. Дошли до аориста. Ничего не было головоломнаго в этом любопытном прошлом времени, кторое, может быть, перешло в славянскіе языки из санкритскаго. Но я уперлась.

— Госпожа Тыркова, скажите мнѣ аорист.

Я стою и молчу. Чувствую, что всѣ смотрят на меня и хихикают. Молчу.

— Не знаете? — невозмутимо спрашивает Смирнов.

— Не знаю.

— Садитесь. Слѣдующій раз опять спрошу.

Слѣдующій раз та же исторія, с той только разницей, что движеніе в классѣ растет. Каждый раз как раздается голос Смирнова:

— Госпожа Тыркова, скажите мнѣ аорист... — смѣх все быстрѣе пробѣгает по рядам.

Смѣется и учитель. Улыбаюсь и я. Такія мы с ним установили правила игры — ни он, ни я не должны сердиться. В концѣ концов, Смирнов меня одолѣл. Дружный хохот раздался в классѣ, когда, в отвѣт на — скажите мнѣ аорист, — я неожиданно выпалила:

— Бых, быхове, бых...

Это и для меня было неожиданно. Злосчастный аорист я давно знала, но не хотѣла сдаваться. Смирнов, спасибо ему, меня переупрямил. И еще за другое спасибо. Он был придирчивѣе к моим сочиненіям, чѣм к другим ученицам. Все повторял:

— Пишите лучше. Старайтесь больше. Вы можете лучше писать. Работайте.

И я старалась, хотя полнаго усилія и не давала. Его рѣдкими похвалами я больше гордилась, чѣм позднѣйшими похвалами рецензентов. Правда, тоже рѣдкими.

Думается, что если бы батюшка учил нас Закону Божію с такой же мягкостью, если бы он так же увлекался преподаваніем православія, как увлекался Смирнов русской словесностью, я вышла бы из гимназіи, если не с ясным православным сознаніем, то, во всяком случаѣ, с большим знаніем.

Но центром моего школьнаго ученія была не сло-

весность, а математика и естественныя науки. К математикѣ у меня была и склонность, и способность. На естествознаніе толкала жизнь в деревнѣ. Интерес к природѣ осмыслил и закрѣпил наш директор А. Я. Гердт. Это был замѣчательный учитель.

Когда я думаю о гимназіи, я прежде всего вижу его рыжую, широкую, длинную бороду. Из этой волосатой чащи излучается широкая, ласковая, всѣх нас, школьниц, обволакивающая улыбка. Она пробѣгает по всему волосатому лицу, морщит щеки, пробивается сквозь очки, сіяет в свѣтлых глазах, ползет выше через бѣлый, высокій лоб, забирается в рыжіе густые волосы. В младших классах мы, завидѣв директора в коридорѣ, с визгом неслись через длинную залу к нему навстрѣчу, облѣпляли его, висли на его ногах, крутились и шмыгали вокруг него, точно кролики. Александр Яковлевич останавливался, ловил нас, баловся с нами, потом стряхивал нас и, как-то особенно ступая большими, плоскими ступнями, скрывался в классѣ. Нам было жалко его отпускать. Но одно сознаніе, что над нами, над нашей гимназической жизнью царствует Александр Яковлевич, придавало ей праздничность и увѣренность. Дѣтям она еще нужнѣе, чѣм взрослым.

А. Я. Гердт был англичанин, родившійся и выросшій в Россіи. Он написал нѣсколько отличных учебников по естествознанію. Педагог он был прирожденный. С толпой дѣтей он обращался, как талантливый дирижер с оркестром. Мы были его послушными инструментами, были счастливы, что он извлекает из нас свои мелодіи. До сих пор помнится то радостное, свѣтлое чувство, которое я испытывала, когда Александр Яковлевич входил в класс. И не я одна. Я не помню никого, кто бы его не любил. Худых учениц у него не было.

Во всѣх классах преподавал он нам природовѣдѣніе и дѣлал это так даровито, что знанія точно сами входили в наши мозги. С малышами начинал с минера-

логіи. Казалось бы, чего скучнѣе и суше. Но Гердт был так же преисполнен любви к камешкам, травкам, букашкам, звѣрюшкам, как Смирнов любовью к стихам. К концу года мы не только знали минералогію, но полюбили ее. На слѣдующій год он произвел то же чудо с ботаникой. Я потом все лѣто раскладывала по столам на Вергежѣ большіе листы бумаги, между которыми сушила травы для гербарія. Прислуга ворчала, что барышня во всѣх комнатах сорит. Мама за меня заступалась, меня поощряла. Ей так хотѣлось, чтобы ея Дина стала чѣм-то замѣчательным, может быть, ученой женщиной? Их тогда было еще немного.

Когда Гердт дошел до зоологіи, его уроки стали еще увлекательнѣе. Он разсказывал нам волшебныя сказки из жизни инфузорій, голотурій, ракушек. Он заложил такія прочныя основы, что я и сейчас, читая книги по естественной исторіи, не чувствую себя безграмотной, хотя с тѣх пор наука так далеко ушла и многое построила по новому. Гердт, в гимназіи, учил меня вдумываться, вглядываться в жизнь природы, вчитываться в ея книгу, всегда перед ним широко открытую. Мама, в деревнѣ, передавала свою любовь к красотѣ трав, деревьев, рѣки, облаков. Вмѣстѣ они вложили в меня привычку наслаждаться природой. В самыя темныя полосы моей жизни меня ободряла расцвѣтка вечерняго неба, острый излом гор, книга о чудесах подводнаго царства.

Был у нас также отличный преподаватель географіи, генерал Пуликовскій, автор очень занимательных учебников. Он был поляк и в нем, несмотря на возраст, была польская легкость, щеголеватость. В генеральском мундирѣ, с орденом на шеѣ, он входил в класс, точно в гостиную, насмѣшливо улыбаясь, разговаривал с нами, как с взрослыми барышнями, которых вот, вот пригласит на мазурку. Он ее отлично танцовал на гимназических балах. В классѣ он вызывал только или учениц способных, или хорошеньких. Другими он от-

кровенно не интересовался, спрашивал их только, когда пора было ставить отмѣтки, и поскорѣе сажал их на мѣсто. Пуликовскій был ученый. С нами ему было скучно возиться и он этого не скрывал. Но если его завести, т. е. удачно поставить ему вопрос, он охотно разсказывал, давал яркіе, крѣпко запоминавшіеся очерки стран и народов, так увлекался, что забывал спрашивать уроки.

Обыкновенно мнѣ поручалось его завести. Он ко мнѣ был благосклонен и рѣдко ставил мнѣ меньше пятерки. Я, дѣйствительно, знала географію, особенно Африку. Может быть, потому, что на ея картѣ были тогда бѣлыя пятна с волнующей надписью — неизслѣдованная территорія.

Раз я спросила Пуликовскаго о Китаѣ. Он так мѣтко очертил страну, ея исторію, ея народ, что даже теперь послѣ бурных десятилѣтій, потрясших весь земной шар, включая и Китай, этот часовой урок, вѣрнѣе, лекція, прочитанная русским генералом в серединѣ 80-х годов гимназисткам, помогает мнѣ как-то разбираться в китайской головоломкѣ. Пуликовскій, с Мефистофельской улыбкой на остром лицѣ, говорил, обращаясь ко мнѣ, точно никого, кромѣ нас двоих, не было в классѣ.

— Не воображайте, что этот ваш дурацкій соціализм новинка. Все это тысячу лѣт тому назад в Китаѣ было выдумано, испробовано. И провалилось...

Когда красные огни забѣгали по Европѣ, не раз вспоминала я нашего насмѣшливаго военнаго географа и задавала себѣ вопрос: переварит ли Европа соціализм, как переварил его когда-то Китай, или разсыплется в прах?

В средних классах появился у нас новый учитель исторіи, К. С. Шварцсалон, молодой, прямо из университета. У него были золотые волосы, золотая бородка, большіе синіе глаза и бѣлая, как у ребенка, кожа, по которой легко разливался сплошной розовый румянец.

К великому нашему изумленію и восхищенію, мы увидали, что новый учитель неудержимо перед нами конфузится. Мы были уже не дѣти, а подростки. Наши лица, улыбки, взгляды так его смущали, что, спасаясь от слишком волнующей дѣвичьей стихіи, Шварцсалон, начиная урок, смотрѣл в стѣну, выше наших голов. К счастью для него и для нас, он увлекался тѣм, что разсказывал. Его даровитое изложеніе заставило и нас полюбить древнюю исторію: Ассирію, Вавилон, Египет, не говоря уже о Греціи и Римѣ. Мифологію я выучила еще раньше, до школы, с мамой и, часто бродя по густым дорожкам Вергежскаго сада, по своему перестраивала и переживала сложныя приключенія эллинских богов и богинь. Шварцсалон повел нас дальше на восток, заставил читать книги о чудесах Египта, будил воображеніе, но знаній требовал.

Вокруг златокудраго учителя исторіи сразу засуетились обожательницы. Алекс Черткова высмѣяла их в длинных стихах, из которых три строчки я даже запомнила:

Вы думаете, что это Аполлон?
Разочаруйтесь, то не он,
То наш историк Шварцсалон...

Обожаніе учителей было не в духѣ нашей гимназіи. Мы скорѣе старались щеголять независимостью, правда, не всегда удачно. Я, не без усилія, читала «Исторію Цивилизаціи» Бокля, меня дернуло на урокѣ Шварцсалона примѣнять его теоріи к фараонам. На бѣлом лицѣ учителя заиграли пятна румянца. Синіе глаза смотрѣли на меня насмѣшливо. Я остановилась на полсловѣ. Поняла, что несу вздор. Поняла, что нечего умничать около недочитанной книги, что вообще лучше замолчать. И замолчала.

— Что же вы, госпожа Тыркова? Продолжайте. Этого в урокѣ не было, но это любопытно. Значит, по вашему мнѣнію, фараоны, жрецы, их религія — все было продуктом климата?

Теперь я уже твердо знала, что я идіотка и что наш Аполлон именно это и говорит мнѣ с изысканной эллинской вѣжливостью. Пренепріятное положеніе. Класс в нашем діалогѣ мало что понял. Это меня утѣшило. Я уже была коноводом и мнѣ не хотѣлось ронять мою репутацію. Эта маленькая сцена оставила полезный слѣд. Случалось, что и позже я неосторожно подхватывала чужія мысли, не успѣв их переварить. Но вдруг вспомню синіе, насмѣшливые глаза учителя и остановлюсь. Наш золотоголовый Шварцалон уже давно спит в могилѣ, но я с благодарностью вспоминаю его уроки и этот отдѣльный урок, который он мнѣ дал.

Очень показательно для моего времени, что, несмотря на всю педагогическую мудрость Гердта, созданная им гимназія, не дала нам знанія Россіи. Географію и исторію Россіи нам преподавали так плохо, что у меня не осталось никаких воспоминаній об этих уроках, кромѣ школьнической досады на удѣльных князей за то, что их было так много, что они так скучно дрались, дробились, передвигались. Все богатство, разнообразіе, красота Россійской Имперіи и ея прошлаго шли мимо нашего школьнаго обученія, как и красота православія. Учителя боялись заразить нас патріотизмом и націонализмом, которые считались пережитками старых предразсудков. В тонком слоѣ образованных людей царил либеральный универсализм, расплывчатая, арелигіозная общечеловѣчность.

С молитвы начинался школьный день, но это была настолько формальная подробность, что три послѣдних года школы я, почти каждый день, опаздывала к молитвѣ и это мнѣ сходило с рук. В царскіе дни нас собирали на торжественный молебен, но это только давало повод для шалостей гуртом.

Дома отец пытался установить хоть какую-нибудь связь между ученіем и молитвой, между школой и церковью. Когда осенью мы возвращались из Вергежи и начинались гимназичскія занятія, папа вел меня в Пан-

телеймонское Подворье на Загородном. В небольшой, темной церкви заказывал он молебен, просил Бога благословить дочку на школьны труды. Я ставила свѣчку святителю Пантелеймону и подымалась с колѣн с облегченным, свѣтлым чувством, над которым не задумывалась. Торопилась в гимназію, посмотрѣть, что за лѣто перемѣнилось.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДРУЖБА.

С каждым годом занимала я в гимназіи все болѣе твердое мѣсто. Среди подруг, не среди учителей. Школьныя отношенія и школьная жизнь были для меня источником многих радостей. Я жалѣю молодежь, которая входит в жизнь, не собрав в юности запаса горячих товарищеских чувств. Позже я постепенно растеряла своих гимназических подруг. Но мои с ними общія переживанія, волненія, исканія, мысли, чувства остались во мнѣ, залегли в основныя клѣточки моего Я. Все это так же вплетено в ткань, в состав моей личности, как полдневныя, красно-лиловыя тѣни в нашей липовой аллеѣ, как свѣжій запах Волхова, как очарованіе старых книг, которыми я зачитывалась, сидя в рваном вольтеровском креслѣ, как стихи, которые с дѣтства я впитала в себя.

Мама была недовольна моим выбором двух первых подруг. И была права. Она не могла понять, почему ея замкнутая книжница, Дина, вдруг сошлась с такими блѣдными дѣвочками. Я еще меньше знала, почему.

Моей самой ранней подругой была Женя Танк, невзрачная сирота, которую послѣ смерти ея матери, городской учительницы, взял к себѣ в дом В. А. Манассеин, профессор Военно-Медицинской Академіи и редактор «Врача». Этот выдающійся человѣк воспитал нѣсколько поколѣній русских докторов. Вслѣд за Пи-

роговым, вмѣстѣ с Боткиным и другими даровитыми медиками, Манассеин создавал традицію, закладывал основы врачебной этики, которой Россія по праву могла гордиться. Я тогда ничего этого не знала. Манассеин мнѣ просто очень нравился. Я была довольна, когда по воскресеньям меня отпускали к Женѣ в гости. Мы жили на Лиговкѣ, недалеко от Николаевскаго вокзала. Манассеины на Выборгской сторонѣ, в домѣ Пастухова, недалеко от Медицинской Академіи. Длинный конец, но я мчалась быстро. Мнѣ нравилось, что меня пускают одну через весь город. Я бѣжала через Неву по блестѣвшему на солнцѣ пухлому снѣгу и чувствовала себя почти в деревнѣ.

Манассеины со мной были очень ласковы; особенно он. Невысокій, с длинной, полусѣдой бородой, он был похож на Черномора, только добраго. Он знал, что я увлекаюсь насѣкомыми, коллекціями, вожусь со своим терраріем и акваріем и баловал меня, вел в свой кабинет, показывал в микроскоп диковинный мір невидимых существ. Он объяснял мнѣ их жизнь так серьезно, точно я была не гимназистка, а цѣлый студент медик. Я это очень цѣнила. Мнѣ нравился его кабинет, полки с книгами, легкій запах аптеки и препаратов, а главное, нравился сам Вячеслав Авксентьевич, его широкая улыбка и умные, пристальные глаза. Было жалко уходить из его кабинета. А он говорил:

— Ну, дѣти, вам, навѣрное, уже надоѣло. Вот вам рубль. Бѣгите за добычей.

Женя сразу оживала. Ни микроскоп, ни тѣм болѣе объясненія Манассеина, ее не интересовали. В ней было что-то неладное, какое-то внутреннее нездоровье. Своих воспитателей она не любила. Я допытывалась за что? Она плела чепуху, перебирала всякіе пустяки. Мнѣ это было непріятно. Конечно, она сирота. Ее всякій может обидѣть. Мне ее жалко, очень жалко. Из жалости и близость наша родилась. Но вѣдь Вячеслав

Авксентьевич никогда никого не захочет обидѣть, чего же она на него обижается? В чем дѣло?

— Тебѣ то хорошо, у тебя мама! Ты дома. А они всѣ двери от меня запирают. Он все с женой потихоньку от меня шепчется.

Мое воображеніе, тогда очень живое, подсказывало мнѣ, — а что, если она подкрадывается к их дверям, подслушивает, а они замѣчают? Если это так... Я отгоняла эти мысли Она моя подруга и сирота.

— Пойдем лучше в лавочку. Что купим?

Это был веселый спорт, накупить на рубль как можно больше самых разнообразных сластей: шоколадных лепешечек, осыпанных сахарным бисером, леденцев, мармелада, пастилы, пряников мятних и миндальных, орѣхов, тянушек, соломки, черных рожков. И все на рубль. И всѣ эти копѣечные пакетики лавочник осторожно, терпѣливо взвѣшивал, отсчитывал. Придя домой, мы их высыпали на стол в комнатѣ Жени. Она приносила три тарелки и на каждую клала по лакомой штучкѣ. Третья тарелка это для Сережи, когда он придет.

Зимній день гас быстро. Возвращаться одной в темнотѣ мнѣ не позволяли.

Мама присылала за мной Сережу. Он приносил с собой запах морознаго воздуха и мальчишескую увѣренность, от которой бѣдная Женя совершенно ошалѣвала, как позже в его присутствіи ошалывали многія женщины. Еще по-дѣтски краснощекій и круглолицый, одергивал он свою гимназическую куртку, перехваченную ремнем, шаркал, как полагалось, ногой, здороваясь с Манассеиным и его женой, смущался, но смотрѣл им прямо в глаза, открытыми, сѣрыми, ласковыми глазами. В Жениной комнатѣ его ожидало угощенье и ея влюбленная преданность. То и другое он принимал с насмѣшливой снисходительностью. Обыгрывал ее в карты безпощадно и не без плутовства. Все, что было на

третьей тарелкѣ, уплетал мгновенно. Из вѣжливости спрашивая:

— А вы сами развѣ больше не хотите?

И, не дожидаясь наших отвѣтов, с высокомѣрным равнодушіем пожарнаго, уписывающаго все, что ему приготовила преданная кухарка, отправлял в свою ненасытную гимназическую утробу всѣ наши гостинцы.

Женя открыла довольно длинную процессію женщин, без памяти преданных Сережѣ. Ему было тогда лѣт четырнадцать, ей на год меньше. Я с любопытством наблюдала, как она дурѣет от каждаго его слова. Пробовала ее высмѣять. Не помогло. Я была поражена, возмущена, увидав, что они потихоньку цѣлуются. Ничего не сказала ни ей, ни Сережѣ. Уже тогда находила лишним путаться в чужія любовныя дѣла. Когда она ушла, Сережа вдруг выпалил:

— Жаль, что твоя Женька такая рожа...

Я заглянула в его смѣющіеся глаза и тоже засмѣялась, не удержалась. Все-таки, как честная подруга, сказала:

— Сережка, ты свинья!

Женя не была рожей, но и прелестью женской природа ее не наградила. Тѣм непонятнѣе мнѣ было, что Сережа ее за дверями цѣлует. Дружба наша с ней кое-как плелась, пока она не выкинула уж слишком нелѣпую штуку.

Была весна. Только что выставили рамы. Для нас всегда соблазн. Наконец, окна открыты, ну как не высунуться из окна, не натворить глупостей, за которыя потом попадает. То возьмем спринцовку, которой мама прыскает цвѣты, и, спрятавшись за полуоткрытой рамой, поливаем извозчиков и их сѣдаков. То вырѣжем чортика из бумаги и перекинем его на веревочкѣ через золотой крендель булочной под нами. Сережа, великій искусник на такія штучки, дергает веревочки, и чортик прыгает по головам прохожих. Веселая игра. Кончалась она тѣм, что и прохожіе, и булочники сердились, а

мамѣ приходилось за нас извиняться. Она и выговаривала нам, и смѣялась, но из окон на улицу высовываться рѣшительно запретила. Мы перебирались в комнату старших братьев, которая была тогда пуста. У них было большое окно, выходившее на двор. Рядом была небольшая нянина комната, тоже с окном во двор. Сережа забирался к нянѣ. Мы с Женей в большую комнату и начали втроем болтать свѣсившись из окон.

— Я могу по этой трубѣ до самой крыши влѣзть. А вы, дѣвчонки, что вы можете? — задирал Сережа.

— Что я могу? Я могу из окна выпрыгнуть, — кокетливо заявила Женя.

— Оба вы дураки! Ты на крышу не полѣзешь. Она из окна не прыгнет, — охлаждала я хвастунов.

— Я то ни по чем на крышу влѣзу, а она, конечно, не прыгнет, — пренебрежительно бросил Сережа.

— Не прыгну? Я?!

Я посмотрѣла вниз. Под окном большая куча песку и до нея, не Бог знает, как далеко. Но и не близко. Мы живем в первом этажѣ. Но зачѣм же прыгать? Уж очень это глупо. А гимназист продолжал дразнить свою поклонницу:

— Нѣт! Не прыгнешь! Смѣлости не хватит. Не посмѣешь.

— Я? Не посмѣю!

— Не посмѣешь.

— А ты хочешь, чтобы я прыгнула?

— Мнѣ что ж, пожалуй, прыгай.

Не успѣла я сообразить, что она дѣлает, как Женя вскочила на подоконник, подол ея короткаго платья смазал меня по носу, раздулся колоколом, она полетѣла вниз и прикрыла собой верхушку песочной кучи, как ватныя куклы прикрывают чайник. Сережа с недоумѣнiем взглянул вниз, гдѣ Женя барахталась в пескѣ, потом посмотрѣл на меня и мы оба, самым безжалостным образом, покатились со смѣху. Этот прыжок, этот способ показать свою отвагу и свою любовь

окончательно остудил мою дружбу с Женей. Я перестала бывать у нея и в гимназіи нашла себѣ других подруг.

Все-таки мы напрасно потѣшались над Женей. Она вылетѣла из окна, потому что разрывалась от желанія заставить Сережу почувствовать, до чего она его любит. По другому не умѣла. Но влюбленность ея, искренняя, глубокая, нераздѣленная, продолжалась еще нѣсколько лѣт. Позже она вышла замуж, очень неудачно. Ни мужа ея, ни дѣтей я никогда не видала, но она говорила о мужѣ так же недружелюбно, как раньше о Манассеиных. Не знаю, он ли был в этом виноват, или ея несчастная, неизжитая любовь к гимназисту с красивыми, сѣрыми, насмѣшливыми глазами.

Второй моей подругой была Варя Л., вѣроятно, по закону контраста. Ея бѣлокурая, пригожая головка к книгам была равнодушна. Обстановка в ея семьѣ была совсѣм иная, чѣм у нас. Ея мать была вдова изобрѣтателя, не успѣвшаго превратить идеи в деньги. Их безденежье имѣло другой характер, чѣм наше, помѣщичье безденежье. Это были городскія, удручающія, безпорядочныя нехватки. Не понимаю, как онѣ существовали. Мать Вари днями лежала на диванѣ и читала романы. Длинный, пыльный шлейф несвѣжаго платья свисала на грязный ковер, открывая ноги в стоптанных тяфлях. Придет гость. М-м Л. продолжает лежать на диванѣ и даже ноги не закроет шлейфом. У нас так не бывало, но меня эти невиданные порядки занимали.

Дружба с Варей продолжалась недолго. За нами обѣими уже начинали ухаживать. Около нея вертѣлись офицеры, снимавшіе комнаты у ея матери. Варюша забезпокоилась, что мои темные глаза окажутся приманчивѣе ея голубых. Вдруг отобью? Мнѣ это показалось обидным. Я никогда никого не отбивала. Очень нужно. И так сами придут. Мы стали все рѣже ходить друг к другу. У меня вскорѣ завелись настоящія подруги, набѣло, не начерно. Тѣ двѣ, Женя и Варя, были только

первой пробой. Так вѣдь и в любви бывает. Напрасно придают такое значеніе первому любовному опыту. Чаще всего это только смутное томленіе, исканіе привязанности. Подлинная, глубокая любовь, как и подлинная дружба, далеко не всегда приходит сразу.

Как раз во-время нашла я хороших подруг. Подошла важная, переломная пора юности. Мамино вліяніе ослабѣло. Неладно было у нас дома. Сначала катастрофическій арест Аркадія. Потом маму схватила болѣзнь, длительная, мучительная. Вышло так, что подростком, в мятежные, переходные годы, я была предоставлена самой себѣ. На мое счастье я нашла подруг, с которыми вмѣстѣ переживала всѣ впечатлѣнія, фантазировала, мечтала, вмѣстѣ думала, поскольку мы были способны думать. У меня было три настоящіх подруги — Надя Крупская, Вѣра Черткова, Лида Давыдова. Самой даровитой была Лида. Но у Вѣры было больше воображенія и чутья. Надина сила была в ея сердечности. Кроткая, самоотверженная, великодушная и удивительно добрая, как дошла она до того, чтобы проникнуться злобным ученіем классовой войны, стать вѣрной спутницей и сотрудницей Ленина, создателя Чеки?

Всѣ три мои пріятельницы мнѣ много дали, но и от меня кое-что брали. Трудно теперь, послѣ стольких лѣт наполненных разнообразными чувствами, потрясеніями, радостями, разочарованіями, встрѣчами, потерями, печалями, вспомнить, на чем держалась, как началась моя дружба с этими тремя дѣвочками, не сходными по характеру, по обстановкѣ, в которой онѣ росли. Но у всѣх нас была общая пытливость мысли, общее безпокойство сердца. Мы рано начали волноваться соціальными несправедливостями и противорѣчіями, мечтали бороться с ними. Толчки шли от жизни и от книг.

Как то раз, в мокрый, темный осенній день я воз-

вращалась из гимназіи. Ко мнѣ подошел оборванный подросток.

— Барышня, дай копѣечку. С утра не ѣл...

Я остановилась, точно в первый раз увидала нищаго. Меня поразили его лохматья, его синія от холода руки, темныя пятна грязи на его лицѣ, бѣгающіе, жалкіе, собачьи глаза. Он был мой ровесник, тоже лѣт четырнадцати. Жалость, как звѣрь, когтями ударила меня по-сердцу.

— Слушай, у меня нѣт денег. Пойдем к нам, мама даст. Пойдем скорѣе!

Я почти бѣжала, оглядываясь через плечо, идет ли он? Он не сразу пошел, боялся. Я не останавливаясь, торопила:

— Не бойся. Мы тут живем. Совсѣм близко...

Я не шла, летѣла. Меня тнало мучительное, щемящее чувство виноватости, стыда, любви к этому грязному мальчишкѣ с синими руками. Я почти насильно протащила его мимо удивленнаго швейцара. Влетѣла по лѣстницѣ. Изо всей силы позвонила, не слушая воркотни горничной, возмущенной его грязными сапогами, ввела его в переднюю и громко звала:

— Мама, мама, гдѣ ты? Ты дома? Иди сюда!

Мой голос напугал ее. Она откликнулась из гостиной:

— Да, да... Я здѣсь. Что случилось?

В передней она сразу поняла, что случилось. Я бросила на пол ранец и, не снимая пальто, безсвязно говорила:

— Вот. Я привела... Он с утра не ѣл... Видишь. Как же так? У нас все есть, а он... Ты посмотри, весь трясется... Посмотри, даже пальто нѣт. Голодный. Мама... Да как же? Да вѣдь это же ужасно! Это несправедливо. У нас есть... Почему у нас есть, а у него нѣт?

Это был не вопрос, это был вопль, укор, отчаяніе. Я опустилась тут же на стул, закрыла лицо руками и заплакала неудержимо, горько, как не плакала с ранняго дѣтства. Мое жадное к жизни, еще не знавшее

горя, сердце горѣло нестерпимым состраданіем, ужасом, негодованіем. Мой оборванец охотно улизнул бы, не рад был, что связался с сумасшедшей дѣвченкой, которая ревет, как дура. Но я уже не видѣла его лица. Меня душили, слѣпили непривычныя слезы. Не мудрено, что мама испугалась.

Я смутно слышала, как она ласково сказала что-то мальчишкѣ, как Софья повела его по длинному коридору в кухню. Потом мы с мамой долго сидѣли на ея любимом низеньком синем диванчикѣ. На ея глазах тоже были слезы, но не ея слова, не тихое, печальное выраженіе ея лица, а ея рука, крѣпко обнимавшая мои плечи, говорила мнѣ, что она меня понимает, что ея сердце тоже горит жалостью ко всѣм голодным, обездоленным, несчастным.

В этот день какая-то завѣса разорвалась передо мной. Моя жизнь, жизнь хорошенькой, способной гимназистки, которой все давалось без усилія, которую многіе баловали, а нѣкоторые и любили, шла попрежнему. Но глаза мои начали острѣе всматриваться в то, что дѣлается кругом, я стала иначе вчитываться в книги, находить в них новые вопросы и новые отвѣты. В этом всѣ три мои новыя подруги были для меня отличными попутчицами. Мы постоянно разсуждали о несовершенствах человѣческаго общества. Наши разсужденія шли от жизни, от кипучих запросов великодушной юности. Но и читали мы много, хотя и безпорядочно. Думать не умѣли, но судить брались обо всем и обо всѣх. Во многих русских образованных семьях наиболѣе отзывчивая часть молодежи уже с ранняго возраста заражалась микробом общественнаго безпокойства.

Из моих трех подруг глубже всего проник он в Надю Крупскую. Она раньше всѣх, безповоротнѣе всѣх опредѣлила свои взгляды, намѣтила свой путь. Она была из тѣх, кто навсегда отдается, раз овладѣвшей ими мысли или чувству.

Надя Крупская была высокая, ширококостная, с гладкими, безцвѣтными волосами, которые прядами падали на высокій, свѣтлый лобо. Толстыя губы, бѣлые, но неровные зубы. Маленькіе, глубоко запавшіе, незамѣтные глаза. Лицо некрасивое, но его красила улыбка, застѣнчивая, добрая. Ея мягкія, чуть влажныя руки ласково, осторожно касались моих горячих, смуглых рук. Надя и двигалась, и думала медлительно. Я десять раз промелькну через ея небольшую комнату, десять раз переверну фразу из учебника, или высказанную кѣм-нибудь из нас мысль, пока она сообразит, в чем дѣло. Но когда сообразит, когда придет к опредѣленному пониманію, примет его крѣпко, неизмѣнно, как приняла позже ученіе Карла Маркса и Ульянова-Ленина.

Надя жила с матерью во втором дворѣ многоэтажнаго дома на Знаменской, недалеко от гимназіи. Отец ея, служившій в Царствѣ Польском по судебному вѣдомству, рано умер. Онѣ жили на пенсію. Эта же пенсія потом поддерживала Ленина в ссылкѣ и в эмиграціи, пока его не стала содержать, созданная им С.-Д. партія. Тихая была у Крупских жизнь, тусклая. В тѣсной, из трех комнат, квартиркѣ пахло луком, капустой, пирогами. В кухнѣ стояла кухаркина кровать, покрытая красным кумачевым одѣялом. В тѣ времена даже бѣдная вдова чиновника была на господской линіи и без прислуги не обходилась. Я не знала никого, кто не держал бы хотя бы одной прислуги.

Свою маленькую, скудно обставленную квартирку мать Нади держала в большом порядкѣ, создавала уютное благообразіе, хлопотала тепло и привѣтливо, поила нас чаем с вкусным домашним вареньем, угощала домашними булочками. В темном простом платьѣ, с гладко зачесанными русыми волосами, она была похожа на монашку. Мнѣ нравился ея ласковый, пристальный взгляд, то, как она прислушивалась к нашей болтовнѣ, к нашим переходам от запутанных мыслей о

всеобщем благоденствіи к дѣтскому смѣху, которому она охотно вторила. Нравилось мнѣ, что в каждой комнатѣ горит перед образом лампадка. Комнаты маленькія, а образа большіе, гораздо больше, чѣм у нас. Да у нас и лампадка горит только в кабинетѣ, перед отцовским кіотом.

Крупскія, и мать, и дочь, меня баловали. У Нади была нѣкоторая влюбленность в меня. Неповоротливая и тихая, она была рада, что у нея такая стремительная, бурная подруга. Я рѣдко смущалась. Развязности во мнѣ не было. Этого мама не допустила бы. Но я никого не боялась, очень рѣдко конфузилась, готова была, как щенок, затѣять возню или спор с кѣм угодно. Не мало говорила чепухи, но мнѣніе свое отстаивала искренно, упорно, горячо.

У меня уже шла моя дѣвичья жизнь. За мной ухаживали. Мнѣ писали стихи. Идя со мной по улицѣ, Надя иногда слышала восторженныя замѣчанія незнакомой молодежи. Меня они не удивляли и не обижали. Мое дѣло было пройти мимо с таким независимым, непроницаемым видом, точно я ничего не слышу. Или небрежно бросить:

— Вот дурак!

Надю это забавляло. Она была гораздо выше меня ростом. Наклонив голову немного набок, она сверху поглядывала на меня, и ея толстыя губы вздрагивали от улыбки, точно ей доставило большое удовольствіе, что прохожій юнкер, заглянув в мои глаза, остановился и воскликнул:

— Вот это так глаза... Чернѣе ночи, яснѣе дня...

Такія замѣчанія я не раз слышала. К счастью, я рано развила в себѣ своеобразный имунитет против неумѣренных похвал. Считала, что это всѣм говорят. Тут не обошлось без маминаго вліянія. Она мягко, но упорно отгоняла от своих хорошеньких дочерей соблазны тщеславія и суетности.

У Нади этих соблазнов не было. В ея дѣвичьей

жизни не было любовной игры, не было перекрестных намеков, взглядов, улыбок, а уж тѣм болѣе не было поцѣлуйнаго искушенія. Надя не каталась на коньках, не танцевала, не ѣздила на лодкѣ, разговаривала только с школьными подругами, да с пожилыми знакомыми матери. Я не встрѣчала у Крупских гостей. В их квартирѣ не было ни шума, ни движенія, ни громкаго смѣха, ни пѣнія, не было всего того, чѣм я, в нашей большой семьѣ, была окружена. Я приносила в их отшельническую жизнь отголоски иного быта, и им это нравилось.

От Нади Крупской и ея матери излучалась на меня добрая привѣтливость, теплая тишина. От Лиды Давыдовой безпокойство мысли и рѣдкій для молодой дѣвушки юмор. Вѣра Черткова была бунтарка, страстная, полная неожиданной рѣзкости, всегда готовая укусить и в то же время открывавшая такіе психологическіе закоулки, о которых я раньше и не думала. Наша дружба с ней была похожа на поединок. Я никогда не знала, когда ей вздумается царапнуть меня, когда, с высокомѣрным смиреніем, восхвалять мое мнимое превосходство.

Ея отец, обер-егермейстер, Григорій Александрович Чертков, был богатый, знатный просвѣщенный барин, друг Александра II. С молоду он был либерал, тайком привозил из заграницы Герцена, даже украдкой навѣщал знаменитаго эмигранта. Это было задолго перед тѣм, как я подружилась с его дочерью. Передо мной уже был не читатель оппозиціонной «Полярной Звѣзды», а состарившійся царедворец с костлявым, породистым лицом. Меня смущала его манера пристально меня разглядывать через монокль. Да и многое в их обстановкѣ смущало. У Крупских я попала в среду малоимущей чиновничьей интеллигенціи, из которой Достоевскій любил брать своих героев. Вокруг Лиды Давыдовой шумѣла обезпеченная, привольная жизнь больших артистов. Чертковы это был верх придворной знати.

Чертковым принадлежал цѣлый квартал, от Дворцовой набережной по Мошкову переулку до Милліонной. Двухэтажный особняк, с окнами на Неву, в котором они жили, казался мнѣ небольшим дворцом. Я была не из робких, но их швейцар заставлял меня настораживаться не меньше, чѣм сам хозяин дома. Когда швейцар распахивал передо мной зеркальную дверь, я сразу вспоминала, что на правом сапогѣ у меня большая заплата, а рукав, который я разорвала на каткѣ, няня с трудом заштопала. Но я не сдавалась, задирала голову выше и храбро шла вслѣд за лакеем в чулках и башмаках, наверх, во второй этаж, через большія пріемныя, в комнаты Вѣры и ея старшей сестры, Алекс.

У каждой из них была отдѣльная спальня и своя гостиная, что мнѣ казалось неслыханной роскошью. Отец занимал нижній этаж. Меня в их домѣ все поражало — мебель, картины, ковры, фарфор, количество и размѣры комнат, бѣлыя кашемировыя шали, которыми были убраны обѣ Вѣрины комнаты. Я такой обстановки нигдѣ не видала, пока не попала, много лѣт спустя, в Англію, гдѣ такіе дома не рѣдкость. Тогда я поняла, насколько мы, средніе русскіе дворяне, были проще, неприхотливѣе англійской буржуазіи, не говоря уж об англійской знати.

У Чертковых я бывала очень рѣдко. Вѣра, пока не вышла замуж, совсѣм у меня не бывала. Будь жива ея мать, может быть, она обмѣнялась бы с моей матерью визитами, и дочки могли бы видѣться. Черткова, мать, иногда заѣзжала за дочками в гимназію , стоя в залѣ, раглядывала нас близорукими глазами через лорнет. Мнѣ нравилась, что она иначе одѣта, иначе двигается. иначе говорит и улыбается, чѣм другія женщины. Мнѣ в голову не приходило, что это от того, что она аристократка по рожденію, по воспитанію, по жизни. Кажется, и по духу была аристократкой.

Сестры Чертковы были так же непохожи на остальных гимназисток, как их мать была непохожа на дру-

гих матерей. Онѣ были, как двѣ англійскія скаковыя лошадки, пущенныя в табун степных жеребят. Англійскія няньки, их воспитавшія, окрасили их русскую рѣчь англійскими интонаціями, онѣ не так разжимали губы, не так улыбались, как мы всѣ. А тут еще экипаж с ливрейным лакеем, в котором гувернантка привозила дѣтей. Зато уж и дразнили мы вначалѣ обѣих сестер безпощадно. Онѣ мужественно выдержали наш ураганный огонь, стали отличными товарищами, и, как юнкера заслуживают в бою офицерскіе погоны, заслужили популярность.

Потом вдруг Чертковы исчезли недѣли на двѣ и появились не в форменных коричневых платьях, а в черных, с бѣлыми воротничками. Нам сказали, что их мать умерла. Я еще не видала никого, с кѣм бы случилось такое ужасное несчатье. Как же онѣ теперь без матери? Мнѣ стало за них страшно.

Я искоса смотрѣла на Вѣру. У нея была небольшая, красиво посаженная голова. Золотисто-русые, кудрявившіеся на виках и на затылкѣ, волосы. И глаза золотистые, круговатые, как у ястребенка. Очень нѣжная, прозрачная кожа, сквозь которую синѣли жилки. Узкій рот с вздернутой верхней губой. Была бы хорошенькая, если бы не горбатый, не по ней крупный, точно с другого лица снятый нос. Но в этот день мнѣ было ее так жалко, такія тѣни пробѣгали по ея замкнутому, поблѣднѣвшему лицу, что она показалась мнѣ красивой. Мы, дѣвчонки, были очень разборчивы и требовательны на красоту, тѣм болѣе, что в классѣ были такія красавицы, как смуглая Абаза, как бѣлокурая, голубоглазая, улыбающаяся графинюшка Катя Игнатьева.

Я неувѣренно заговорила с Вѣрой Чертковой. Она отвѣтила. С того дня между нами завязалась дружба на много лѣт, хотя жизнь вела нас совершенно разными путями. Пока мы были гимназистками, это была чисто школьная дружба. Мы видѣлись только в школьном

домѣ, на углу Надеждинской и малой Итальянской, куда сотни двѣ дѣвочек ежедневно сходились, чтобы набираться мудрости, книжной и житейской, привыкать к общенію с себѣ подобными. Из этого просторнаго углового дома вынесла я первые навыки для своей общественной работы, там пробовала свои силы, училась, как обращаться с ближними, как защищаться от них, как находить свою дорогу, как и других по ней вести.

Начальство и в гимназіи, и позже на курсах частенько пробирало меня:

— Почему вы, Тыркова, непремѣнно хотите верховодить? Что за страсть вести за собой.

Я выслушивала эти упреки с веселым равнодушіем, что было с моей стороны весьма невѣжливо. Но почему они вообразили, что я хочу кѣм-то командовать? Я ничего не хочу. Я просто говорю, что думаю, а онѣ соглашаются. Что тут такого?

С Вѣрой это было не так просто. Над ней я уж конечно не командовала. Она далеко не всегда соглашалась со мной. Мы с ней в классѣ сидѣли рядом, на рекреаціях забирались вдвоем в переднюю. Там у нас была любимая скамейка под шубами, гдѣ мы вели безконечные разговоры, нерѣдко переходившіе в яростные споры. О чем? Не берусь вспомнить, а пишу только то, что помню. Думаю, что не было в подлунной предмета, о котором мы не спорили бы. Дѣйствительную жизнь я знала лучше, чѣм Вѣра. Мы были ко многому ближе, чѣм Чертковы с их экипажами и лакеями. Вѣра и Алекс не смѣли однѣ выйти на улицу, в гости ходили только по приглашенію, знались только с дѣтьми своего круга, даже в деревнѣ не выходили из своей замкнутости.

В книгах Вѣра лучше разбиралась, чѣм я. Она тоже много читала, ее заставляли читать серьезныя историческія книги. Мое чтеніе было болѣе безпорядочное. Но около меня пробивались политическія струйки, чувствовались толчки, рождались мысли, которыя я впи-

тывала с жадностью, повторяла с жаром. Это давало мнѣ преимущество. Итогов мы никаких не подводили. Если и была между нами борьба за первенство, то смутная, не ревнивая, для нас самих недоговоренная. Была одна область, гдѣ я чувствовала Вѣрино превосходство. Теперь я назову это областью подсознательнаго. Тогда я никак этого не называла. Позже Вѣра стала очень религіозна, с надрывом, со страхом, с острым ощущеніем злых сил, кишащих вокруг нас. Этот страх, туманный, суевѣрный, для меня непонятный и не заразительный, с юности бродил в ней.

У дочери обер-егермейстера, которой родители с юности старались дать самое лучшее образованіе и воспитаніе, был бѣшеный, необузданный характер. В школѣ он ничѣм не проявлялся, кромѣ наших общих, невинных шалостей. Но она сама мнѣ разсказывала, что дома она иногда впадала в буйство. Даже любовь к матери ее не могла сдержать. Ея мать умерла от родов.

— А я перед этим ее все мучила и мучила, — шептала Вѣра, когда мы сидѣли за шубами, притаившись, чтобы никто не вздумал мѣшать нам разговаривать.

— Что же ты дѣлала? — спрашивала я с замираніем сердца.

Это ужасно, быть виноватой перед матерью, которая умерла, к которой никогда уже не подойдешь, не поцѣлуешь ей руку, не заглянешь ей в глаза. Никогда.

— Безобразничала. Ну, как всегда.

— Да как же ты безобразничаешь?

Я не могла понять. У нас в семьѣ никто не безобразничал. Мы даже не ссорились. Только отец кричал и топал ногами. Неужели Вѣра тоже могла кричать? Она искоса смотрѣла на меня близорукими, косоватыми глазами.

— Ну как, вопила, ревѣла на весь дом. Раз бросила в нее графин. Совсѣм близко от головы пролетѣл. Мог убить.

Странная у нея была усмѣшка. Не добрая. Она еще понизила голос:

— Я знаю, от того она и умерла, что я такая мерзкая. Иногда она ко мнѣ приходит.

— Во снѣ?

— Нѣт. По настоящему.

— Тебѣ страшно?

— Нѣт. Это она приходит, чтобы я не мучилась. Меня жалѣет. Улыбается, как всегда, как раньше.

Эту улыбку ея матери и я помнила. От нея даже на нас вѣяло лаской. Мы иногда нарочно бѣжали мимо высокой, стройной дамы, от которой пахло особенными духами, чтобы налету поймать ея улыбку. Она их щедро раздавала и так смотрѣла на нас сквозь лоркет близарукими глазами, точно ей нравилось наблюдать за нашей отроческой, неуклюжей стремительностью. Что бы она теперь сказала, увидав мою дружбу с Вѣрой?

Сквозь влажный запах шубок на меня повѣяло запахом ея духов. Ея улыбка проплыла в сумеречном воздухѣ. Еще минута и я убѣдила бы себя, что я вижу покойную Вѣрину мать. Но я отогнала от себя соблазн. Никогда, ни в дѣтствѣ, ни в старости не играла я в притворную близость с чудесным. Я только тронула бѣлую, тонкую руку своей подруги. Нѣжность, объятія, полѣлуи были у нас не приняты. Мы их презирали.

— Вѣра, не мучь себя. Если она тебя видит, ей это тяжело.

— Навѣрное. Но ты думаешь мнѣ легко? А все-таки, будь она жива, я...

Она остановилась. Опять недобрая улыбка приподняла концы нѣжных губ, и она, сквозь зубы, точно кому-то на зло, прошептала:

— Я опять могла бы бросить в нее графин...

Холодок, близкій к страху, прошел у меня в груди. С заносчивостью юности я воображала, что так же легко читаю в сердцах своих подруг, как слѣжу за ге-

роями, наскоро проглоченных романов. Но Вѣра Черткова сбивала меня с толку. Может быть, меня потому к ней так тянуло, что она вся состояла из противорѣчій. Нас мама пріучила отвѣчать за свои поступки. Даже когда мы дѣлали глупости, что случалось нерѣдко, мы старались подыскать для них логическое объясненіе. Даже слишком старались. Мнѣ потом пришлось стряхивать с себя резонерство. Зато мы не преувеличивали наших чувств. Нам не могло притти в голову швырять предметы, рвать на клочки кружевной платок, или оборку наряднаго платья. С мамой это было бы невозможно. К истерикѣ в ней не было никакой снисходительности. Когда кто-нибудь распускался, ея доброе лицо каменѣло. При отцѣ это и подавно было невозможно. Перед ним мы старались, как можно, меньше проявляться. Это не всегда было хорошо по отношенію к нему, но для нас это была полезная школа, смолоду научившая нас самообладанію.

Когда Вѣра разсказывала мнѣ, что она выкидывает дома, я с любопытством слушала, как сквозь всю муштровку, вопреки всѣм усиліям матери и англійских гувернанток, вопреки рѣзким окрикам самого обер-егермейстера, который тоже иногда был рѣзок до грубости, в этой дѣвочкѣ с рафинированными, англизированными манерами бродят дикіе, степныя чувства. Она первая заставила меня заглянуть в сердце полное противорѣчій и страстей. Ревнивая, требовательная, нетерпѣливая, тонкая. И умная. Если бы она нашла примѣненіе своим силам и способностям, она нашла бы и равновѣсіе. Но в тѣх придворных верхах, к которым она принадлежала для дѣятельной жизни женской души было мало простора. Вѣра не справилась, не сумѣла найти исход для своей страстной натуры.

Была у меня еще одна подруга из того большого свѣта, к котороmoу принадлежали Чертковы — Катя Игнатьева, дочь генерал-адъютанта, графа Н. П. Игнатьева, который был русским послом в Костантино-

полѣ перед русско-турецкой войной 1877-78 г. Жили Игнатьевы на Мойкѣ, в особнякѣ, как и Чертковы. Также дверь отворял швейцар в красной с золотом длинной ливреѣ, так же наверх, в гостиную графинюшек вел меня лакей, но уже в черном фракѣ, а не в камзолѣ с галунами. На полутемной лѣстницѣ иногда встрѣчались старыя барыни в больших чепцах. Онѣ не ходили, их носили в креслах. Все это были Катины бабушки, прямыя, двоюродныя, может быть, прабабушки, видѣнія из другого міра. Пиковыя дамы. Я их побаивалась. Тут же на ступенькѣ дѣлала необходимый книксен и спѣшила прошмыгнуть дальше. Это не всегда удавалось. Грозныя тѣни были полны любопытства, останавливали меня, спрашивали по-французски иду я к Катѣ, или к Микѣ, ея старшей сестрѣ, разглядывали меня сквозь очки или лорнет.

Графиня мать была со мной ласкова, еще ласковѣе был ея муж, приземистый, плотный генерал со свитскими аксельбантами. Он заходил в комнату дочери, с улыбкой смотрѣл на нас. В его взглядѣ было и одобреніе, и сожалѣніе о чем-то. Я видѣла то же выраженіе на лицѣ А. Г. Рубинштейна, когда он говорил: Si jeunesse savait, si viellesse pouvait.

Катя увѣряла, что papa и maman очень любят, когда я прихожу, и что буфетчику дан приказ приносить нам щедрую порцію вкусных вещей. Из этого дома нельзя было устраивать веселых набѣгов на сосѣднія лавочки, как это дѣлалось у Манассеиных. Дѣвочек Игнатьевых вели по старинѣ, держали под строгим надзором гувернанток, которыя и сами боялись старческой зоркости бабушек. Еле дышат, почти слѣпыя, глухія, а если кокетливая Катя вздумает на лѣстницѣ мимоходом перемолвиться веселым словом с товарищами братьев, Пиковыя Дамы уж тут, как тут, все видят, все слышат и разнос будет не малый.

Дом у Игнатьевых был нарядный, просторный, лакеев много, жизнь по чину, требовательность к мане-

рам, к этикету больная, но к подлинным верхам придворнаго міра они не принадлежали. Во мнѣ рано проснулась наблюдательность, любопытство к тому, до чего по разному люди живут. Я скоро поняла, что в той части петербургскаго общества, к которой принадлежали и Игнатьевы, и Чертковы, идут окружающіе двор концентрическіе круги. Чѣм ближе к солнцу, тѣм тѣснѣе и малолюднѣе круг. Г. А. Чертков был наверху. Он не служил, не был сановником, вряд ли пріумножил, скорѣе порастратил огромное состояніе, доставшееся ему и его женѣ от предков. Он был просвѣщенный, богатый барин, ничего не искавшій ни для себя, ни для дѣтей. Дочери выйдут замуж, сыновья будут офицерами, вѣроятно, кавалергардами. Все придет само собой, все им дано. Как мог он угадать, что старшая дочь, Алекс, красотой которой нельзя было не любоваться, что старшій сын и нѣсколько внуков познают всю горечь эмигрантской жизни, и что одним из виновников их бѣдствій будет также и А. И. Герцен, которым он в молодости зачитывался. Если только можно говорить о виновниках при исторических оползнях.

Игнатьевы были новые, служилые люди, выдвинувшіеся и получившіе титул только в началѣ XIX вѣка. В графѣ Игнатьевѣ не было той барственности, которая мнѣ так нравилась в Чертковѣ. Дѣвочки, и особенности Катя, это понимали. Мнѣ было забавно слушать ея разговоры с Вѣрой. Катя, не скрывая досады, говорила:

— Вы гораздо важнѣе нас. Вы бываете запросто в таких домах, куда нас не зовут. И по-англійски вы говорите, как англичанки. Счастливыя!

Вѣра смѣялась. Красивой она не была, но в ея лицѣ, осанкѣ, движеніях было несравненно болѣе породы, чѣм у Кати. И одѣвались сестры Чертковы лучше. На них первых я поняла, что значит простое платье от первоклассной портнихи.

Но для меня обѣ семьи были из далекаго, чуждаго

мнѣ міра. Их дома, прислуга, количество и качество их вещей, экипажи, все окружавшее их богатство, были так не похож на нашу обстановку с просиженными диванами, с заплатанными сапогами, с недорогими, дома сшитыми платьями, с повседневными разговорами о денежных нехватках. Но ни богатство, ни свѣтское положеніе их родных меня нисколько не смущали. Зависти я не знала. У юности есть какое-то физическое ощущеніе равенства. У одних так, у нас иначе. Не все ли равно. Вот кончится школа, — нам казалось, что она нам очень надоѣла, — и всѣх нас ждет что-то замѣчательное. Что? Над этим я не задумывалась.

Нас с Катей Игнатьевой очень тянуло друг к другу. Мы с ней обѣ шли по математикѣ впереди всѣх, на этих уроках сидѣли рядом. Учителя выдѣляли нас, занимались с нами отдѣльно. И на каткѣ, на Фонтанкѣ, весело было встрѣчаться с Катей, смотрѣть, как рѣшительно командует она цѣлой ротой пажей. Катя была красавица. Свѣтло-русые волосы волной облегали невысокій, выпуклый лоб. Ясные, синіе-пресиніе глаза смотрѣли прямо, бросали жизни веселый вызов. Я особенно любовалась линіей ея носа, нѣжным, продолговатым овалом лица, ея жемчужными зубами, ея переливчатым смѣхом. Она вся горѣла жизнью, ждала от нея все новых и новых удач и радостей. Это тоже меня привлекало. Но полной близости у меня с Катей не вышло. Мѣсто уже было занято Вѣрой. И жизнь нас рано развела. Катя с головой ушла в пышное веселье придворной жизни Александра III. Тогда при дворѣ, согласно старым традиціям, бывали торжественные пріемы, балы, спектакли, веселые блины в Царскосельском дворцѣ, катанья с гор. Императрица Марія Федоровна все это любила. Ея невѣстка, Александра Федоровна загасила веселіе предыдущаго царствованія. Но на Катину долю еще выпало быть фрейлиной гостепріимнаго двора Александра III. Она упивалась пьяным вином успѣха, была окружена поклонниками, совсѣм как опи-

сывают жизнь красавицы-дѣвушки в старых романах. Даже наслѣдник престола, будущій царь Николай II, ухаживал за ней.

И вдруг все сразу оборвалось.

Один из молодых великих князей, Михаил Михайлович, двоюродный брат Александра III, влюбился в Катю и пріѣхал к ея родителям свататься. Само собой разумѣется, что первым вопросом графини Игнатьевой было:

— Государь дал свое согласіе? А ваши родители?

Влюбленный молодой человѣк был так увѣрен, что всѣ должны обрадоваться его чудному выбору, что заявил, что всѣ согласны. Влюблен он был не шутя, да и Катя тоже очень увлекалась высоким красавцем из дома Романовых. У нея от такого счастья закружилась голова. А счастье не удалось.

Мать в. к. Михаила Михаиловича вскипѣла. Великая княгиня была не из покладистых. По всѣм петербургским гостиным повторяли ея рѣшительное заявленіе:

— Je ne permetrais pas à mon dourak d'épouser Katia Ignatieff.

Нѣмецкая прицесса за долгіе годы жизни в Россіи научилась только одному русскому слову — дурак. Она попросила царя не давать на эту свадьбу разрѣшенія. Жениха выслали заграницу, гдѣ он довольно скоро утѣшился и женился на графинѣ Мейерберг. Она тоже была простая смертная, при этом внучка Пушкина, не говорившая по-русски.

Бѣдную Катю отправили в деревню, в их глухое кіевское имѣніе, Круподерицы. Кончилась ея свѣтская карьера. Женихи еще мелькали, но замуж она не вышла. Во время войны 1914 года она умерла от тифа. А как мы, гимназистки, были увѣрены, что судьба осыпет ее своими дарами.

Тихая дочь бѣдной вдовы чиновницы, Надя Крупская, балованная и взбалмошная свѣтская барышня, Вѣ-

ра Черткова, воспитанная в верхах артистическаго міра Лида Давыдова, всѣ мы волновались вѣчными вопросами справедливости.

Лида была, как и я, книжницей. Она очень много читала, очень своеобразно переваривала прочитанное. Мы с ней обѣ жили на Николаевской, мы в 35 номерѣ, Давыдовы ближе к Невскому, на углу Кузнечнаго переулка, гдѣ они занимали в большом домѣ весь бель-этаж. Из гимназіи мы часто возвращались вмѣстѣ. О чем только не толковали мы за эти 20 минут. Не было проблемы на небѣ и землѣ, которй не коснулись бы быстрые дѣвичьи языки. Лида была отличная собесѣдница, веселая, понятливая, сыпавшая мѣткими словечками. Мы с ней налету перехватывали друг у друга мысли и начинали их трепать с проворством котят, играющих с куклой. Потом бывало трудно возстановить, кто эту куклу выдумал?

Как-то в ясный солнечный февральскій день разговорились мы о непонятности животнаго міра и сюда же приплели религію. Кто-то, может быть, Лида, может быть, и я, заявил:

— Все дѣлают геніи. Потом им тысячи лѣт подражают. Ну, а как же муравьи? Чтобы устроить муравейник, тоже когда-то был нужен геніальный муравей. Может быть, у них даже был свой, муравьиный, Христос?

Это так нам понравилось, что мы остановились, переглянулись и от избытка интеллектуальнаго подъема покатились со смѣха. Я помню даже, около котораго дома на Надеждинской это случилось. Помню зеленую кадку, поставленную под водосточную трубу, длинныя, скользкія ледяныя сосульки, которыя Лида во время разговора сосредоточенно отламывала и со всего размаха бросала на мостовую, дѣловито наблюдая, как онѣ разбиваются на мелкіе, блестящіе осколки.

Прохожіе с усмѣшкой оглядывались на нас. Наш смѣх их заражал. Их забавляло, что великовозрастныя

гимназистки возятся с сосульками, как уличные ребятишки. Лида не обращала на них вниманія. Ея выдающійся вперед рот с крупными губами раздвигался в неудержимую улыбку при мысли о муравьином Христѣ. Она очень хорошо смѣялась. Неправильное, некрасивое лицо с грубым, мясистым носом и глубоко посаженными, маленькими глазками хорошѣло от смѣха.

Я в гимназіи знала трех дѣвочек, которыя позже вышли замуж за трех зачинателей и руководителей русскаго марксизма. Дочь нашего директора, Нина Герд, стала женой Петра Бернгардовича Струве, извѣстнаго экономиста и политика, Лида Давыдова вышла замуж за Михаила Ивановича Туган-Барановскаго, ученаго изслѣдователя и проповѣдника теоріи Карла Маркса, а Надя Крупская за Ульянова-Ленина. Всѣ три женской привлекательностью не отличались, но это не помѣшало им быть очень счастливыми женами. А, может быть, именно потому и были онѣ счастливы, что на их женском пути не было соблазнов, не было мѣста для прихотей и фантазіи.

Из них троих женственность сильнѣе всего бродила в Лидѣ Давыдовой. Она была в дѣвичествѣ очень влюбчива, секрета из этого не дѣлала, сама высмѣивала свои пылкія страсти. Одно время была по уши влюблена в принца Георгія Мекленбург-Стрелицкаго, внука знаменитой княгини Елены Павловны, принимавшей живое участіе в реформах 60-х годов. Он часто бывал у Давыдовых, если не ошыбаюсь, брал у ея отца уроки віолончели. Лида была очень близорука. Когда мы возвращались из гимназіи, я издали замѣчала стоявшія около их подъѣзд сани с толстым кучером в четырехугольной бархатной шапкѣ с кокардой, как полагалось кучерам царской фамиліи.

— Лида, он у вас!

Она останавливалась. Горячій румянец заливав ея веснущатое лицо, она всплескивала маленькими, бѣ-

ленькими ручками и, взвизгивая от радости, торопила меня:

— Скорѣе, скорѣе. Мнѣ еще надо переодѣться... А вдруг уѣдет!

Мы бѣгом мчались к ея подъѣзду. Она исчезала, не прощаясь. Гдѣ уж тут! Я доходила до дому одна и недоумѣвала. Чего она так? Как можно влюбиться в человѣка, который не обращает на тебя никакого вниманія? Да ни за что! Под мой вызывающій взгляд случайно попал проходящій мимо студент. Он только что собирался сказать мнѣ одну из тѣх банальных фраз, которыя я не раз слышала на улицѣ, но мои воинственные глаза его испугали. Он снял фуражку, поклонился и пошел дальше. А мнѣ стало весело.

Странно, что Лида вышла такая некрасивая. Ея мать была очень красивая, манящая женщина. И. А. Гончаров не иначе величал ее в письмах, как — сладостная Александра Аркадьевна. В ея темных глазах, в ея улыбкѣ была ласка, насмѣшливая, но полная обѣщаній. Она была москвичка, дочь довольно извѣстнаго актера. Ея манера разговаривать с мужчинами, смотрѣть на них, называть их по фамиліи, а не по имени и отчеству, были тогда для меня новинкой. Мнѣ Александра Аркадьевна очень нравилась, но я совсѣм не была увѣрена, что надо быть такой, как она.

Ея муж, Карл Юрьевич Давыдов, первоклассный віолончелист, был директором Консерваторіи. Мнѣ он казался стариком, но сам он себя старым не чувствовал. Женщины находили его красивым. Позже я услыхала разсказы про его любовныя исторіи. Их было не мало. Иногда его большіе, темные глаза смотрѣли на меня с тяжелой пристальностью. Мнѣ это было непріятно.

Совсѣм другой взляд был у его большого друга, Антона Рубинштейна. Раз вечером, когда мы с Лидой вышли из ея комнаты в столовую пить чай, я увидала широкоплечаго, костляваго, высокаго человѣка, с боль-

шим львиным лицом, обрамленным гривой сѣдых волос. У Антона Григорьевича была болѣзнь вѣк. Чтобы посмотрѣть на кого-нибудь, ему надо было закинуть голову назад. Это придавало ему гордый вид. Когда мы с Лидой влетѣли в столовую, внося с собой острый озон юности, Рубинштейн откинулся на спинку стула и из под опущенных вѣк разглядывал нас. На бритом лицѣ играла задумчивая улыбка, точно мы вызывали перед ним тѣни прошлаго.

— Si jeunesse savait, si viellesse pouvait... — неизмѣнно говорил с комическим вздохом артист, избалованный восторгами всей Европы и успѣхами у женщин всѣх націй.

Он опускал тяжелыя вѣки и принимался пить чай со своими любимыми печеньями, которыя для него припасала внимательная хозяйка. В домѣ Давыдовых Рубинштейн был близким,э своим человѣком, всегда желанным, балованным гостем. Иногда он разглядывал меня пристально, одобрительно. Меня его взгляд не задѣвал, это даже было скорѣе пріятно. Но разговаривать с ним я не рѣшалась. Может быть, потому, что совершенно лишена слуха, и музыка была для меня непонятна, недостижима. Зато Лида болтала со свойственной ей независимостью и забавностью. Иногда ея щутки заставляли стараго льва хохотать. Тогда я ей почти завидовала.

У Давыдовых я впервые увидала знаменитых русских и европейских артистов, которых знал весь міръ, Там же на одном из больших пріемов, когда их длинная гостиная наполнилась важными чиновниками, пѣвцами, красивыми, нарядными женщинами, увидала я небольшого, тихонькаго старичка с бѣлыми бакенбардами. Он разговаривал с Александрой Аркадьевной. Она подозвала меня и, крѣпко держа за руку, чтобы я не убѣжала, сказала:

— Иван Андреевич, вот это Дина Тыркова, одна

из многих, многих ваших поклонниц. «Обрыв» она, навѣрное, раз пять прочла. Правда, Дина?

Я пробормотала, что-то безпомощно, но сердце обрадовалось. Автор «Обрыва», тот, кто выдумал бабушку и Вѣру, на которую, когда я в первый раз прочла роман, мнѣ так хотѣлось походить. Теперь мнѣ уже пятнадцать лѣт. Я ни на кого не хочу походить, я сама по себѣ.

Устраивали Давыдовы большіе пріемы и в помѣщеніи Консерваторіи. На один из них они меня повезли с собой. Никогда еще не бывала я среди такого количества гостей. Было страшно весело пробираться через их толпу, тѣм болѣе, что от меня не отходил влюбленный в меня гимназист, Ваня Болотов. За нѣсколько дней перед тѣм он нас с Лидой распотѣшил, поднес мнѣ стихи Пушкина, которые хотѣл выдать за свои:

Я вас люблю, любовь еще, быть может,
В душѣ моей угасла не совсѣм...

Ну уж и высмѣяли мы с Лидой злосчастнаго поэта. Он добродушно признался, что надѣялся, что я стихов этих не знаю. Эта исторія не поколебала его преданности мнѣ. В консерваторіи он неотступно при мнѣ состоял. Преданная тѣнь, да еще такая круглолицая, веселая, всегда придает увѣренности.

Послѣ полуночи большинство гостей разъѣхалось. Остались друзья и завсегдатаи. Среди них был и длинноногій, высокій офицер, принц Георгій Мекленбург-Стрелицкій. Он усадил кого-то из знаменитых піанистов, кажется, Дальберга, за рояль, а сам встал посреди большой, опустѣвшей залы. Піанист заиграл разухабистую польку. К моему изумленію, принц, стоя один среди просторной, опустѣвшей залы, стал выкидывать акробатическіе прыжки, точно хотѣл длинными ногами подцѣпить люстру. Он разстегнул мундир, засунул в проймы жилета большіе пальцы и, перебирая остальны-

ми пальцами, как паук лапами, дергал плечами, выпячивая живот, плясал то на одной, то на другой ногѣ.

Александра Аркадьевна весело хохотала и шумно плескала красивыми ручками. И гости смѣялись, аплодировали, подгоняли, подбодряли плясуна. А он все выше и выше закидывал ноги, все быстрѣе перебирал пальцами, странно извиваясь длинновязым тѣлом.

— Это канкан, — шепнула мнѣ Лида.

Она веселилась, радовалась, как и ея мать, как всѣ кругом. А мнѣ стало нестерпимо скучно, захотѣлось сейчас, сію минуту уйти. Но меня должны были отвезти Давыдовы. Надо было их ждать.

Я слыхала, что канкан это что-то страшно неприличное, но мнѣ не было стыдно. Если в этой великокняжеской пляскѣ и было что-нибудь непристойное, то этого я не поняла. Но меня оскорбило, что всѣ эти люди, главное, Лида и ея мать, могут радоваться такому безобразному танцу, таким некрасивым, вульгарным движеніям. Лида, она в него влюблена. Ей все в нем нравится. Это еще понятно. Но Александра Аркадьевна, неужели она не видит, до чего это некрасиво? Она так легко, как равная, общается с художниками, писателями, музыкантами. Неужели, чтобы их привлекать, надо хвалить все, даже такую противную пляску.

Во мнѣ кипѣла, бунтовала юная нетерпимость. С той ночи в Консерваторіи я начала смотрѣть на Александру Аркадьевну болѣе пристально, болѣе критически. В улыбках, которыя она раздавала гостям, я увидала обдуманную грацію, в ея замѣчаніях желаніе не только привлечь, но и польстить. Она любила гостей с именами. Молодость ея уже была позади, чтобы привлекать людей, надо было стараться. Нельзя было просто, мимолетно, но крѣпко зацѣплять их взглядом, улыбкой, как опытный рыбак зацѣпляет рыбу крючком.

По молодости лѣт я слишком сурово осуждала ея старанія, видѣла в ея голосѣ и манерах дѣланность, даже, когда это было только правильное желаніе быть

пріятной. У нея был круг друзей, с которыми она была мила от чистаго сердца. Позже она и меня в него включила.

Как ласково, как нѣжно обращалась она с больным Всеволодом Гаршиным. Его разсказы, в особенности «Три дня» и «Красный цвѣток», волновали меня до слез. И встрѣча с ним взволновала. Это было за тѣм же чайным столом у Давыдовых.

У Гаршина было очень красивое, блѣдное лицо, обрамленное небольшой темной бородой. Готовый набросок для образа Спасителя. Большіе, темные, глубоко посаженные, страдальческіе глаза взглянули на меня так пристально, с такой печальной добротой, точно просили меня, дѣвочку-подростка, пожалѣть его, пожалѣть весь мір. И сам он жалѣл меня за что-то. В отвѣт на этот взгляд мое сердце рванулось к нему. Я знала, что он был болен, что только недавно вышел из больницы для душевно-больных. Я видѣла, что он не похож на других, на здоровых. Мнѣ было безконечно его жалко. Я готова была бы все для него сдѣлать. Но я не сумѣла даже сказать ему, что много раз перечитала два маленьких томика его разсказов, что мы, гимназистки, часто о нем говорим. Надо было ему сказать, что жалость, состраданіе, печаль, страх за судьбу человѣческую. которыми насыщено все что он написал, заразительным огнем обжигает нас, поддерживает в нас романтическое стремленіе к подвигу во имя вѣчно ускользающей мечты о соціальной правдѣ. Но я ничего сказать ему не сумѣла и даже теперь, болѣе полувѣка спустя, досадую за это на себя.

В другой раз, в той же столовой, я своим поведеніем привела Александру Аркадьевну в полное негодованіе. Мы с Лидой пришли к вечернему чаю. За столом сидѣл маленькій, чистенькій студентик с бородкой. Я не знала кто он, но что-то в его глухом голосѣ, в том, как он разговаривал, нагромождая высокопарныя слова, показалось мнѣ смѣшным. Мы, Тырковы, были безпомощны перед припадками смѣха, который иногда

одолѣвал нас в самые неподходящіе моменты. Нам за него тѣм болѣе попадало, что смѣх у нас был заразительный.

Александра Аркадьевна сразу подмѣтила в моих глазах бѣсенят смѣха. Попробовала образумить меня взглядом — ради Бога, сиди смирно. Студент ей что-то разсказывал тягучим, глухим голосом. Она его участливо спрашивала, над чѣм он сейчас работает? Хвалила его стихи. Я видѣла, что она его обласкивает, с ним возится.

Отпили чай. Нам с Лидой надо было итти учиться, но вдруг он гробовым, зловѣщим голосом, уставя на нас неподвижные, невидящіе глаза, стал декламировать стихи. В первый раз увидала я такое умышленно окаменѣлое лицо, услыхала такую дѣланную декламацію. Это было слишком неожиданно. Под немигающим взглядом маленькаго студента, мое лицо дрожало от подавленнаго смѣха. Александра Аркадьевна сердито смотрѣла на меня, дѣлала мнѣ знаки. Но по мѣрѣ того, как гробовой голос отчеканивал тяжелыя строчки, волна смѣха все подымалась, заливала меня, мои руки, плечи, лицо, мозги. На Лиду я не смотрѣла, но чувствовала, что мой припадок перекидываеться и на нее. Она очень боялась матери, но справиться с собой не могла. Только могла вмѣстѣ со мной трястись от загнаннаго внутрь смѣха.

Не знаю, что думал студент. Позже, встрѣчая Мережковскаго, уже заслужившаго всемірную писательскую славу, я иногда думала:

«А не извиниться ли мнѣ перед ним?»

Зачѣм? Он не только забыл, он мог не замѣтить нас, двух глупеньких гимназисток, неспособных оцѣнить стихи. Александра Аркадьевна пришла потом в комнату Лиды и явственно сказала нам, что мы дуры, перед которыми не стоит метать поэтическій бисер. Мы ей не повѣрили.

Мы считали себя умными, судили и спорили обо

всем на свѣтѣ, брались за всѣ проклятые вопросы, читали книги о чем угодно. К Лидѣ ходили профессора, обучали ее философіи, политической экономіи, всяким мудростям. Ея некрасивая голова, покрытая жидкими, плоскими волосами неопредѣленнаго цвѣта, кипѣла мыслями, интеллектуальным любопытством ко всему на свѣтѣ. Был в ней рѣдкій для женщины юмор. Особенно хорошо умѣла она смѣяться над собой.

— Ну посмотри на меня. Пойми, что мнѣ надо быть умной, иначе с такой образиной никто разговаривать не станет. Ну, а ты и без ума могла бы обойтись.

Она тащила меня к зеркалу. Я сердилась, вырывала руку, бранилась. Но гдѣ-то в серединѣ пріятно щекотало, что она считает меня красивой. Другіе это говорят зря, а Лида знает, что говорит. Она и шутила над своей наружностью, и огорчалась. Особенно в період острой, безнадежной влюбленности в поэта Надсона, который в ея мечтах занял мѣсто принца Георгія. Надсона я никогда не видала, но стихов его много знала наизусть и с жадностью слушала разсказы Лиды и ея матери о том, как онѣ проводили с ним лѣто в Швейцаріи.

— Конечно, я не могла ему понравиться, — печально говорила Лида, и вдруг насмѣшливыя тѣни скрашивали ея лицо, — вот, если бы Бог дал мнѣ другой нос, или твои глаза...

Но ни широкій нос, ни маленькіе глаза, не помѣшали ей, когда пришел ея час, выйти замуж за Туган-Барановскаго по страстной, взаимной любви и испытать десять лѣт такого полнаго, женскаго счастья, которое не всегда выпадает на долю даже очень красивых женщин.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

КРАМОЛЬНИЦА.

Политика властно отражается на жизни каждаго человѣка, от царя до послѣдняго нищаго, только огромное большинство людей этого не знает. Они остаются пассивными, пока не разразится катастрофа. В нашей семьѣ оппозиціонное электричество начало копиться, когда я еще была ребенком. Потом раздался удар грома, силу котораго я не была в состояніи осмыслить разумом, но чувством переживала очень остро.

Впервые я увидала живую революціонерку, когда еще была маленькой гимназисткой. У меня была кузина, Софи Лешерн фон Герцфельдт, дочь папиной сестры, тети Натальи Алексѣевны, в домѣ которой моя мать познакомилась с папой. Софи была мамина однолѣтка, и в юности онѣ были дружны. То, что Софи ушла из материнскаго дома в революціонное подполье, не нарушило этой дружбы. Но видались онѣ рѣдко. Мама цѣликом отдалась семьѣ, дѣтям. Софи порвала со своей чопорной средой, жила по чужому паспорту, пряталась, конспирировала, ходила в народ, пропагандировала недоумѣвающим мужикам соціализм. Потом попалась. Была арестована и нѣсколько лѣт просидѣла в Петропавловской крѣпости. Свиданія почти не разрѣшались, но мама ее нѣсколько раз навѣстила. Тетя Наталья Алексѣевна была так потрясена и возмущена поведеніем дочери, что от нея отстранилась. Она жила

уже не около нас, на Волховѣ, а в Боровицком уѣздѣ на Мстѣ, гдѣ послѣ смерти мужа купила небольшое имѣньице. Я не раз слышала, как мама с грустным участіем говорила со своими сестрами о Софи. Разговоры эти велись в пол-голоса, таинственно. Мое дѣтское воображеніе не могла не волноваться.

Раз я вошла в гостиную и увидала, что на диванѣ, рядом с мамой, сидит немолодая, невзрачная, сутуловатая дама. Мама подозвала меня взглядом.

— Софи, это моя Дина... Я тебѣ о ней говорила...

Гостя привѣтливо улыбнулась, но не поцѣловала меня, а подала мнѣ руку, как взрослой.

— Вот она какая, твоя Дина...

Я сразу догадалась кто это. С волненьем, но и с удивленьем разсматривала я кузину. У меня уже было свое представленіе о революціонерках, свои к ним эстетическія, романтическія требованія. Онѣ рѣшительныя, смѣлыя, красивыя, главное красивыя, как княгиня Марія Волконская, вызывавшая во мнѣ влюбленное восхищенье. А эта маленькая, небрежно одѣтая, некрасивая женщина, стриженая, с выдающимися калмыцкими скулами, напоминала мнѣ нашу с ней общую тетку, Соню Путятину, папину сестру. И манера говорить бормочущей скороговоркой, не кончая фраз, у них сходная. Но вѣдь над испуганной привѣтливостью тети Сони Путятиной всѣ подсмѣиваются. Как же может Софи Лешерн, которая дѣлала что-то необычайное, о чем кругом меня даже шопотом не договаривают, как может она напоминать забитую тетю Соню с ея страхом перед всѣми, включая мужа, уже много лѣт лежавшаго в могилѣ.?

Я стояла около мамы, ждала, что Софи взглядом, словом, ну чѣм-нибудь покажет мнѣ, что она не такая, как всѣ. Так и не дождалась. Эта встрѣча оставила царапину. В дѣтскую душу закрались тѣни, сомнѣніе не продуманное, не облеченное в слово, но подстерегающее.

Раз я вспомнила эту встрѣчу, мнѣ хочется указать на одну неточность, которую нѣкоторые историки русской революціи любят повторять. На мою кузину часто указывали, как на одну из аристократок, принимавших участіе в революціонном движеніи. Не знаю, кто были остальныя аристократки, и судить о них не берусь. Но к моей кузинѣ названіе аристократки не подходило. Несмотря на двойную, звонкую фамилію, Лешерн фон Герцфельдт совсѣм не принадлежали к аристократіи. Это были скромные балтійскіе дворяне средней руки. Ея отец так же, как мой дѣдушка Гайли, был офицером в военных поселеніях. Не могу взять в толк, почему историки, сочувствующіе революціи, одной из задач которой было уничтоженіе сословных перегородок, так упорно цѣплялись за мнимую родовитость нѣкоторых революціонерок?

Софи Лешерн прошла мимо меня, как тѣнь на экранѣ. Я ее больше не видала. Ей было предписано безвыѣздно жить в Боровицком имѣньи, у матери. Но вокруг меня пробѣгали крамольные токи. Я все впитывала, складывала в свои внутреннія кладовыя. Одним из самых первых возбудителей бунтарских эмоцій в моей дѣтской душѣ был Юлій Михайлович Антоновскій, товарищ моего старшаго брата по училищу Правовѣдѣнія. Из этой привилегированной школы, куда воспитанников принимали по классовым признакам из дворянско-чиновничьей среды, Антоновскій вышел яростным отрицателем и дѣятельным колебателем историческаго государственнаго строя. Училище свое он терпѣть не мог и говорил о нем со злым сарказмом, как обо всем, что было связано с властью, с установленным порядком, с традиціей. Человѣк он был острословный, в политикѣ, экономикѣ, философіи начитанный. Музыку, искусство, красоту презирал, считал барскими забавами. Религія для него была вредным предразсудком, отравлявшим сознаніе масс. Он перевел второстепеннаго нѣмецкаго философа, Дюринга, и охотно пов-

торял его слова, что благодаря христіанству истина 1500 лѣт пролежала под камнем. Литературу Антоновскій признавал только реалистическую и тенденціозную. Он раздѣлял мнѣніе критика Писарева, что хорошая пара сапог выше Шекспира. Со мной Антоновскій разговаривал, как с взрослой и над моей ранней преданностью Пушкину посмѣивался.

— Ну, что он там рукой разсѣянной бряцал... Все это салонныя штучки. Вот послушайте, что я вам прочту.

Он доставал из кармана тоненькую розовую книжку, подпольный сборник революціонных стихов, и начинал читать:

Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату...

Пушкина я ему в обиду не давала, но и революціонные стихи, порочившіе подвиги русской арміи на Балканах, привлекали мое дѣтское воображеніе. Мы сидѣли в комнатѣ старших братьев. Обычно слушателями были я и Маруся. Она забиралась с нотами на темно-зеленый диван, большой, глубокій, окруженный высокой спинкой. Я в другой угол того же дивана. Юлій Михайлович сидѣл около нас за круглым столом. Не слишком яркій свѣт керосиновой низкой лампы, — об электричествѣ еще и помину не было, — усиливал рѣзкость его кривой усмѣшки. Она принимала особенно язвительный оттѣнок, когда он читал про царей. О них он всегда говорил с брезгливым пренебреженьем. Антоновскій был влюблен в Марусю, и патетическое чтеніе революціонных стихов оказалось вѣрным средством привлечь ея дѣвичье вниманіе. Тѣм болѣе, что в это время другое событіе увеличило в нашей семьѣ романтическое отношеніе к революціи.

Мой брат, Аркадій, двадцатилѣтній студент юрист, оказался замѣшан в страшном террористическом преступленіи. Его арест, тюрьма, куда изрѣдка и нас, дѣ-

тей, водили на свиданья с ним, страх за его жизнь, наконец, его ссылка в Сибирь, все это совершенно перевернуло нашу семейную жизнь. А в наших дѣтских душах провело глубокія борозды.

С отправкой Аркадія в Сибирь мамино хожденіе по тюрьмам не кончилось. В Дом Предварительнаго Заключенія попал другой член нашей семьи, правда будущій — Ю. М. Антоновскій. Маруся не устояла перед его настойчивой влюбленностью и стала его невѣстой.

Она никогда его не любила, но Адино дѣло, тайныя встрѣчи с его уцѣлѣвшими товарищами по революціи, посѣщенье тюрьмы, — все это растревожило дѣвичье воображеніе. По существу Маруся была не сложная, не особенно книжная, очень красивая барышня, плакала, если шляпа была ей не к лицу, танцы и каток любила до упоенья, была избалована и в семьѣ, и своими многочисленными поклонниками. Если бы она выбрала из их толпы славнаго, добраго, виднаго офицера и вышла за него замуж по любви, ея женская жизнь покатилась бы счастливо. У нея было очень доброе сердце, отзывчивое на чужія страданья. Она поддалась миражу революціонной романтики, повѣрила, что это путь ко всеобщему счастью, приняла Антоновскаго за героя, согласилась стать его женой, и совершенно изуродивала свою, а отчасти и его жизнь.

Он был революціонером, но героем никогда не был. Это далеко не всегда совпадает. Антоновскій служил в министерствѣ путей сообщенія, уже занимал хорошее мѣсто, пописывал передовыя статьи в газетѣ «Новости», налаживал свою жизнь. И вдруг его арестовали. Опять из нашего дома стали носить на Шпалерную вкусные пирожки и жареных цыплят. Опять Маруся и мама стали ѣздить на свиданія, но меня с собой уже не брали.

Антоновскій был арестован в связи с убійством чиновника Охраннаго Отдѣленія, Судейкина. Каким-то образом революціонеры узнали, что член их органи-

заціи, Дегаев, провокатор, и что через него Судейкину извѣстны всѣ их тайны. Тогда революціонеры, под угрозой смерти, приказали Дегаеву вызвать Судейкина на конспиративную квартиру и убить его. Судейкин отчаянно сопротивлялся. Убійцы, их было нѣсколько, гонялись за ним по квартирѣ, и, наконец, если память мнѣ не измѣняет, прикончили его ломом. Дегаев скрылся заграницу, исчез безслѣдно. Его пособников не нашли. Против Антоновскаго были какія-то подозрѣнія. Его арестовали. В тюрьмѣ он просидѣл не долго. Он был несравненно крѣпче и ловчѣе Аркадія. Из него ничего не вытянули. Он все отрицал. Прямых улик против него не было. Его без суда уволили со службы и сослали в Новгород, гдѣ этот правовѣд с трудом нашел мѣсто конторщика на желѣзной дорогѣ, на 30 рублей в мѣсяц.

От гонимаго жениха Маруся уже не могла отказаться. Сквозь рѣшетки тюрьмы не так ясно ощущала она ту полную физическую и духовную дисгармонію между ней и Юліем Михайловичем, которая мучила ее до конца их совмѣстной жизни, больше чѣм 25 лѣт. Но кто мог это предугадать, когда поздней осенью мы всей семьей, включая кузенов, отправились в Новгород выдавать Марусю замуж. Для меня уже одна поѣздка была развлеченіем. Я ими не была избалована. В театр меня почти никогда не водили. Гости, послѣ Адиной исторіи, бывали у нас рѣдко. О путешествіях, кромѣ переѣзда на Вергежу и из Вергежи, и помину не было. А тут мы цѣлой гурьбой всю ночь ѣхали в поѣздѣ. Новгород казался мнѣ очень далеким, хотя на самом дѣлѣ до него из Петербурга было только 170 верст. Незатѣйливая провинціальная гостиница Соловьева произвела на меня болѣе сильное впечатлѣніе, чѣм Мажестики и Регины, в которых позже я столько раз останавливалась. Но вѣдь тогда я в первый раз ночевала не дома. В пятнадцать лѣт и это волнует.

И на свадьбѣ я была в первый раз. Маруся в бѣ-

лом подвѣнечном платьѣ, с вуалем, с вѣнком из флер-д'оранж была трогательно красива. Мы всѣ были нарядные. Было шампанское, были поздравленія, было еще не испытанное мной общенье с чужими людьми в праздничной, приподнятой обстановкѣ. На меня обращали вниманіе, меня старались занимать, как большую. Во мнѣ пробудилось пѣнящееся сознаніе моей привлекательности. Я почувствовала себя взрослой. Марусина свадьба точно закрыла дѣтскія страницы моей жизни... На меня и в домѣ стали смотрѣть, как на взрослую дѣвушку. Тѣм болѣе, что почти сразу послѣ этой свадьбы тяжелая мамина болѣзнь наложила на меня отвѣтственность большую, чѣм полагается гимназисткѣ.

Мама заболѣла, как только мы вернулись из Новгорода и цѣлую зиму была между жизнью и смертью. Болѣзнь в ней давно копилась, но она ее пересиливала, сначала ради Аркадія, потом из-за Маруси. Она знала, как им обоим нужна, знала, что в них обоих нѣт настоящей воли, нѣт упругости. Она напрягала всю свою любовь, чтобы их поддержать. Матерям не легко бывает отдавать дочерей замуж. Тут есть какой-то отрыв, точно откалывается кусок собственной жизни. Да и не было у мамы увѣренности, что Маруся любит своего жениха. Поѣздка в Новгород, для нас веселый пикник, для мамы была испытаніем, послѣ котраго она сразу слегла. Началась сложная, мучительная, затяжная болѣзнь печени.

Это была зима тяжелая, полная страха. Доктора приходили каждый день, иногда по нѣсколько раз в день. По всей кватирѣ пахло лѣкарствами. Гостиную превратили в больничную палату. Когда припадки обострялись, из сосѣдней гостиной ко мнѣ доносились мамины крики, и мое сердце замирало от жалости и ужаса. Еще страшнѣе становилось, когда из гостиной ползла ко мнѣ зловѣщая тишина. Я осторожно открывала дверь. Большая комната чуть освѣщена затѣненной лам-

пой. Кровать стоит по серединѣ. Я прислушиваюсь. Тихо. Дышет ли она?.. Мнѣ надо сдѣлать усиліе, чтобы заставить себя на цыпочках подойти к кровати, наклониться, уловить ея дыханіе. Как бурно билось мое сердце, если на ея заостренном, желтом лицѣ забрезжит тѣнь улыбки. Она еще находила силы улыбаться нам.

Мама была очень выносливая, терпѣливая и, как только боль становилась легче, шутила с докторами, входила в мелочи нашей жизни. Но она уже не могла быть для нас главным источником жизненной энергіи. Надо было находить дорогу. Хозяйство было поручено мнѣ. Я сводила счета, заказывала обѣд, отдавала приказанія, пріучалась к самостоятельности, к отвѣтственности. Это было не трудно, так как прислуга была все та же, служившая у нас уже давно. Но все-таки я чувствовала, что за хозяйство я отвѣчаю, и это дѣлало меня болѣе взрослой.

Я уже была в шестом классѣ. Еще год и подойдут выпускные экзамены. Если бы мама могла попрежнему окружать меня своим ласковым вниманіем, я вѣроятно, благополучно окончила бы гимназію кн. Оболенской, и в моем образованіи не было бы тѣх пропусков, с которыми мнѣ позже пришлось бороться на полном рабочем ходу. Но предоставленная сама себѣ я бунтовала, озорничала, лѣнилась, учебников в руки не брала. Нѣкоторым оправданіем мнѣ служит, что меня начали мучить головныя боли. Даже память стала не такой цѣпкой. Любопытно, что эти боли исчезли только тогда, когда я стала писательницей. Повидимому, мои мозги нуждались в постоянной работѣ, искали усилія, напряженія. Все это мнѣ пришлось дать им, но много позже.

В гимназіи меня баловали и подруги, и учителя. Но школьное начальство не считается с возрастом своих воспитанников. А вѣдь юность и дѣтство это два рѣзко различных состоянія. Юность полна самоутвер-

жденія. Явственно, радостно подымаются соки в юном тѣлѣ. Здоровое, юное существо помимо своей воли поглощено этими внутренними сдвигами. Семья и школа обязаны с ними считаться. Между тѣм школьная жизнь 15-16-лѣтних дѣвушек и юношей устроена совершенно так же, как жизнь приготовишек. Мудрено ли, что юность вскипает, ломает перегородки, портит жизнь себѣ и учителям.

У нас в гимназіи был свой предохранительный клапан — наши умственныя мечтанія и исканія. В кружкѣ моих ближайших подруг, Лиды Давыдовой, Вѣры Чертковой, Нади Крупской, попрежнему книги занимали не малое мѣсто. Через них пытались мы понять свой жизненный путь. Среди молодежи были тогда в большом ходу рукописные списки рекомендованных к чтенію книг. Их полагалось прочесть, чтобы стать, как в 80-х годах еще говорили, критически мыслящей личностью, выработать в себѣ разумное міросозерцаніе. В первую очередь полагалось изучать естествознаніе и философію, конечно, позитивную. Главными учителями были Дарвин и Огюст Конт. Была еще книга о рабочих организаціях какого-то нѣмца, с которой ко мнѣ настойчиво приставал студент, считавшій себя соціалистом. Я ее так никогда и не открыла. Надо мной эти тенденціозные списки не имѣли власти. Я любила сама выискивать себѣ книги, то историческія, то по естествознанію, то просто романы. Но главными, самыми постоянными моими спутниками оставались поэты, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Алексѣй Толстой. Их я читала, перечитывала, заражалась их впечатлительностью.

Когда я думаю о наших молодых исканіях и кипучих чувствах, мнѣ прежде всего приходят на память стихи. Мы думали стихами. В них была колдовская сила звучных формулировок. То, что теперь называют липким словом лозунги, для нас было облечено в гармоническую музыкальную оболочку. Любовь к стихам не было особенностью только нашего поколѣнія. Рус-

ских испокон вѣка плѣнял пѣвучій соблазн ритма. Еще в XI вѣкѣ византійскіе путешественники с удивленіем отмѣчали, что кіевляне все дѣлают с пѣсней. И русскіе интеллигенты XIX вѣка входили в жизнь с героическими пѣснями на устах. Декабристы на допросах показывали, что их вдохновили стихи Пушкина и Рылѣева.

Мы, гимназистки, питались таинственной и ясной прелестью Пушкина, демонизмом Лермонтова, трагической жалостью Некрасова. Под конец в этом блестящем созвѣздіи затеплился и маленькій Надсон.

Отдѣльное мѣсто занимал гр. Алексѣй Толстой. Его патріотическія и націоналистическія стихотворенія воспринимались нами не так цѣльно, как жгучая публицистика Некрасова. Нас плѣняла его лирика, его любовные стихи. Главным воспитателем наших общественных чувств, отчасти и мыслей, был Некрасов. Через него мы, минуя всякія программы и подпольную пропаганду, сами того не зная, пріобщались к народничеству. От него набирались мятежнаго духа. Нас волновала его суровая красота, его призыв к подвигу. Он повелительно указывал путь, чего другіе поэты не дѣлали. Как только забрезжили в нас мысли, мы отозвались на страстную горечь его поэзіи, через нее воспринимали жизнь, опредѣляли свое мѣсто в ней. Его стихи оказались созвучны с тѣм, что исторія накопила, сгустила в тогдашней русской интелигенціи. Читателей меньше всего смущало, что Некрасов мало заботится о формѣ, о звукѣ, что он может писать и плохіе стихи. Зато он мог в одной строчкѣ бросить клич, который звучал, как повелѣніе. Тургенев как-то писал друзьям, что стихи Некрасова жгут. Этот ожег, это жгучее прикосновеніе его пѣсень чувствовали и наши молодыя души.

Некрасов любил Россію надрывной любовью, а русскую жизнь изображал с угрюмой, желчной односторонностью обличителя, накопившаго много обид, и общих, и личных. Ни слава, ни денежные успѣхи, ни радостное ощущенье своего таланта не помогли ему

забыть свое мрачное дѣтство, нищету, униженія первых лѣт жизни в Петербургѣ. Ни я, ни мои подруги ничего подобнаго не испытали, но он нас заражал жалостью, состраданіем, любовью к униженным и обиженным, к русскому народу, который ему казался самым несчастным народом на свѣтѣ.

Я призван был воспѣть твои страданья,
Терпѣньем изумляющій народ,
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет...
Но жизнь любя, к ея минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цѣли шел колеблющимся шагом,
Я для нея не жертвовал собой...

Мы, школьницы, разсмѣялись бы, если бы кто-нибудь назвал нас кающимися дворянками, но мы читали и перечитывали «Разсужденія у параднаго подъѣзда»:

Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рѣкой...
Этот стон у нас пѣсней зовется,
То бурлаки идут бичевой...
Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Послѣ освобожденья крестьян можно было бы не так мрачно говорить о народной жизни. Мы этого, конечно, не понимали. Да и старшіе вокруг нас плохо понимали. Не могли мы не вѣрить Некрасову, что нѣт на свѣтѣ народа несчастнѣе русскаго народа. Стоны Некрасова обязывали, требовали от нас отклика, сочувствія. Мы терпѣливо читали растянутую поэму «Кому на Руси жить хорошо», с ея бызвыходным отвѣ-

том — никому. Мы наивно вѣрили, что за морями, за долами люди живут, не зная изнурительной борьбы за существованіе, незаслуженных униженій, трагических противорѣчій, личных, исторических, соціальных. Мысль пытливо доискивалась, почему это так? Почему наша родина так обездолена? Некрасов давал и отвѣт. Виноваты всѣ сытые, богатые, сильные, властные. Надо итти против них, стать на сторону голодных, нищих, слабых, бунтующих. Цензура пропустила «Кому на Руси жить хорошо», гдѣ все это говорилось особенно настойчиво: но нѣкоторыя мѣста выпустила. Эти запрещенные стихи были напечатаны загроницей в маленькой брошюркѣ с загадочным названіем — «Пир на весь мір». Она тайно ходила по рукам и волновала нас своей запретностью, своим пафосом, своим загадочным (а м. б. пророческим?) заглавіем. Мы затвердили пѣски семинариста Гриши. Легенда о Кудеярѣ, кающимся разбойникѣ, который искупил всѣ свои злодѣянія, вонзив нож в сердцѣ жестокаго пана, пѣлась на всѣх студенческих вечеринках:

. . . . Скатилося
С инока бремя грѣхов.
Господу Богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов...

Вот уж поистинѣ темных... Но тогда все это, включая убійство «пана», представлялось нам в свѣтлом озареніи. Неудивительно, что интеллигенція, воспитанная на таком революціонном романтизмѣ, относилась к террористам снисходительно, часто и восторженно.

Крайне показательно для психологіи самого Некрасова, что в тѣх же пѣснях Гриши он передал и сродную христіанству идеологію жертвеннаго служенія ближнему:

Средь міра дольняго,
Для сердца вольнаго
Есть два пути.

Одна просторная,
Дорога торная.
Страстей раба,

По ней громадная,
К соблазну жадная,
Идет толпа.

Другая тѣсная,
Дорога честная,
По ней идут

Лишь души сильныя,
Любвеобильныя,
На бой, на труд.

Взвѣсь силу гордую,
Взвѣсь волю твердую,
Каким итти.

Иди к униженным,
Иди к обиженным,
По их стопам.

Гдѣ трудно дышется,
Гдѣ горе слышится,
Будь первым там.

Мы смутно сознавали, что не легко итти тернистым путем, чувствовали свое малодушiе перед соблазнами жизни и тѣм горячѣе отзывались на покаянную лирику Некрасова:

Выводи на дорогу тернистую,
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую,
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дѣло любви...

Стихи мы запоминали, повторяли, а погибать не собирались, не знали, что это значит, как это дѣлается. Да и веселая юность брала свое. Но мы смутно ждали, что раздастся какой-то зов, приказ, и мы ринемся в бой. Если бы нам сказали, что будущее не потребует от нас героическаго напряженья, жертвенности, борьбы с драконом, мы были бы обижены, возмущены. В тѣ ясные, школьные годы мы вѣрили в себя, в свои силы, в то, что за дверями школы ждет нас что-то чудесное, счастье, похоже на подвиг, подвиг, возвышающійся до счастья. В Некрасовѣ мы находили утвержденіе, укрѣпленіе наших молодых порывов. Он придавал им направленіе, смысл, ритмическую красоту.

Его преклоненіе перед русской женщиной вызывало горделивое волненіе. Вѣдь если постараться, и мы можем быть такими?

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...

В игрѣ ее конный не словит,
В бѣдѣ не сробѣет, спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу взойдет...

Эти стихи волновали, сплетались с образом Татьяны, с ея духовной доблестью и с декабристами. Мы не знали, что существует связь между ней и Маріей Волконской, но мы одинаково радовались их душевной прелести, одинаково восторгались и письмом Татьяны, и «Русскими Женщинами». Глубоко западало в сердца русских дѣвушек прощанье кн. Трубецкой с отцом:

. . . Прости, родной,
Напрасных слез не лей.
Далек мой путь, тяжел мой путь,

Страшна моя судьба,
Но сталью я одѣну грудь,
Гордись, я дочь твоя. . .

и великолѣпный отвѣт ея губернатору:

Нѣт, я не жалкая раба . . .
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба,
Я буду ей вѣрна! . . .
. . . я слез не принесу
В проклятую тюрьму.
Я гордость, гордость в нем спасу,
Я силы дам ему . . .

Говорят Некрасов плакал, читая вслух своих «Русских Женщин». Плакали и мы. Слова поэта приподымали нас над житейскими мелочами, которыя так легко затягивают людей, в особенности женщин. Общее, расплывчатое стремленье служить народу нашло в Некрасовѣ своего поэта.

То, что мы должники перед народом и обязаны этот долг ему выплатить, было одним из первых политических понятій, которыя вытекали из книг, из разговоров, даже из уроков в школѣ. Как за этот долг разсчитываться, и почему мы за него отвѣчаем, мы так же плохо понимали, как и тѣ, от кого на нас шли народническія настроенія и требованія. Лично я на этот клич туго откликалась. Во мнѣ не было кающейся дворянки. Мнѣ очень хотѣлось стать врачом, п. ч. я любила естественную исторію, а не п. ч. я считала своей обязанностью лечить деревенских баб и их ребятишек. Скорѣе сказывались ребяческія мечты о заграницѣ, которая манила чудесной неизвѣстностью. Вдруг мама пошлет меня в Швейцарію учиться? Но ни ученье, ни страданья не были для меня повелительной задачей, ради которой я готова бы была преодолѣть всѣ трудности. Я могла воображать себя героиней, мысленно кого-то спасать, обличать, бороться, но мнѣ и в голову не приходило, что в основѣ подвига лежит усиліе, от-

каз от многаго, выдержка. Да, когда-нибудь потом я буду такая же желѣзная, как Рахмакинов в романѣ «Что дѣлать», как тѣ революціонерки, о которых говорят, почтительно понижая голос. Их таинственныя лица нас манили, звали. Вокруг революціонных легенд мы создавали культ романических героев. Аркадій, котораго я по-дѣтски любила и по-дѣтски им любовалась, особенно с тѣх пор, как он попал в тюрьму, был для меня красивым воплощеньем благороднаго бунтаря.

Теперь, болѣе полувѣка спустя, я невольно вкладываю больше смысла в наростаніе моих симпатій и антипатій, придаю им больше логичности. Тогда мы впитывали общественныя настроенія, заражались ими без теорій, эмоціонально. Связных мыслей в моей безпокойной, если не буйной, головушкѣ было мало, несравненно меньше, чѣм я воображала. Я просто себѣ жила, как здоровая, хорошенькая дѣвушка, безсознательно наслаждаясь своим молодым ростом, как наслаждаются травы и деревья весенним солнцем. В том, о чем мы, гимназистки, разговаривали и мечтали, не было ничего тайнаго, тѣм болѣе преступнаго. Твердыню самодержавія мы свергать не собирались. Можно было бы, без особеннаго труда, выправить наши мозги, объяснить нам всю сложность политических и соціальных противорѣчій, сказать, что их нельзя преодолѣть революціей и насиліем. Если бы только учителя нам больше говорили о Россіи, если бы они сумѣли внушить нам, что Россію надо беречь. И любить. Но они и сами этого не понимали. За восемь лѣт, проведенных в гимназіи, рѣчей о Россіи я ни от кого не слышала.

В то же время, по мѣрѣ того, как мы росли, школьное начальство начало поглядывать на меня с опаской. Я была быстра на язык. Могла выпаливать либеральныя изреченія, конечно, не мной придуманныя. Если бы учителя показали мнѣ ход русской исторіи, или заставили связно обосновать мои ребячески заносчивыя заключенья, даже просто высмѣяли бы меня,

быть может, прояснились бы мои мозги. Но учителя только забавлялись моей скороспѣлостью. И напрасно.

Мнѣ оставался год до выпуска, когда моя школьная жизнь круто оборвалась. Восемь лѣт пробыла я в гимназіи Оболенской. За это время в моем характерѣ рѣзких перемѣн к худшему не произошло. Я была все та же не глупая дѣвочка, которая с наблюдательным любопытством смотрит на жизнь, на людей, глотает книги. Только стала живѣе. Возможно, что свои общественныя чувства я выражала с неосторожной самоувѣренностью молодости. Все это было ребячеством. Ни к какому тайному кружку ни я, ни мои подруги не принадлежали. Да их в восьмидесятых годах и не было, если не считать разсыпавшихся обломков Народной Воли. У нас не было даже моднаго кружка самообразованія, на которые правительство так опасливо косилось. Мы просто, без всякой организаціи, кружились, спорили, фантазировали. Никому из нас не приходило в голову приносить клятвы, вродѣ той, что в началѣ XIX вѣка Герцен и Огарев принесли на Воробьевых Горах. Но, конечно, дух строптивости в нас был. В гимназіи знали, что у Дины Тырковой есть брат, революціонер, что она навѣщала его в тюрьмѣ, что он сослан куда-то далеко, далеко, в Сибирь. Нѣкоторые родители могли с опаской смотрѣть на вліяніе, которое я имѣю на их дочерей. Все это так. Все же какая там крамольница в 15 лѣт?

Но время было угрюмое. Правительству всюду чудилась опасность. Оно старалось искоренять всякую тѣнь либерализма. Даже в нашей свободной гимназіи начальство считало себя вынужденным что-то сдѣлать с такими неугомонными ученицами, как я. Сначала мнѣ было дано предостереженіе. Так как княгиня Оболенская была больна, оно исходило от М. А. Ладыженской, к словам которой мы прислушиваться не привыкли. Она вызвала меня к себѣ и с видом слѣдователя по особо важным дѣлам, предъявляющаго преступнику вещест-

венное доказательство, показала мнѣ листок, на котором были написаны стихи.

— Это вы писали? Это вы распространяли в классѣ?

Ея шлейф, ея бѣлые воротнички, ея величественныя манеры меня, как всегда, смѣшили, подстрекали.

— К сожалѣнію это писала не я.

— Ах, значит вы еще и отрекаетесь...

На ея лицѣ было злорадство, точно ей было пріятно, что ко всѣм моим преступленіям можно прибавить еще и вранье.

— Отрекаюсь? Я ни от чего не отрекаюсь.

— Но вѣдь это же ваш почерк?

— Конечно, мой. Но эти стихи я только списала, а написал их Надсон.

Моя усмѣшка, то, как я смотрѣла ей прямо в глаза ее взбѣсили. Уже срывающимся от досады голосом она сказала.

— Как вы смѣете так со мной разговаривать!

Я молчала, но глаз не опустила.

— И как вы смѣете распространять во ввѣренном мнѣ учебном заведеніи запрещенные, подпольные стихи...

Можно себѣ представить, с каким сознаньем своего превосходства, с какой язвительной вѣжливостью самоувѣренная гимназистка пояснила своей раскудахтавшейся начальницѣ:

— Простите, это стихи не подпольные и не запрещенные. Они были год тому назад напечатаны в журналѣ.

Бѣдная барыня опѣшила.

— Ну да, ну да... Я знаю... Но все-таки мы не можем допустить таких вещей... Такого поведенія...

Я молчала, а она не знала, как опредѣлить мое поведеніе. На моем лицѣ не было никаких слѣдов раскаянія. Ей хотѣлось сказать мнѣ что-нибудь крѣпкое, пробить мое вызывающее молчаніе. Но что сказать?

— Можете итти.

Мы разошлись, как два пѣтуха, молодой и старый.

Рѣшительный толчок к моему разрыву с гимназіей дали великіе просвѣтители Руси, Св. Кирилл и Мефодій. Было устроено торжественное собраніе по случаю тысячилѣтія их памяти. В гимназіи такія собранія были рѣдкостью. У нас не бывало ни докладов, ни общих бесѣд, только молебны, да панихиды в царскіе дни. Нас не пріучили интересоваться славянством, церковной исторіей, прошлым Россіи. Имена Кирилла и Мефодія нам рѣшительно ничего не говорили. Самое их созвучіе нас почему-то смѣшило. Рѣчи, им посвященныя, мы пропустили мимо ушей. Мы не слушали, перешептывались, перемигивались, посмѣивались. Вообще вели себя, как глупыя дѣвчонки, вообразившія себя большими и умными.

Могу себѣ представить, как это сердило учителей, торжественно засѣдавших за длинным, покрытым зеленым сукном, столом. Я не сообразила, что они видят каждое наше движеніе и устроила себѣ глупую забаву, собрала от сосѣдок брошки и булавки и, как мнѣ казалось незамѣтно, сколола коричневыя платья гимназисток от стула к стулу. Рѣчи кончились. Хор вапѣл «Боже, царя храни!». Всѣ встали. Сколотыя юбки потащили за собой стулья. Послышался грохот, шум, неудержимый дѣтскій смѣх. Торжественность собранія была нарушена.

На слѣдующій день моего отца вызвали в гимназію для объясненія. Обычно такіе разговоры вела мама, но она еще только начинала поправляться, все еще лежала в гостиной в постели и не могла, как раньше это дѣлала, выступить на защиту своего дѣтеныша. Пришлось отцу выслушивать непріятныя замѣчанія о дочери, да еще от самого А. Я. Герда. Отец не передал мнѣ подробностей этого разговора, только сказал, что придется взять меня из гимназіи. Это был мой первый в жизни серьезный разговор с отцом. Он так внима-

тельно разглядывал меня, точно взвѣшивал справедливо поступили с Диной, или несправедливо? Его печальное спокойствіе меня смутило... Я ждала вспышки гнѣва, рѣзкаго крика, топанья, всего, что в дѣтствѣ так отчуждало нас от него. И не услыхала ни одного упрека.

Это произошло накануне переходных экзаменов в послѣдній, выпускной класс. Папа сказал, что мнѣ разрѣшено их сдавать. Мы с ним тут же рѣшили, что на будущій год я сдам экзамены на домашнюю учительницу при учебном округѣ.

Только позже узнала я, что Александр Яковлевич прямо сказал отцу, что нѣкоторые родители жаловались, что я имѣю вредное вліяніе на их дочерей, прививаю им крамольныя идеи. Герд прибавил, что, как сестра революціонера, я должна быть особенно осторожна, чтобы не навлечь на себя подозрѣнія в неблагонадежности. Папа к революціонной дѣятельности Аркадія относился совершенно отрицательно, но этим сопостовленіем он был возмущен. Какая тут неблагонадежность в 15 лѣт? Он мог бы сказать директору, что половину жизни я провела в гимназіи, что и на них лежит доля отвѣтственности за меня, за мое поведеніе, за мои сужденія.

Но отец им этого не сказал и мнѣ разноса не сдѣлал. Ему было не до разносов. Слишком много у него и без того было тревог и хлопот. Мамина болѣзнь все покачнула. Денежныя дѣла пришли в полное разстройство. Становилось ясно, что папѣ придется поплатиться и за Аркадія. На семью наползли тучи. Тяжело ему было.

Мнѣ, преступницѣ, было тоже не легко. Слишком уж рѣзко обрывалась моя гимназистическая жизнь, столько лѣт меня в гимназіи чаще хвалили, чѣм бранили и вдруг нашли, что я порчу других гимназисток, что во мнѣ есть что-то вредное, злокачественное. Я была ошеломлена, растеряна, глубоко обижена. Отчего Гердт никогда не вызывал меня, не сказал, что он мной не доволен, не образумил, не остановил меня. Я одно вре-

мя бывала в его семьѣ, дружила с его дочерью, Ниной. И его я любила, по-дѣтски почитала. Его совѣты нашли бы дорогу к моему сердцу. Но он прошел мимо. Это меня задѣло. Я получила первую в моей жизни суровую встряску, но зато в первый раз хлебнула хмельного вина популярности. И то, и другое было настолько ново, что я даже не почувствовала по-настоящему свою вину перед мамой. Я отлично знала, что ее, больную, надо беречь, нельзя ее тревожить. Но свое исключеніе из гимназіи я пережила с законченным эгоизмом юности, как нѣчто касающееся прежде всего меня самой, как первое большое событіе моей жизни, как начало моей самостоятельности, это мое дѣло. Мнѣ самой надо с этим справиться.

На слѣдующій день, когда я пришла в класс, гдѣ уже знали о моем исключеніи, я нашла всѣх в большом волненіи. Это меня сразу охладило. Чужое волненье меня рѣдко заражает, скорѣе отрезвляет. Меня удивило, что класс так взбудоражен моей исторіей. Одной из первых бросилась ко мнѣ Надя Крупская. Ея свѣтлые глаза были полны слез. Мягкія руки горячо сжимали мои пальцы. Меня окружили, разспрашивали, возмущались, негодовали. Не у одной Нади, почти у всѣх были слезы на глазах. В класс онѣ вошли с мокрыми от слез лицами. Первый урок был по Закону Божьему. Священник вызвал ученицу, задал ей вопрос по исторіи Церкви, но получил такой безсвязный отвѣт, да еще под аккомпанимент легкаго всхлипыванья и громкаго сморканья, раздававшихся с разных скамей, что он, искоса переглянувшись с классной дамой, поправил золотой крест на груди и снисходительно сказал:

— Сегодня я не буду спрашивать, а разскажу вам о Фиваидских отшельниках.

Боюсь, что в этот день мы, меньше чѣм когда-нибудь, были в состояніи оцѣнить горькую сладость аскетизма. Не клеились и другіе уроки. Учителя отош-

ли в сторону. Я стала центром. Вокруг меня плескались горячія волны сочувствія. Всѣх этих дѣвочек я хорошо знала. Нѣкоторыя из них были мнѣ близки, от других я была далека. Но сегодня все перемѣнилось, точно меня подняли на возвышеніе, а онѣ снизу тянулись ко мнѣ, от меня ждали опоры и утѣшенія, жалѣли не меня, а себя. В первый раз я так остро почувствовала, что могу быть кому-то, внѣ своей семьи, нужна. Давно это было, но как ясно помню я наше настроеніе, смѣсь печали и радости, новый пафос горячаго содружества, общности. В этот день я пережила эмоціональный опыт, залог моей будущей общественной жизни.

Экзамены я сдала кое-как. У меня не было желанья напослѣдок блеснуть, показать им какая я умная. Я почти не заглядывала в учебники, больше каталась на лодкѣ, гуляла в Таврическом саду с Сережей, или его товарищами. В маѣ Петебург так соблазнительно хорош, что гдѣ же тут повторять физику, или исторію. От гимназіи меня точно отрѣзало. Из года в год бѣжала я туда, как домой, но если меня не хотят, то и я их не хочу.

Эта встряска не прошла мнѣ даром. Как раз тогда, когда я должна была начать работать болѣе осмысленно, меня оторвали от систематическаго ученья. У меня была очень хорошая память, ум пытливый, но лѣнивый. Не знаю, благодаря ли общей школьной системѣ, или случайно, но заложенныя во мнѣ способности были предоставлены самим себѣ. И я остановилась, перестала итти вперед. Когда позже мнѣ пришлось своей работой кормить себя и дѣтей, я увидала, до чего у меня знанія скудныя, отрывистыя, безпорядочныя, безпочвенныя. Пришлось на скоро, на ходу набираться свѣдѣній, учиться работать и думать. А, может быть, это было не так уж вредно? Пушкин находил, что самое лучшее воспитаніе то, которое дает нам жизнь и мы сами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ПОБѢДОНОСНАЯ ЮНОСТЬ.

Слѣдующую зиму мы еще провели в Петербургѣ, но наша городская жизнь все сжималась, блѣднѣла, подходила к концу. Лѣтом мама съѣздила в Карльсбад вернулась оттуда почти здоровой, хотя все еще слабой, не такой, как прежде. Да прежней кипучей энергіи семья от нея уже и не требовала. Птенцы постепенно разлетались из гнѣзда. Виктор служил в Сенатѣ, нанимал меблированную комнату, жил своей отдѣльной жизнью молодого, холостого чиновника. Аркадій был далеко, недоступен для нея. Маруся в Новгородѣ коекак приспособлялась к замужней жизни. Нас, дѣтей, в домѣ оставалось четверо. Соня была еще малолѣтка, в нянюшкином царствѣ. Алеша был старше меня почти на пять лѣт, у него тоже была своя, полувзрослая жизнь. А посрединѣ мы с Сережей, неразлучные. Хотя мы всѣ жили дружно, но из всѣх братьев и сестер я ближе всего была с Сережей.

Мы с ним вмѣстѣ вошли в полосу юношескаго, бездумнаго эгоизма. Весь міp вращался вокруг нас. Мнѣ только что минуло 16 лѣт. В этом возрастѣ дворянскую барышню полагалось вывозить, развлекать, но около нас не было условной дворянской среды, не было визитов, пріемов, приглашеній. Мнѣ это было рѣшительно все равно. Во мнѣ играла побѣдоносная юность, которая, как весеннее солнце, все наполняла, все скрашивала.

Благовоспитанной дѣвицѣ
Вѣдь все равно что жить,
Или поклонников влачить
Во слѣд побѣдной колесницы
Всеторжествующей красы...

Это ребяческое сознаніе торжества, котораго я не добивалась, которое приходило так, само собой, превращало всѣ мелочи в забаву. Пробѣжать по Невскому, побывать в театрѣ, на Вербах, на каткѣ, — все развлекало. О немногих балах и вечерах и говорить нечего. Там бил фонтан жизненной радости, сверкающей, заразительной, полной ликующаго самоутвержденья. Правда, были еще уроки, учительницы, учебники, экзамен при округѣ, который надо было, во что бы то ни стало весной сдать. Ну, велика штука. Справлюсь! Перескочу! Через мою послѣднюю зиму в Петербургѣ я так промчалась, бѣгом, точно на коньках.

Сережа был товарищем моего стремительнаго бѣга. Ему было 18 лѣт, он еще кончал гимназію. Во всем книжном, в знаніях, в начитанности, в разнообразіи умственных интересов я шла впереди. За ним было превосходство вакхической жизненности, бурно переливавшейся через край. Спортом в Россіи тогда мало занимались. На Вергежѣ мы играли в крокет, в лапту, катались на лодкѣ. Когда подросли стали кататься верхом. Во всем этом не было тренировки, правил, системы, было мало спортивнаго состязательнаго чувства. В играх Сережа шел впереди. Он был игрок. К несчастью позже стал и карточным игроком. Но в юности, в ранней молодости его главной игрой была жизнь.

Средняго роста, широкоплечій, отлично сложенный, он был силач. В гимназіи Гуревича был узкій коридор, по прозванію Фермопилы. Сережа один против цѣлаго класса защищал его. К ужасу воспитателей он на пари перенес желѣзную печку из одного класса в другой, предварительно вывернув трубу из стѣны. На каткѣ ему ничего не стоило стать крайним в длинной цѣпи

конькобѣжцев, и, упершись острым носком конька в лед, заставить всю цѣпь крутиться вокруг себя. Расшалившись, он иногда забирал меня в охапку и бѣгом вбѣгал до нашей квартиры в третьем этажѣ.

Свою силу он никогда не развивал, гимнастики не дѣлал, мускулы свои укрѣпить не старался. Он вообще не старался. Ему была дана сила, как была дана музыкальность и плѣнительный баритон, от котораго у женщин кружилась голова, как от колдовского любовнаго зелья. Да и без пѣнья стоило ему только войти в комнату, как всѣ женщины поворачивались к нему, как подсолнухи к солнцу. У него и внѣшность была очень убѣдительная. Правильныя черты лица, красиво очерченный лоб, над которым слегка кудрявились свѣтло-русые волосы, тонкій нос с горбинкой, хорошій профиль, статная посадка головы. Ласковый, открытый взгляд зеленовато-сѣрых продолговатых глаз и неудержимо радостная улыбка. Я не помню его надутым, сердитым, раздражительным. Он всегда был в хорошем настроеніи, всегда готов на всякія проказы, приключенія, затѣи. Много лѣт послѣ его смерти, когда я изучала Пушкина и его друзей, мнѣ легче было их понять, потому что в их поколѣніи кипѣла та же широкая русская удаль, которая составляла главную прелесть моего Сережи.

Мы с ним оба очень любили коньки. В морозный воскресный день, а иногда и на недѣлѣ, мы вдвоем бѣжали от Николаевской улицы на Прутки и, весело позвякивая коньками, радовались солнцу, снѣгу. Черной кошкѣ. Она пробиралась по мягкой снѣжной подушкѣ на длинном каменном краю забора под рѣшеткой, окружавшей больницу принца Ольденбургскаго. Рыжей собакѣ, которая с лаем прыгала, старалась схватить кошку за хвост. Незнакомому юнкеру. Он с простодушным удовольствіем косился на мое смѣющееся лицо. Больше всего радовались мы сами себѣ и друг другу. Мы считали вполнѣ естественным, что прохожіе провожают нас

одобрительными взглядами и тоже улыбаются. Наша веселая юность разбрасывала искры, и люди с невольной благодарностью грѣлись около нас.

Хорошо было влетѣть в длинный, низкій деревянный барак катка, с круглой, до красна раскаленной желѣзной печкой посрединѣ. Здоровенный парень, привыкшій получать от меня пятак на чай, опускался на колѣно, надѣвая мнѣ коньки, неприхотливые, громоздкаго фасона с какой-то защелкой. Их называли американскими, хотя вряд ли в Америкѣ катались на таких старомодных желѣзках. До настоящих коньков, привинченных к подошвам спеціальных сапог, мы с Сережей так и не дожили. Знали, что старшіе, Адя и Маруся, катались в Юсуповом саду на полукруглых коньках, как тогда полагалось. Они были богаче нас. Между их катаньем на коньках и нашим прошло лѣт шесть, семь, но нам казалось, что это было давно, давно, во времена доисторическія. Вѣдь исторія начиналась с нас. Мы слушали разсказы о их былом великолѣпіи с интересом, но без зависти, точно дѣло шло о далеких предках, а не о старшем братѣ и сестрѣ.

Чего нам было завидовать. Мы и на американских коньках, которые можно было прицѣпить на тѣ единственные сапоги, в которых мы ходили всегда и всюду, катались часами, с упоеньем, то голландским плавным шагом, то простым разбѣгом, в одиночку, вдвоем, цѣпью, с гор. Русалочья легкость закругленных движеній опьяняла, как вино. Если играла военная музыка, ноги бѣжали сами собой. Не было музыки, все равно бѣжали, неутомимо, проворно. Вот, вот раздвинется деревянный, облѣпленный снѣгом забор, откроются невиданные просторы. На самом дѣлѣ мы кружились по небольшому, дешевому катку, по праздникам за 15 коп. с музыкой, в будни, без музыки, за гривенник. Но простор был. Мы его несли с собой в наших юных, языческих душах. Даже город, даже косолапые дере-

вянные домишки, лѣпившіеся тогда вокруг Прудков, не могли стѣснить нашего размаха.

Съѣзжать на коньках с горы было страшновато. Одна я просто боялась и никому из многих наших товарищей судьбу свою не довѣряла. Но если Сережа, весело блестя сѣро-зелеными глазами, подлетал ко мнѣ и вызывающе бросал:

— Ну что? Не побоишься? Ты сегодня храбрая?

Я принимала вызов. Стуча коньками взбирались мы. по обледенѣвшим деревянным ступенькам на вышку. Становились на край небольшой, покрытой толстым льдом площадки. Перед нами синѣл узкій ледяной скат, обшитый с двух сторон досками. Сережа на переплет брал мои руки, крѣпко, крѣпко.

— Держись!

Чуть наклонившись вперед, мы круто срывались с площадки на тѣсную полосу льда, точно бросались в холодную горную рѣчку. Коньки скользили, рѣзали лед. Сердце замирало радостным страхом. Мгновенье, и мы важно, твердо, катились по длинной дорожкѣ, заготовленной для разбѣга. Только одна короткая вспышка времени, но сдѣлай мы одно неловкое движеніе, и можно было на смерть разбиться о деревянный забор, об лед. Мы это знали. Мы видѣли, как выносили конькобѣжцев замерто, как капала алая кровь на бѣлый снѣг. Ну что ж, ну авось... И опять, весело постукивая коньками, взбирались мы на верхушку ледяной горы. Это я только с Сережей дѣлала. Без него я с гор не каталась. Только с ним. Я без страха срывалась с края ледяного обрыва, если могла заглянуть в его удалые глаза, услыхать его — держись! — Положить руки в его горячія, сильныя ладони. Перчаток ни он, ни я не признавали. Нам и так было тепло в самый сильный мороз.

Только теперь, когда я знаю, что далеко не ко всѣм жизнь так щедра, как была она ко мнѣ, я поняла, как много увѣренности и веселья внесла в мою мо-

лодость крѣпкая дружба с Сережей. Он ничего не требовал, не приставал, не дразнил, не дѣлал мнѣ при посторонних неожиданных замѣчаній, как любят дѣлать даже хорошо дрессированные братья. В Сережѣ это не было дрессировкой. Мы были настоящіе товарищи, всегда готовые друг друга выручить, поддержать, если нужно прикрыть. Понимали мы друг друга без слов, даже переглядываться было не нужно, шестым чувством. Сережа относился ко мнѣ с оттѣнком рыцарства. Несмотря на всѣ свои ухаживанья и романы, повязку носил он мою. Это было за много лѣт до Александра Блока, но вѣдь стремленье выбрать себѣ Прекрасную Даму не Блок выдумал, а сердце человѣческое. Сережино отношеніе передавалось его товарищам, всей молодежи, кружившейся около нас. Он, как дирижер нашего маленькаго оркестра, давал тон. Дѣлалось это весело, мимоходом, но слух у него был вѣрный. С насмѣшливой и ласковой улыбкой слушал Сережа, как мнѣ говорят положенные комплименты, и вдруг вставлял полушутливое замѣчаніе. Оно вносило чувство мѣры, не расхолаживая, усиливало общую атмосферу влюбленности, которая так легко создается вокруг молоденькой дѣвушки, особенно если природа дала ей находчивый ум и большіе, темные, смѣлые глаза. В этих неизмѣнных забавах юности Сережа был таким же надежным и легким партнером, как и в катаньѣ с гор. Иногда приходилось и мнѣ кричать ему — держись! —выручать его из запутанных любовных исторій, к которым я тоже старалась относиться без критики, как он к моему маленькому двору.

У больших принято смотрѣть на любовныя игры молодежи то слишком строго, то безразлично. А вѣдь это важная полоса жизни, школа, которая накладывает не меньшую печать, чѣм тѣ школы, гдѣ учат бином Ньютона и исторію Семилѣтней войны. Это проба будущаго длительнаго выбора, провѣрка самых глубоких, тайных источников нашего характера. Счастливы тѣ мо-

лодыя дѣвушки, у которых есть братья, или двоюродные братья, окружающие их веселым уваженьем, ревнивой бережливостью. С такими товарищами легче дается опыт перваго волненья в крови, первых поцѣлуев, легче сберечь гордую цѣльность, внутреннюю чистоту.

О поцѣлуях вряд ли стоит говорить. Город строгая дуэнья и не дает молодежи тѣх подстрекающих возможностей, которыми полна деревенская жизнь. Во мнѣ, несмотря на вѣтренность, была большая требовательность к себѣ и другим. Мама давала мнѣ полную свободу, довѣряла мнѣ, и это заставляло меня с наивной серьезностью относиться к такой отвѣтственной штукѣ, как поцѣлуи. В них есть обѣщанье, связанность. Я больше всего дорожила своей свободой, своим правом быть безжалостно правдивой, не преувеличивать, скорѣе преуменьшать свои чувства. Что товарищи братьев признают мое превосходство, к этому я привыкла. Им не позволялось черезчур расхваливать мои глаза, волосы, улыбку. Зато, если бы они вздумали усумниться в быстротѣ моей сообразительности, я сумѣла бы пристыдить колебателей моего авторитета насмѣшками, стремительными обобщеньями, цитатами из Дрэпера и Чернышевскаго. Но, конечно, любоваться мною им позволялось. Пусть опрометью, через весь каток бросаются ко мнѣ, чтобы не уступить другому чести поправить ремень моего конька. Пусть становятся в очередь за моим стулом, чтобы протанцовать со мной вальс. Пусть пишут мнѣ смѣшныя письма в прозѣ и стихах. Пусть спорят, чуть не до драки, зеленые у меня глаза или каріе? Но пусть не воображают, что кто-нибудь из них мнѣ нужен.

На самом дѣлѣ они всѣ мнѣ были нужны — и студент химик, который влюбился в меня, когда мнѣ было 14 лѣт, и годами безпомощно вздыхал и приставал ко мнѣ с умными книжками, которыя я совсѣм не собиралась читать. Студент жаловался мамѣ, что так меня боится, что не смѣет лишній раз на меня взглянуть. Но

все-таки он иногда поджидал меня около гимназіи, чтобы проводить до дому. Гимназистки знали его в лицо и дразнили меня:

— Тыркова, бѣги скорѣе. Там тебя твой Сапожков, Туфелькин, Ботинкин дожидается...

Их забавляла его фамилія — Валенков. В нем, дѣйствительно было какое-то сходство с валенками. Какая-то мягкая мохнатость. Вѣрно от того он и мнѣ не нравился. Но все-таки мы были пріятелями.

Нужен был мнѣ и высокій, красивый юнкер Николаевскаго кавалерійскаго училища, Андрей Бодиско. Этот был из свѣтской семьи, подобранный, совсѣм не мохнатый, гладкій. Он очень нарядно выглядѣл в длинной, туго стянутой ремнем шинели, в шапкѣ с красным верхом, надѣтой на бекрень. Влюбился он в меня сразу старинной, щеголеватой влюбленностью. А я с ним обращался, как с Сенбернардским щенком. Точно мнѣ его подарили для забавы. Бодиско знал, что это безнадежно, но отойти от меня не мог и не хотѣл. Розовыя губы его безпомощно вздрагивали, когда он смотрѣл на меня. Я и его никакими посулами не обнадеживала, хотя иногда назначала ему свиданья в Таврическом саду. Бѣжла туда с волненьем. А увижу, что он тут, покорно ждет меня на условленной скамейкѣ, и сразу станет скучно. Хочется повернуться и убѣжать домой. Бодиско первый стал подносить мнѣ цвѣты и конфеты, первый прокатил меня на лихачѣ по набережной. Это показалось мнѣ необычайной смѣлостью. Лихач взволновал меня не меньше, чѣм предложеніе Бодиско выйти за него замуж. Через год он выйдет в полк, и мы можем повѣнчаться. Каким несчастным стало его розовое от мороза лицо, когда я безжалостно разсмѣялась:

— Андрей, вы с ума сошли. Остановите кучера. Я сію минуту вылѣзу из саней. Замуж? Вот выдумали!

Но из саней я все-таки не вылѣзла. Уж очень хорошо было мчаться вдоль Невы, чувствовать, как мо-

розный воздух скользит по щекам, забирается за мѣховой воротник. Я милостиво позволила юнкеру довезти меня, конечно, не до дому, это было бы уж слишком рискованно, но до начала нашей улицы. Там уже я добѣжала одна, пѣшком, взволнованная и гордая. Еще бы, я еще не сдала на диплом домашней учительницы, а мнѣ уж дѣлают предложеніе. Каждый поклонник веселит сердце женщины, в особенности 16-лѣтней дѣвчонки. У меня в этом спортѣ было честное правило — никогда не притворяться, не обѣщать, не заманивать. Да и не к чему. И так придут. Все-таки я иногда даже послѣ его неудачнаго предложенія соглашалась встрѣтиться с Бодиско в Лѣтнем саду или на Невском. Бѣдный малый был не из краснорѣчивых, но ему казалось, что если мы останемся вдвоем, хотя бы в толпѣ гуляющих, он сумѣет сказать мнѣ все, все... И тогда, кто знает, может быть... Но никакого «может быть» не случалось. Я его перебивала, дразнила, потом жалѣла, а в то же время замѣчала, как оглядываются на нас прохожіе, как они принимают нас за влюбленных. Меня это сердило, смѣшило, но забавляло.

Только когда Андрей Бодиско умер, я поняла, как небрежно, как вѣтренно обращалась я с его чувством. В этом красивом, нарядном юношѣ было цѣломудренное неумѣнье, нежеланье раскрывать себя, хотя содержанія в нем было больше, чѣм во многих складных говорунах. Он это доказал своей смертью.

Из Николаевскго кавалерійскаго училища Бодиско вышел в гвардейскій уланскій полк. В это время я вышла замуж. Он никак не мог с этим примириться и перестал у нас бывать. И вдруг я узнала, что он умер гдѣ-то в голодающем Лукояновском уѣздѣ. Голод всколыхнул общественное мнѣніе. Образовались комитеты помощи и по частной иниціативѣ, и от учрежденій. Создан был и правительственный комитет помощи, под предсѣдательством наслѣдника, будущаго императора Николая II. Бодиско, который о политикѣ и страданьях

народа никогда не говорил, взял из полка отпуск и уѣхал с отрядом Краснаго Креста. Он раздавал хлѣб, устраивал столовыя и больницы для тифозных, сам заразился тифом и умер в глухой деревушкѣ, вдали от всѣх и всего, что любил.

Его смерть вызвала во мнѣ запоздалое чувство виноватости, что не умѣла я бережнѣе обращаться с его чувством. Это умѣнье приходит поздно, поздно начинаем мы понимать, как тяжело остаться неоплатным должником перед тѣм, кого увела от нас смерть.

Я вообще очень поздно стала думать о смерти, своей, или чужой. Я просто летѣла вперед, по дорогѣ собирала дань и принимала ее, как должное. Среди моих данников одни были умнѣе, другіе глупѣе, одни забавнѣе, другіе скучнѣе. Были и товарищи старшаго брата, которые казались мнѣ старыми, т. к. им было болѣе 25 лѣт. Были случайные танцоры на студенческих вечерах. Мнѣ казалось, что так и быть должно что так всегда со всѣми бывает. Если я иду по улицѣ, стою в фойе театра, лечу по катку, танцую в Дворянском Собраніи, или в гимназіи Гуревича, само собой разумѣется, что они должны на меня смотрѣть. Не просто смотрѣть, а вот так... Как, я не опредѣляла, не старалась понять. Но если бы меня круто лишили этого вниманья, этого «так», если бы я прошла через толпу и никто в ней не дал бы мнѣ ощутить моей торжествующей юности, я почувствовала бы себя ограбленной.

Такое настореніе плохо уживалось с подготовкой к экзаменам. А сдать их было необходимо. Я кое-как подхватывала кусочки знанія, но работать себя не заставляла. Училась я дома. Мнѣ давали частные уроки по математикѣ, исторіи, литературѣ. Я знала, что это стоит дорого, что с каждым мѣсяцем отцу становится все труднѣе платить учительницам. Положеніе его пошатнулось. Пришла расплата за сына революціонера. Это совпало с непріятностями служебными, с расплатой другого рода. Его слишком прямое и рьяное от-

ношеніе к разслѣдованію дѣла о хищеньях и взятках в Таганрогской таможнѣ возстановил против него очень вліятельнаго человѣка. Главным взяточником был начальник таможни, Энгельгардт. Мой отец, как начальник суднаго отдѣленія департамента таможенных сборов, тщательно это дѣло разслѣдовал, ѣздил в Таганрог и на мѣстѣ провѣрил собранныя свѣдѣнія. Картина злоупотребленій получилась вопіющая. Но Энгальгардт был родственник Побѣдоносцева, насколько помню, был женат на его сестрѣ. Дѣло замяли. Моему отцу предложили подать в отставку. Он отказался, заявил, что ничего предосудительнаго за собой не знает и не видит, за какіе проступки его лишают службы. Тогда его из министерства финансов перевели в Петербургскую таможню. Это была настоящая опала. Прежде он слѣдил за исполненіем закона во всѣх таможнях имперіи, а теперь попал на незначительную должность члена петербургской таможни. Жалованье понизилось с шести на двѣ тысячи. На руках еще оставалось четверо дѣтей, которым надо было кончать образованіе. Мама все чаще говорила, что необходимо отказаться от большой городской квартиры и переѣхать в деревню. Не раз слышала я от нея:

— Вот, как только ты сдашь экзамен...

От этой фразы мнѣ становилось не по себѣ. Я открывала учебник, пробовала заставить себя читать про Ивана Калиту и собираніе Москвы, про логарифмы и географію Австраліи, а в головѣ мысли кружились, мелькали, легкія, безотвѣтственныя, как поденки, танцующія над водой в розовой теплотѣ іюньскаго вечера. Программа экзаменов была не такая уж большая, учительницы у мени были отличныя, схватывать я умѣла и экзамены сдала не худо, хотя знала только математику да русскую литературу. Не старую, новую. Что было до Пушкина, мнѣ казалось совершенно не нужным. Даже в Жуковскаго я вчиталась только под старость лѣт, уже в Англіи.

По математикѣ у меня была отличная учительница, М. А. Второва. Ее знали и любили нѣсколько поколѣній петербургских школьников и школьниц. 20 лѣт спустя она учила моего сына в Тенишевском Училищѣ. С ней занятія шли весело, быстро. Математика была для нея искусством, и ее тѣшило, что, несмотря на задорную красную ленту в моих волосах, несмотря на то, что она знала, что меня у дверей поджидает очередной провожатый, все же я с ней вмѣстѣ радуюсь законченному изяществу математики и, как говорил Ницше, танцующими ногами пробираюсь через задачи и теоремы. Мы с ней были, как два товарища. Это было очень хорошо, но и Второва не могла растолкать мою безпечность, пробудить во мнѣ серьезное, труженическое отношеніе к любимой нашей математикѣ. Я воображала, что могу стать ученой, врачем, астрономом, не не имѣла никакого понятія о том, что такое труд, усиліе, усидчивость. Может быть, это была моя вина, а, может быть, в тѣх, кто меня учил, сидѣл русскій предразсудок, что можно все взять нутром, без системы, без усилія. Все-таки то знаніе математики, которое я вынесла из гимназіи, и которое давала мнѣ Второва, легло хорошей основой. Когда я через три года попала на курсы, я могла не только слѣдить за лекціями, но радоваться им.

Остальные экзамены я сдала на авось. Происходили они в зданіи Шестой Гимназіи, у Чернышева моста, в огромной залѣ. Вокруг стѣн стояли стулья для посѣтителей, так как экзамены при Округѣ происходили публично. Посреди залы длинный стол, покрытый зеленым сукном. За него сажали экзаменующихся для письменных работ. Для устных экзаменов стоял другой стол, поменьше, в концѣ залы, под большим портретом царя. Я еще экзаменовалась у ног Александра III, который строго прислушивался к нашим отвѣтам. Мы, экзаменующіеся, были пестрой толпой. Были тут дворянскія и купеческія барышни, которыя не побывали

в школѣ, учились дома, были юноши, сдавшіе на аттестат зрѣлости, были экзаменующіеся на чин писаря, мелкіе канцелярскіе служители, часто пожилые, запуганные, молью поѣденные.

Самыми живописными моими товарищами в этой внушительной казенной залѣ были молодцеватые городовые, сдавшіе экзамен на чин околодочнаго надзирателя. Среди громоздких, широкоплечих, затянутых в узкіе, черные мундиры, городовых я чувствовала себя маленькой дѣвочкой. Тѣм болѣе забавляло меня их смущенье, их мучительная робость перед экзаменаторами. Силачи фараоны, как их тогда называли, обливались со страха потом. Меня чужой страх всегда подзадоривал, усиливал мою дерзкую самоувѣренность.

Подошел письменный экзамен по алгебрѣ и арифметикѣ. Меня посадили между двух городовых. Мама, сидѣвшая против меня у стѣны, не могла сдержать улыбки. Роста я была небольшого, тоненькая. С узкаго лица еще не сбѣжали дѣтскія очертанія, улыбка дрожала не то в глазах, не то на губах. А по бокам сидят двое дюжих, краснорожих городовых, стерегут меня. Я и сама чувствовала комизм положенія, забавлялась им. Никогда не видала я городовых так близко. Эти были, как малые ребята, потѣли, пыхтѣли над своими задачами По крѣпкой школьной привычкѣ выручать товарищей я заглянула в задачу сосѣда справа, быстро ее рѣшила, незамѣтно, под клякспапиром, подсунула растеренному городовому преступную бумажку, сдѣлала то же для сосѣда налѣво и, вознагражденная их благодарными, восторженными взглядами, с невинным видом встала и пошла подать собственную письменную работу.

На устных мнѣ все легко сходило. Я за словом в карман не лѣзла и находчивостью затыкала большія нехватки точнаго знанія. В глазах экзаменаторов я видѣла выраженіе, сходное с тѣм, что привыкла видѣть на каткѣ, на улицѣ, в толпѣ. Чего же было робѣть?

Моя ликующая юность скрашивала даже скучную офиціальность экзаменов.

Только экзамен Закона Божьяго оставил непріятный осадок. Незадолго до него Второва, главный режиссер всей моей подготовки, спохватилась, что я ничего не знаю по Закону Божьему. А курс большой — Ветхій и Новый Завѣт, богослуженіе, катехизис, исторія Церкви. Когда же все это выучить? До экзаменов оставалось недѣли двѣ. Второва готовила к ним еще двух дѣвочек, дочь и племянницу извѣстнаго желѣзнодорожнаго строителя, Ададурова. Онѣ тоже по Закону Божьему ничего не знали. Находчивая Второва нашла для нас выход. Она узнала, что священник экзаменатор дает частные уроки, правда, за очень высокую плату. Второва обратилась к нему. Он согласился дать нам троим три или четыре урока за 250 руб. Цѣна неслыханная.

На первом же урокѣ в нарядной гостиной Ададуровых мы почувствовали, что и мы, и батюшка играем комедію. Урока никакого не было, одна болтовня. Мы не могли не понять, что это подкуп, что отрывки из катехизиса, которые он нам толкует, одно притворство, плохое прикрытіе взятки. Я в первый раз в жизни столкнулась со взяточником. То, что он был в рясѣ, что на его груди был золотой крест, усиливало мое негодованье. Боюсь, что на экзаменѣ батюшка в моих дерзких глазах ясно это прочел. Задал он мнѣ вопрос по исторіи Церкви. Я понятія не имѣла, о чем он говорит, но рѣшительно начала:

— Чтобы отвѣтить на этот вопрос, надо обратиться к Ветхому Завѣту.

Я начал быстро, быстро разсказывать про Моисея. Священник слушал, поглаживая крест рукою, задал мнѣ еще какой-то вопрос и отпустил, поставив хорошую отмѣтку. Недалеко от меня сидѣли другіе экзаменующіеся. Один из них с недоумѣньем спросил меня, неужели всегда надо отвѣчать так издали? Я смущенно

улыбнулась. Мнѣ было не по себѣ, я чувствовала себя соучастницей некрасиваго поступка. Я было тогда полна вѣтреннаго отчужденья от обрядов, церкви, от всего связаннаго с религіей. Ученый протоіерей еще дальше оттолкнул меня от Закона Божьяго.

Экзамены кончились. Диплом, который мнѣ потом мало на что пригодился, получен. Подходил конец моей петербургской юности. Точно для того, чтобы на прощанье я могла хорошенько упиться красотой моего родного города, мы с Сережей в ту весну увлеклись катаньем на лодкѣ. Будь у нас больше времени и денег, мы катались бы каждый вечер, а так только по субботам. Зато как нетерпѣливо ждали мы субботу. Я готова была плакать, если в этот день шел дождь. Случалось, что мы и на дождь не обращали вниманія и все-таки мчались на Фонтанку к Цѣпному мосту, гдѣ сдавались лодки. Нас двое, кто-нибудь из моих подруг, чтобы Сережѣ было на кого смотрѣть, когда будет пѣть романсы, два-три его товарища, чтобы грести. Уже выѣзжая по Фонтанкѣ мимо Лѣтняго Сада, сквозь деревья котораго сквозило алое, закатное солнце, мы дышали глубже, радостнѣе. А там Нева, быстрая, холодная, темно-синяя, с блестками краснаго заката. Мчится державная рѣка, широкая, властная, и на ея груди колышется наш маленькій ялик. Просторно, радостно, чуть-чуть жутко. Надо налечь на весла. С Невой нельзя, как с нашим Волховом, шутить. Занесет вниз, подтянет под пароход, бороться с теченіем не легко. Сережа наваливается на весла. Я на рулѣ. Мы с ним привыкли вдвоем выбираться на Волховѣ против крѣпкаго сиверика. Тут другой напор и другая красота обступает со всѣх сторон. На лѣвом берегу дворцы, гранитная стройность набережной, зеркальныя окна горят закатными рубинами, желтѣет Зимній Дворец, два узких фасада Адмиралтейства. Прямо перед нами крѣпость. Ея кирпичные выступы, как лапы звѣря, тянутся к самой водѣ. На легком небѣ легко золотится

ангел. А небо высокое, высокое, молодое, как только бывает небо у нас на сѣверѣ в погожій майскій вечер. Свѣтлое, отливающее на востокѣ зеленовато-голубым, на западѣ, там куда мчится Нева, всѣми оттѣнками краснаго. От рѣки под нами, от свода над нами расширяется, растет щемящее чувство безконечности міра. Сейчас пересѣчем рѣку и въѣдем в узкій рукав, в Невку. Ближе подойдут дома, небо станет меньше, все станет проще. Отодвинется царственная красота Невы. Жаль. Ну, ничего. Зато сады кудрявятся, пахнет свѣжей травой, деревьями, черемухой. Скоро начинаются дачи. Уже нѣт величавой стройности набережной. Сережа сбрасывает фуражку, вытирает вспотѣвшій от гребли лоб, кричит товарищу:

— Ну, Андрейка, теперь ты. Греби!

— Ладно. А ты попоешь!

Мы подхватываем:

— Да, да... Пой...

Сережа никогда не заставляет себя просить. Поет он так же легко, как гребет, двигается, улыбается... Иногда кто-нибудь захватит гитару, акомпанирует ему. А то так, без всякаго акомпанимента. Учиться пѣть он начал позже, да и то не надолго. Но у него была такая прирожденная музыкальность, такой гибкій, выразительный голос, что он никогда не фальшивил и не брал непріятных нот. Его пѣніе лилось, как пѣніе птицы, для которой мелодія есть часть ея самой. Он передавал всѣ оттѣнки настроеній, мечтательную преданность бѣднаго невольника, влюбленнаго в султаншу, удаль цыганки, играющей сердцами, печаль разлуки, радость свиданій, всю смѣну людских волненій, мимолетных, или глубоких. Его пѣсни придавали нашему катанью еще больше прелести, вносили в него мелодическую красоту и полноту. Кругом зеленѣли сады, соловьи состязались с пѣвцом, перекликались с ним трелями. Много их было на островах. Они на перегонки заливались, щеголяли друг перед другом сложной тонкостью своих

пѣсен без слов. Мы подымали весла, чтобы не спугнуть невидимых пѣвцов. А они пѣли над нашими головами в вѣтках берез и черемух, спускавшихся к самой водѣ. Птицы смотрѣли на нас сверху с любопытством, с товарищеским чувством, что вот и мы, как онѣ, полуночничаем, привѣтствуем розовую призрачность негаснущей, охватывающей полнеба сѣверной зари. Ни день, ни ночь. Наши молодыя лица выглядят при этом свѣтѣ старше, зрѣлѣе. Есть в бѣлых ночах какое-то колдовство. В их странном свѣтѣ люди не похожи на себя, на дневных. Сережа поет в пол-голоса задумчивыя, тихія пѣсни. И его заставила притихнуть тайна сѣверной ночи.

Кончается узкій проток Невы. Мы на взморьѣ, на Стрѣлкѣ. Нѣсколько часов тому назад на широкой песчаной дорогѣ, полукругом выходящей к морю, все было полно экипажами, верховыми, гуляющими и катающимися. По вечерам петербуржцы собирались на Стрѣлку посмотрѣть на закат и друг на друга. Ночью на Стрѣлкѣ пусто. Только дремлет одинокій лихач, ждет, когда вернется парочка влюбленных, которых он сюда привез. Да на морѣ видны рыбачьи лодки, черныя на красной полосѣ горизонта. Ширится водная гладь. Это уже морской залив. Поѣхать бы туда дальше к морю, но гдѣ оно, как найти грань между знакомым устьем Невы и незнакомой морской волной? Это уже не по силам нашему ялику. Да и нам пора домой. Поздно, вѣрнѣе уже рано. Утро. Заря украдкой перебросила свои розовыя вуали на восток. И небесное золото перелилось туда. Еще немного и по зеленоватому небу побѣгут первые лучи солнца.

— Дѣти, домой, — с широким зѣвком командует Сережа. — Вам-то хорошо прохлаждаться, а выгребать мнѣ придется.

Придется. В рукавах теченіе быстрое. Когда еще подымемся вверх до Невы. Нельзя вернуться слишком поздно. На слѣдующую субботу не дадут денег на лод-

ку. Становится холодно. Мы зябко жмемся друг к другу. Усталость одолѣвает. Хочется спать. А разставаться с катаньем не хочется. Жалко. Жалко разставаться с деревьями, с водой, друг с другом. Сережа перестал пѣть. Молчат и соловьи. Тихо кругом. Только вода плещется под лодкой, сбѣгает с весел. Опять крѣпость. Так свѣтло, что виден каждый отдѣльный кирпич, видны часовые на стѣнѣ. Блестят концы их винтовок. На другом берегу вспыхивает золотая игла Адмиралтейства. Тот, кто первый ее увидит, невольно скажет:

И свѣтла адмиралтейская игла...

Но нам лѣнь даже стихи Пушкина подхватить. Хочется спать, хочется прислониться к сосѣднему плечу и заснуть. Заснуть сейчас, сію минуту, крѣпким, сладким, молодым сном.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

ВЕРГЕЖСКОЕ ЗАТИШЬЕ.

Мама рѣшила забрать меня и Соню и переселиться на Вергежу. Здоровье ея пошатнулось. Жить в Петербургѣ со всей семьей было нечѣм. Отец запутался в долгах. Это была не его вина. Он расплачивался за общее положеніе помѣщичьяго хозяйства. Только 25 лѣт прошло со времени освобожденія крестьян. Четверть вѣка короткій срок для такого рѣзкаго экономическаго перелома, как переход от безплатнаго рабскаго труда к платным рабочим. Сколько раз отцовскія земли висѣли на волоскѣ, сколько раз то банк, то частные кредиторы грозили все продать с молотка. Отец устал от денежных трудностей. Тяжело отозвался на нем крутой поворот в его положеніи. Его самолюбіе было глубоко уязвлено, его рѣдкая энергія пошатнулась, к счастью, временно. Он готов был на все махнуть рукой. Дѣлайте, что хотите. Но мама рѣшила, во что бы то ни стало, сохранить Вергежу. Она принялась возстановлять развалившееся хозяйство. Болѣе крупныя, финансовыя дѣла вел папа, он протаскивал имущество через банковскія терніи. Тульскій земельный банк, гдѣ были заложены его имѣнія, брал большіе проценты и неумолимо требовал платежей в срок. Дворянскій банк открылся позже. Это было дѣло внутренней политики. Правительство рѣшило сохранить дворянскій правящій класс, помочь ему удержать за собой земли, стремительно пе-

реходившія в купеческія, отчасти и крестьянскія, руки. Мой отец первый в Новгородской губерніи получил ссуду из новорожденнаго Дворянскаго банка. Мы сразу вздохнули свободнѣе. Правда, два раза в год, в ноябрѣ и маѣ, отец торопливо, озабоченно собирал деньги, продавал лѣс и сѣно, гдѣ-то перехватывал, волновался, кипѣл, кого-то бранил, кого-то просил. В это время лучше было не попадаться ему на глаза. Но платежи в Дворянскій банк скоро перестали нас пугать. Это уже была не трагедія, а комедія.

Отец добросовѣстно бѣгал, именно бѣгал, отыскивая деньги. Не помню точно, какой был полугодовой платеж. Во всяком случаѣ, тысячи полторы, скорѣе больше. Гдѣ их набрать? Дровянники и сѣнники отлично знали, что над Тырковским барином висит срочный платеж, и старались его прижать. Он кипятился, называл их разбойниками, мерзавцами, но обойтись без них не мог и поневолѣ шел на Гончарную улицу, гдѣ, в Балабинском трактирѣ, за безконечными чаепитіями, а иногда за стаканами водки, шли сдѣлки. Я в трактирѣ никогда не была. Не подобающее это было мѣсто для барышни. Но из разсказов отца, а позже братьев, я ясно себѣ представляла низкія, грязныя комнаты, оклеенныя пестрыми обоями, грубыя скатерти, на которых стояли пузатые чайники с пышными розами, потные лица посѣтителей, не снимавших своих поддевок и шуб. Это была своего рода биржа для всѣх, кто имѣл дѣла вдоль Николаевской желѣзной дороги. Здѣсь продавцы-помѣщики встрѣчались с покупателями на дрова, сѣно, овес. Здѣсь происходили сдѣлки, опредѣляющія наш годовой бюджет. В первых числах ноября, часто за нѣсколько часов до торгов, отец прямо из этой запотѣвшей трактирной комнаты ѣхал в Дворянскій банк, шел в кабинет управляющаго и торжественно клал ему на стол нѣсколько сотенных бумажек. Управляющій хорошо знал состояніе папинаго счета.

— Владимір Алексѣевич, вы что шутки шутите? — говорил он. — Вѣдь вы втрое больше должны внести.

— Откуда же я возьму? И так с трудом набрал. Сѣнники такую цѣну за клевер предложили, что я их к чорту послал.

— Да, но вѣдь у банка есть сроки, есть правила, — возражал управляющій.

— Что же я подѣлаю? Я по заграницам не ѣзжу, денег на цыган не трачу. Все в хозяйство вкладываю. А денег нѣт.

Управляющій знал, что это правда. Знал также, что правительство хочет удержать земли за старыми помѣщиками. Он начинал торговаться. Наконец, вызывал секретаря и приказывал ему снять имѣнія с торгов. А с отца брал обѣщанье через нѣсколько дней внести еще нѣсколько сотен. Гдѣ-то, в бухгалтерском отдѣлѣ росла Тырковская недоимка, потом, по случаю какого-нибудь событія в царской семьѣ, издавался манифест с разными милостями, уменьшались наказанія уголовным, а иногда и политическим, преступникам, с крестьян списывали часть выкупных платежей, дворянскія недоимки перечислялись в основной долг.

Много лѣт, весной и осенью, вел отец такіе разговоры с банком. Только в XX вѣкѣ его дѣла настолько поправились, что банковскіе проценты вносились во-время и полностью. Но, когда мы с мамой в концѣ 80-х годов переѣхали на Вергежу, хозяйство было в полном упадкѣ. Поля отдавались крестьянам исполу и обрабатывались кое-как. Не было денег, чтобы оплачивать наемный труд. Закрома просторнаго дѣдовскаго амбара были пусты. На скотном дворѣ, разсчитанном на большое стадо, бродило нѣсколько плохеньких коров. Молока онѣ давали мало, да и корму было для них припасено не много. Так же, как для нас не было припасено провизіи. В первую зиму не хватало даже

дров. Сухих не было. Из лѣсу привозили свѣжія, только что срубленныя дрова, они шипѣли, текли, тлѣли, но не грѣли. Печи, не топившіяся годами, дымили.

Безденежье было хроническим. Жалованье папѣ так сократили, что его едва хватало, чтобы оплатить петербургскую квартирку в двѣ комнаты, гдѣ он жил с Сережей, и их очень скромное житье. Часть жалованья шла кредиторам, наступавшим со всѣх сторон. Мама должна была справляться, как хочет, добывать средства на мѣстѣ, кормиться собственными продуктами. Крупные доходы за сѣно, за лѣс, иногда за рожь и овес уходили на банковскіе платежи. Мамѣ было предоставлено обращать в деньги болѣе мелкое добро — то продаст теленка, то нѣсколько мѣшков картофеля, то собьет немного масла. Эта давало гроши, а жизнь требовала ежедневных расходов. Нас было на Вергежѣ только трое, — мама, я и Соня, — но дом был большой, надо было его освѣтить, отопить, держать кухарку и горничную, платить им жалованье, их кормить. Деревенскіе лавочники не охотно оказывали кредит. Приходилось ломать голову, гдѣ достать нѣсколько рублей, чтобы купить сахар, муку, крупу, керосин. Если нужно было купить сапоги, калоши, пальто, то это долго обсуждалось, взвѣшивалось, а главное откладывалось, пока не наскребут нѣсколько нужных рублей.

Мнѣ трудно теперь себѣ представить, как мама справлялась. Правда, над нами была своя, даровая крыша, было молоко, овощи, ягоды и яблоки. Иногда кололи теленка, поросенка. Потребности были неприхотливыя, нехватки обращались в шутку. Раньше мама сельским хозяйством не занималась, подробностей его не знала, но из нея быстро выработалась умѣлая практичная помѣщица. Первые годы она была совсѣм предоставлена сама себѣ, и это оказалось полезно для нея и для хозяйства. Мама хорошо сдѣлала, что оста-

вила Петербург и поселилась на Вергежѣ. В деревнѣ здоровье к ней вернулось. Она бодро принялась перестраивать жизнь по новому. Только благодаря ея упорству, ея ровной энергіи и ясному практическому смыслу Вергежа уцѣлѣла, не пошла с молотка. Если мы и наши дѣти в теченіе долгих лѣт, до самой революціи, наслаждались прелестью и простором Вергежской жизни, то этим мы, в значительной степени, были обязаны мамѣ.

Мама принялась за новую дѣятельность так осторожно, терпѣливо, точно распутывала запутанный клубок шерсти. Она прежде всего стала учиться у нашего давняго приказчика, Степана Бизеева. Это был мужик хозяйственный, не торопливый, не говорливый. Смотрѣл он изподлобья, отвѣчал не сразу, сначала как-то особенно поводил носом и громко фыркал. От него к землѣ тянулись глубокіе корни. Наши поля он знал лучше, чѣм сам хозяин, любил каждый клинышек, каждый клочек земли. И свое хозяйство вел хорошо. Изба у него была лучшая в деревнѣ, рожь и овес колосистѣе, чѣм у сосѣдей, скотина крупнѣе и сытѣе. Жена его, Марья Бизеева, была баба умная, степенная, с сознаніем своего достоинства. У нея все в руках спорилось. Холсты она ткала тоньше всѣх, дѣтей вела чисто, пироги пекла вкусно. Она научила маму, как выпаивать телят, как распознавать их статьи. От Степана шли болѣе сложныя соображенія, на каком клину пора начинать сѣв, с какого конца и когда приниматься за покос и жнитво, кого нанять в пастухи, на какія лѣсныя пожни выгонять коров.

Обѣдали мы рано, в шесть часов. Каждый вечер послѣ обѣда Степан приходил к барынѣ за приказаньями. Пробирался он по коридору из дѣвичьей в столовую осторожно. Все-таки его тяжелые сапоги громыхали, точно в дом забрела ломовая лошадь. Входил и, заложив руки за спину, становился у притолки. Лицо ши-

рокое, изрытое морщинами, как пашня бороздами. Борода рѣдкая. Прямые волосы подстрижены в кружок. Глаза маленькіе, сидят глубоко, смотрят не на собесѣдника, а в сторону. Слушал он с угрюмым вниманіем, свои замѣчанія вставлял с усиліем.

Не знаю, бродили ли в его квадратной головѣ общія мысли, кромѣ насущных хозяйственных соображеній, что надо отправить телѣгу в починку, т. к. скоро навоз возить начинаем, что Ивану Тюшину надо дать лошадь похуже, хорошую он загоняет, что плотники за новую баню дорого просят, лучше в Сосникѣ чужаков поискать. Тогда я не задумывалась над тѣм, что Степан думает и чувствует. Он был привычной частью нашего обихода. На станціи Волхов Пожарскій, на Вергежѣ Степан. Для мамы он был надежный помощник, на него она опиралась, пока сама не научилась вести хозяйство шире и лучше, чѣм неграмотный Степан.

Весь день хлопотала она по хозяйству, опять стала источником движенья, центром, вокруг котораго вертѣлся наш маленькій мірок. В старой шубкѣ, подбитой лисьими лапками, с теплым платком на головѣ, в высоких калошах или валенках, она шла то в амбар, то на скотный двор, то в молочную, или на огород. Научилась отпаивать телят лучше самой хозяйственной бабы. Огород и фруктовый сад она расширила и поставила по-новому. Отчасти и скотный двор. Только отчасти, потому, что здѣсь, как и в полях, отец любил дѣлать по-своему. Он расширял запашку, выписывал сѣмена, удобренія, орудія, племенной скот. Если не было на это денег, брал в кредит. Мать этого боялась, спорила, иногда сердилась, но справиться с ним не могла.

Я была только лѣнивой зрительницей маминых хлопот. Меня, как и папу, слишком круто выбросили в новыя условія. Вергежу я попержнему любила, была крѣпко с ней связана, но в Петербургѣ у меня уже

складывалась своя дѣвичья жизнь. А тут меня окунули в другой раствор. Точно Петербург с его развлеченьями, ученьем, библіотеками, друзьями был не за сотню, а за тысячу верст. От мамы требовалось много выдержки и ума, чтобы справиться с новыми обязанностями помѣщицы. А мнѣ нужна была выдержка, чтобы справиться с тѣм, что меня отбросило от всякой работы, от всякаго движенья. Сельское хозяйство меня совсѣм не занимало. Позже, в годы войны и полуневольных странствованій, тщетно мечтала я разводить кур, садить капусту, копаться в землѣ, наблюдать, как всходят сѣмена, посѣянныя мною. Но в юности, когда все это было так доступно, я шла мимо этих возможностей, высоко задирая свою безпокойную, всегда немного взлохмаченную голову. Мама никакой помощи от меня не ждала и не требовала, оставляла меня в покоѣ.

Ее очень тяготило, что в 16 лѣт мое образованіе остановилось. Как раз в тот год закрылись женскіе курсы. Не было средств послать меня учиться заграницу. Несмотря на все наше безденежье, мама выписала для нас швейцарку M-elle Hortense, очень хорошенькую и очень невѣжественную дѣвушку. На мой шутливый вопрос, какая разница между астрономом и гастрономом, она растеренно отвѣтила:

— Один считает звѣзды, другой их созерцает.

Потом побѣжала наверх, справилась в Ларуссѣ, вернулась в столовую сконфуженая и старалась нас увѣрить, что пошутила. Жила она мечтами о русском бояринѣ, который ее похитит, а в ожиданіи затѣяла роман с 18-лѣтним Сергѣем. Мама его круто оборвала и отправила Гортензію в Петербург. На смѣну ей из Москвы пріѣхала степенная, образованная русская нѣмка, — Августа Логиновна Мазинг. С Соней она проходила гимназическій курс, со мной занималась нѣмецким и французским. С ней прочла я «Принцессу Турандот», и «Разбойников» Шиллера, и нѣкоторыя вещи

Гетэ. Ея присутствіе вносило школьный ритм и смысл в нашу довольно пустынную жизнь.

Соня, та наслаждалась деревней со всей непосредственностью своих 12 лѣт. Она была страстная лошадница, знала всѣх лошадей в округѣ, а я и своих-то не умѣла розличать. Мама поручила мнѣ заниматься с Соней русской исторіей. От этих уроков было мало толку. Я исторію не знала, Соня ее знать не хотѣла. Из окон нашей классной комнаты, помѣщавшейся во втором этажѣ, был виден просторный двор с круглым лужком посерединѣ. По другую сторону лужка направо людская, налѣво конюшня. Когда рабочіе, сидя боком на распряженных лошадях, болтая ногами, въѣзжали во двор к обѣду, у Сони разгорались глаза. Она переставала слушать, отвѣчать, понимать.

— Что ты чушь порешь. Ты думаешь туземцы, это кто?

—Туземцы? туземцы?.. — ея сѣрые глаза впивались в ея любимую караковую лошадку, — это жители необитаемых остров.

Я с шумом захлопывала учебник.

— Довольно! Иди поить лошадей!

Ей этого только и надо было. Не обращая никакого вниманія на мой оскорбленный вид, она срывалась с мѣста, через минуту уже сидѣла верхом на своей караковой лошадкѣ и вмѣстѣ с рабочими трусила по березовой аллеѣ, от которой шел крутой спуск вниз, к рѣкѣ. Там Соня была в своей стихіи.

А я своей стихіи в деревнѣ не умѣла найти. Точно меня остановили на крутом разбѣгѣ, перебили ритм моей жизни. Чтеніе Шиллера не могло замѣнить университета, о котором я мечтала. Прогулки по полям и лѣсам не замѣняли петербургскаго веселаго молодого окруженія. На мое счастье я любила природу, любила и знала каждое дерево в нашем саду. Я любила зеленую гладь лугов, темнѣющій вдали лѣс, желтые оттѣн-

ки Волхова, каждую черточку, каждую подробность, с дѣтства привычную, никогда не надоѣдавшую. Краски, линіи, запахи, все было наше, все было частью меня самой.

Строй нашей жизни опредѣлялся временами года. Для меня год начинался осенью, когда кончались Сережины каникулы, прекращались пріѣзды его товарищей, и он уѣзжал в Петербург, в свой Лѣсной Институт. Затишье обволакивало и старый дом и все кругом. Отшумѣла страда. Сельскія работы не останавливались, но шли спокойным ходом. Мѣнялся ритм природы, мѣнялся ритм и запах жизни. В саду пахло листвой, яблоками, послѣдними рыжиками. Они каждую ночь густо подымались вокруг молодых елок, росших, в перемежку с рябинами, на дальней опушкѣ сада, около мельницы. Мы рыжиков этих не собирали, оставляли их для мамы. Она в лѣс не ходила, ей было жалко времени, все было некогда. Но у себя в саду она любила по утрам обходить ею же посаженныя елочки и приносить домой корзинку, наполненную маленькими, остро пахнущими рыжиками. Осенью воздух, прозрачный и звонкій, насыщен запахами. От гумна тянуло дымом, свѣжей соломой, зерном. От огородов пахло подсыхающей картофельной ботвой, пряным запахом сельдерея, петрушки, лука. Даже вода пахла особенно, не так, как лѣтом. От всѣх рѣчек кругом и от самого Волхова подымался запах рыбы, водорослей, ракушк.

И тишина осенью особенная. Жизнь, как будто, остановилась. Кто-то кладет ей руку на плечо. Надо что-то обдумать, понять, заглянуть на дно колодца, гдѣ притаилась Судьба. Бредешь по чуть протоптанной тропинкѣ над самой рѣкой, и сердце наполняется туманными мечтаньями, свѣтлой грустью, сладким ожиданьем. Идешь и вслух повторяешь любимые стихи. Крылатые, они разлетаются, как птицы. Я уже не одна. Слова кружатся, клубятся, танцуют, принимают облики

людей, знакомых и не знакомых. А сад, покрывающій весь наш холм, горит желтой, пунцовой. оранжевой листвой, огромный букет невиданных цвѣтов, тянущихся к небесной синевѣ.

Бывало, что осенняя, пылающая красками романтика захватывала октябрь. А потом вдруг упадут грязно-черныя облака, завоет сиверик, ощиплет, оборвет, разсѣет лиственную красоту. Голые стволы и вѣтви чертят свой узор на низком, буром небѣ. Я тогда еще не замѣчала гармонической прелести этого рисунка, не чувствовала, сколько стройности в безлистных стволах и вѣтках. Мнѣ было жалко опадающих листьев. С ними опадали смутныя волнующія надежды.

Льет дождь. Холодно. Грязно. Забираешься к себѣ в комнату на маленькій диванчик. Из окна видно, как вѣтер гонит по Вволхову волны, коричневыя, длинныя. Пѣна взбѣгает на гребни. Так же бѣлѣли бурные зайчики, когда варяги на узких, длинных ладьях шли на парусах мимо нашаго холма вверх к Новгороду, пробираясь далеко, далеко на юг, к самой Византіи. Теперь на юг только изрѣдка проплывет тяжелая, грудастая сомина с большим, четырехугольным, продолговатым парусом. Суда тянутся больше на сѣвер, к Петербургу. Да и это движеніе идет весной. Тогда рѣка оживает. Осенью все замирает, свертывается. Свертываюсь и я. Зажигаю лампу, кутаюсь в большой платок, берусь за книгу. Ненастный день ползет медленно. Там внизу, около мамы, жизнь идет. Мама всегда занята. К ней всѣ приходят за всѣм, за распоряженіями, за совѣтами, за провизіей. Внизу, в подвалѣ, лежат овощи, картофель. В кладовой, в домѣ, хранится все, что покупается за деньги. Собственная провизія, мука, рожь, овес, складывалась в закромах, в амбарѣ. Когда людская стряпуха из застольной приходит за ржаной мукой на хлѣбы, мама, не обращая вниманія на погоду, берет огромные, старинные, точно от крѣпостных ворот, ключи. Моя

комната угловая, во втором этажѣ, но по пустому дому четко разносятся звуки. Я слышу, как мама в передней громко гремит этими ключами, как звонко разговариваетъ с ней стряпуха. Я отлично сознаю, что надо бы мнѣ сбѣжать вниз, взять у мамы ключи и пойти вмѣсто нея в амбар. Но я только что нашла в старом журналѣ перевод «Ярмарки тщеславія» Теккерея. Меня волнует вызывающая дерзость Реббеки, ея умѣнье кружить головы. Я крѣпче кутаюсь в платок, глубже ныряю в роман, прикидываю, могла ли бы я пробираться через жизнь, как она?

Вечера мы проводили вмѣстѣ в столовой. Висячая керосиновая лампа ярко освѣщала длинный стол. Углы комнаты оставались в тѣни. Любимыя мамины растенія, латаніи, кактусы, фикусы чертили узоры на стѣнах, окленных бѣлыми обоями. Сквозь высокія окна осенняя ночь заглядывала в комнату недобрыми, стерегущими глазами. Мама не любила занавѣсок. Она была солнцепоклонница и хотѣла, чтобы весь свѣт, сколько его ни есть, вливался в комнату. В ясные дни нашу угловую столовую с пятью большими окнами, выходившими на юг и на запад, заливало солнцем. Зимой, когда все кругом бѣлѣло от снѣга, столовая и весь дом наполнялись этой бѣлизной.

Осенью, пожалуй, было бы уютнѣе с занавѣсками, но мы привыкли, что только стекло отдѣляет нас от темноты, от дождя, от непогоды, еще от чего-то, что шуршит, копошится в саду в черныя октябрьскія ночи. Нам около мамы было хорошо. Горничная убирала посуду, снимала скатерть. Мы доставали работу, вышиванье, вязанье, иногда книгу. Большим развлеченьем был нѣмецкій дамскій журнал «Der Bazar». Не знаю, существует ли он еще. Но в тѣ далекія времена этот берлинскій еженедѣльник нас очень забавлял. Мы по нем учились новым работам, брали оттуда узоры, как вязать шарф, накидку, шапочку. Мы внимательно, осно-

вательно разсматривали новыя моды, читали описанье, разбирали из какого матерьяла, какого цвѣта лучше сшить тот или иной туалет. Это было совершенно безкорыстное занятіе. Вязать мы еще могли. Шерсть стоила дешево, и у нас была своя домодѣльная шерсть, которую пряла в дѣвичьей на своей самопрялкѣ молчаливая старуха курляндка, по прозванію Маргарита. Но туалетов и в поминѣ не было. Обычно на мнѣ была простая шерстяная юбка и к ней блузка из дешевой цвѣтной бумазеи. Меня это совершенно удовлетворяло. За нарядами я ни тогда, ни потом не гналась. Что есть, то и ладно. В этом сказывалось мамимо воспитанье, но также и самоувѣренность хорошенькой дѣвушки. Иногда мамѣ хотѣлось нас принарядить, но денег не было. Она утѣшалась тѣм, что мы по крайней мѣрѣ не пріучаемся придавать излишне значенія внѣшности. Как хорошая шестидесятница, она считала это мелочностью, мѣщанством.

— Лучше не обращать слишком много вниманія на туалеты и обстановку, — часто говорила она.

В то же время у нея были очень опредѣленныя художественныя потребности и вкус. Пестроты, яркости, претензіи она не допускала. Когда мы, разглядывая нѣмецких модниц, выбирали покрой или цвѣт воображаемаго наряда, она настойчиво отговаривала меня от зеленых лент на розовом платьѣ, от слишком крупных клѣток на пальто. Иногда мы даже спорили. Соня была еще дѣвченка. Ей было все равно. Но я не прочь была сшить себѣ платье из вишневаго бархата. Мама отговаривала:

— Ну что ты выдумала! Развѣ можно барышнѣ носить бархат? Вот выйдешь замуж, тогда сошьешь.

Когда я вышла замуж, я дѣйствительно сшила себѣ красное бархатное платье, но счастливой оно меня не сдѣлало, и я носила его равнодушно. Болѣе равно-

душно, чѣм выбирала в Вергежской столовой фасоны для неосуществимых платьев.

Кончалось это обычно тѣм, что мы с мамой переглядывались, разражались веселым смѣхом и спокойно складывали тоненькіе выпуски нѣмецкаго журнала на полку. Игра кончена. Можно итти спать.

А за окном, на старом дубѣ, который царапал своими корявыми вѣтками деревянную обшивку дома. раздавалось хриплое уканье филина. Мы убавляли огонь висячей керосиновой лампы, припадали к окну лицом, вглядывались в темноту и видѣли перед собой, совсѣм близко, круглые горящіе глаза вѣщей птицы. Рѣдкая гостья приносила нам отголоски далеких сказочных міров.

Большим событіем был первый снѣг. Еще в полуснѣ чувствуешь, что на улицѣ все измѣнилось. Стало просторнѣе. Дышется легче. Все не так, как вчера. Шире раздвинулся горизонт. За ночь чья-то рука придала четкости, обвела черным по бѣлому рисунок деревьев, изб, заборов, полей. Земля застыла. Только хмурый Волхов между бѣлых берегов движется буро-коричневой лентой Через нѣсколько дней мороз и его одолѣет. Еще дальше отодвинется от нас жизнь. Пока пароходы ходят, шкипер, Илья Афанасьич, каждый день доставляет нам почту. Когда рѣка станет и пароходное сообщеніе прекратится, придется ѣздить за почтой за 12 верст на станцію Волхов. Нашему хозяйству не по силам было гонять туда каждый день подводу. Лошадей и так едва хватало на необходимыя работы. Надо было возить воду для людей и скотов, дрова, сѣно, солому. Рабочих было только двое, не считая дворника. За почтой мама посылала Степана. Он считал, что в такую даль за такими пустяками, как письма и газеты, и два-три раза в недѣлю не к чему таскаться. Барская блажь. Но все-таки ѣздил. Были у него на станціи и свои хозяйственныя дѣла и покупки, которыя в его гла-

захъ придавали этим поѣздкам нѣкоторый смысл. А маму, при постоянном безденежьѣ, его покупки безпокоили:

— Опять веревки надо покупать? У меня, Степан, денег нѣт. Нельзя ли обойтись? Вот продадим что-нибудь.

Степан смотрѣл изподлобья, поводил носом, вздыхал и глухо, с разстановкой, точно боясь, что его голос того и гляди, что-нибудь повредит в барских комнатах, говорил:

— Оно... того... мѣшок муки продать можно... оно... того... веревок нѣтути, и стряпуха керосину требует.

Мама не любила продавать муку. Ей достались, когда она начала хозяйничать, пустые закрома, и ей все еще казалось, что можно остаться без хлѣба.

— Муки? Не лучше ли картошку продать? У нас ее порядочно.

Степан вздыхал еще глубже:

— За картошку цѣлковый через силу дают... А за мѣшок муки два, а то и с полтиной... Оно... Того сподручнѣе...

Мама вспоминала, что надо еще рису, крупчатки, изюма купить и сдавалась Я любила слушать ея наказы Степану наканунѣ тѣх дней, когда он ѣздил на почту. Желѣзная дорога, вокзал, Пожарскій — все это ниточки, связывающія нас с тѣм внѣшним міром, без котораго я подчас так остро скучала. А вдруг привезет письма от подруг или от товарищей? Чаще всего получала я хрустящіе, душистые конверты, надписаные своеобразным, квадратным почерком Вѣры Чертковой. Она уже выѣзжала, была представлена ко двору, сестра ея была фрейлиной. Эта была жизнь далекая, малопонятная, на другой планетѣ. Мысли о Чертковых переплетались у меня с англійскими романами. Их дом, обшитый красным деревом кабинет ея отца, шелковая

обивка мебели, все было до смѣшного не похоже на незамысловатую сборную, потрепанную обстановку нашей столовой, гдѣ я, забравшись с ногами в глубокое кресло, читала Вѣрины письма. Я находила своеобразную прелесть в этом рѣзком контрастѣ. Так называемая свѣтская жизнь меня никогда не манила. Мнѣ смутно чудились другіе пути.

Но мнѣ пріятно было думать, что послѣ Рождества я поѣду в Петербург и вѣроятно побываю у Чертковых. И с Сережей пойду на университетскій бал в Дворянское Собраніе. Еще куда-нибудь. Мама обѣщала перешить для меня голубое муаровое платье, в котором она сама, барышней, танцевала. Я уже его примѣряла и нашла, что голубое мнѣ к лицу, что мои темные глаза кажутся еще темнѣе. Но до студенческаго бала далеко. Надо, как-то переползти ноябрь, декабрь, дождаться Рождества. Пріѣдет Сережа, привезет товарищей. Весело будет.

Дни скользят, однообразные, ничѣм не отмѣченные, ничего не требующіе. Снѣг все кругом обволакивает. Дождь болтлив, навязчив. Снѣг молчит. В его молчаливости есть что-то баюкающее, смягчающее. Народы Западной Европы, гдѣ нѣт такой рѣзкой, как в Россіи, разницы времен года, иначе переживают годовой круг, чѣм мы, сѣверяне. У нас другой ритм. Наша зима это длинная пауза. Рѣки окованы льдом. Не видно их теченія, не слышно их голосов. В обледенѣлой землѣ замерли растенія и насѣкомыя. Самый снѣг своей бѣлизной и четкостью мѣняет все кругом, погружает нас в новую стихію. Вспоминая здѣсь, на югѣ Франціи, в По, свою деревенскую молодость, я снова чувствую радостный, дружественный запах и блеск снѣга.

Снѣг это Рождество, пріѣзд Сережи, гостей, наших кузенов, моряков, так называемых Бабинских Тырковых. Из маленькаго лѣсного хутора, Лядно, гдѣ 30 лѣт спустя будет прятаться от большевиков Керенскій,

пріѣзжал Андрейка Каменскій, новый пріятель Сережи по Лѣсному Институту. Веселый, остроумный, бѣлокурый, красивый, с большими синими глазами, казавшимися еще больше от пушистых черных рѣсниц, Андрейка по музыкальности и по удали был под пару Сергѣю. С их появленіем старый дом с утра до вечера звенѣл пѣснями и музыкой. Сережин баритон развивался. К чистым, мягким, почти теноровым верхним нотам прибавились низкія, бархатныя. У Сережи было рѣдкое чувство ритма, и русская вкрадчивая, неотразимая, заразительная задушевность. Пѣть он был готов, сколько угодно и при каких угодно условіях — верхом, на лодкѣ, ночью в саду, днем у рояля, в поѣздѣ, в студенческой курилкѣ. Раз, в холодный зимній день, мы, цѣлой компаніей, ѣхали на станцію. Мы катились по рѣкѣ, по гладко накатанной, обледенѣлой дорогѣ. Кругом нас алмазами горѣл снѣжный покров. Было 30 градусов. От мороза ноздри при дыханіи слипались. Сережа встал, сбросил полушубок, остался в одной студенческой тужуркѣ, взял от кучера вожжи и начал, стоя, править. Я кричала ему из других саней:

— Сережка, не дури! Надѣнь шубу. Вѣдь простудишься.

Сережа обернулся и только задорно подмигнул маленькой Олѣ Обломіевской, моей подругѣ, за которой он всѣ Святки весело волочился. Она и сама была весельчак. Он запѣл, дал нам настоящій концерт. В морозном воздухѣ звонко разливалось его пѣнье. Мы кричали на него, умоляли замолчать, хохотали. А он разливался соловьем на радость Олѣ, которая откровенно им восхищалась. Так и проѣхали 12 верст по 30 градусному морозу под его неумолкаемое пѣнье. Свою программу Сережа допѣвал уже в поѣздѣ. И все сошло безнаказанно. Даже не охрип.

Каникулы, в особенности Рождество и масленица, проходили на Вергежѣ под его пѣнье. На масленицѣ

Сережа и его товарищи пріѣзжали только на нѣсколько дней. Мы всѣ торопились за это короткое время набраться движенья, веселья, влюбленности. Дни уже были длиннѣе, солнечнѣе. По ночам звѣзды шевелили лучами, точно нам с неба подмигивали лукавые глаза. Ночныя катанья при лунѣ пьянили крѣпче, чѣм сладкая домашняя наливка, единственное вино, которое тогда у нас подавалось. Днем мы часами катались с горы.

Человѣк пять, шесть взбирались на большія дровни. Сережа впереди, мы за ним, положив руки друг другу на плечи. Сережа брал в руки закинутыя назад оглобли, ногой, обутой в валенок, отталкивался от обледенѣлаго ската и как-то умудрялся править санями, объѣзжать препятствія. Их было не мало. Дорога спускалась к рѣкѣ не прямо, а изгибом. На ней были выбоины. Объѣхать их на полном ходу штука хитра. Попадем в колею, всѣх вытряхнет из саней. А тут еще заборы направо и налѣво. Правый забор коварный. Если его запорошило снѣгом, можно посадить себя на кол. У дровней нѣт сплошной настилки, нѣт пола. Стоять приходилось на перекладинках, с которых ноги легко скользили. Но все-таки мы умудрялись кататься без членовредительства. Только сыпались в снѣг и визжали, как поросята. Если перед этим прошел сильный мороз, дровни лучше слушались вожатаго. По обледенѣлому спуску вылетали, мы далеко на середину рѣки и оттуда любовались на заиндевѣвшій сад, черно-бѣлым узором окаймлявшій наши любимыя, бѣлыя шесть колонн. За окном столовой виднѣлось мамино лицо. Наши зоркіе глаза ловили ея улыбку. Мы кричали ей какую-то веселую чепуху. Что мы кричим, она через двойныя зимнія рамы разслышать не могла, но она нас видѣла, чувствовала, что нам весело и веселилась вмѣстѣ с нами. Как потускнѣло бы все кругом, не будь ее там, около колонн, за окном.

Катанье с горы совпадало с блинами. На масленицѣ мы их ѣли каждый день, иногда два раза в день и в огромном количествѣ. Это была ѣда, угощенье, спорт. Кто больше съѣст, тот побѣдил. Чаще всего побѣдителем был Сережа. Он умудрялся съѣдать до 20 блинов. С маслом, со сметаной, с луком, со снитками, с яйцами, с селедкой, с чѣм угодно. Только икры у нас тогда не полагалось, не по средствам было. За блинами отец угощал подросших сыновей и их товарищей водкой. На противоположной, дамской сторонѣ стола водки не полагалось. Отцу не могло в голову придти предложить водки мамѣ, или дочерям. Я чуть не обидѣлась, когда в Англіи, за нарядным обѣдом, меня вздумали угощать русской водкой. Против нас, на мужской половинѣ стола всѣ, включая отца, с каждой рюмкой водки веселѣли, языки развязывались, глаза блестѣли, улыбки становились шире, хохот от всякой пустой шутки раскатывался громче и громче. Все это, и объѣденіе, и выпивка придавало блинным пиршествам легкій оргіастическій оттѣнок. Вмѣстѣ с широкой масленицей в наш патріархальный, чистый дом заглядывали раскосые, лукавые глаза хмѣльного бога Ярилы. Не только мы, молодежь, но даже отец с матерью это чувствовали и приходили в особое, масленичное настроеніе. Вечером, послѣ обѣда, Андрейка Каменскій садился за рояль. Большой стол в столовой отодвигался к стѣнѣ и начинались танцы. Отец выходил из кабинета и, блестя глазами, с веселым помолодѣвшим лицом, похаживал между парами, потом вдруг подхватывал маму и под наши бурные аплодисменты вертѣлся с ней вальсом по всей комнатѣ.

А в дверях передней и буфетной собирались прислуга и рабочіе. Снаружи, на лѣстницѣ, ведущей на балкон, слышался топот ног, за окнами появлялись прижавшіяся к стеклам лица, расплюснутые о стекло носы ребятишек и взрослых, поблескивали их бѣгающіе от любопытства глаза. Это деревня пришла посмотрѣть,

как Тырковское семейство справляет масленицу. Сквозь двойныя рамы с балкона доносился визг и хохот. Смѣх усиливался, когда, расталкивая толпившихся в дверях дворовых, в столовую неожиданно врывались ряженые.

Медвѣдь в вывороченном шерстью вверх тулупѣ, баба-яга верхом на помелѣ, арап с вымазанным сажей лицом, чорт с длинным хвостом, — все убогое, невыдумчивое, в лохмотьях, с тряпками, вмѣсто масок, настоящіе сермяжные, деревенскіе ряженые. Но среди них был и гармонист, был и плясун. Гармонист, поднося гармошку то к одному, то к другому уху, начинал заунывно, протяжно, потом все быстрѣе, все веселѣе перебирал костяшки, и наконец, разсыпался в плясовой.

Чорт пускался в присядку. Мы вытаскивали из передней чернобровую скотницу танцорку, Настю, и под заливчатые переборы гармошки вся комната плясала. Всѣ подергивали плечами, прищелкивали пальцами, притаптывали каблуками не всегда в такт, но с увлекательной плясовой удалью. На лицах улыбки, в глазах огоньки, отблески лукавой усмѣшки разгулявшагося Ярилы. Папа быстрой, несмотря на свой грузный вѣс, легкой походкой шел в буфетную, доставал из огромнаго дѣдовскаго буфета графин с водкой, сам подносил рюмку, другую медвѣдю, арапу, бабѣ-ягѣ, чорту, всѣм, кто стоял от них близко. Появлялся поднос с орѣхами и пряниками для дѣвушек, и все кончалось общим пѣньем, общим стремительным хороводом. Запѣвал Сережа, Каменскій подыгрывал ему на роялѣ, повернувшись в нашу сторону лицом, не спуская с меня синих глаз. Движеніе, смѣх, молодость и все в рамкѣ стараго гнѣзда, которое было частью нас самих.

Быстро проносилась масленица. Исчезали наши молодые товарищи. Опять наставала тишина, опять мы были однѣ — мама, Августа Логтинова, я, Соня. Гулко, одиноко раздавались наши голоса по опустѣвшему дому. Не хотѣлось ни за что приниматься. А солнце, как

нарочно, заливало искрами хрустящую, покрытую хрусталями рѣку, поля, всю окутанную снѣгом грудь земли. Хорошо бы сѣсть в санки и быстро, быстро мчаться между синевато-бѣлыми сугробами. Но с кѣм?

Ночью, когда всѣ в домѣ уже спали, я тихонько, чтобы никого не разбудить, отодвигала в сѣнях тяжелый желѣзный болт, которым по старинному закладывалась входная дверь, и выходила на двор. Он залит лунным свѣтом. Черныя тѣни ложатся от нашей крыши. Я обхожу кругом дома. Морозно. Снѣг скрипит под ногами. С терассы видна далеко, далеко, широкая даль, спящее село за рѣкой, черныя вѣтки берез над избами. Полная луна с любопытством косится на меня. Что за охота одной топтаться по снѣгу? Я сердито киваю ей головой. Ну да, одна, одна. Неужели ты воображаешь, что ты должна свѣтить только влюбленным?

Я иду дальше в сад. Снѣг все глубже, прилипает к ногам, забирается в сапоги, падает с тяжело огрузших вѣток мнѣ на голову. Колоннада липовой алеи важно разступается передо мной. Лѣтом, увитая зеленью, обвѣянная теплом, она проще, ближе. Теперь, в ней что-то строгое, церковное. Или это потому, что я одна, что нѣт около меня веселых, преданных товарищей? Я не слышу их полу-шутливых, полу-страстных похвал, не чувствую, как благодаря им растет во мнѣ радостное сознаніе моей силы. Прелесть синей ночи дразнит щемящей, сладко грустью. Луна колдует, навѣвает слитную влюбленность во всѣх, кто со мной болтал, катался с горы, играл в снѣжки, слушал Сережино пѣнье. Яснѣе всего вижу я глаза Андрейки, его улыбку, насмѣшливо-нѣжную. Его мнѣ больше всего не достает. И Сережи. Но мнѣ нравится, что вот я одна, совсѣм одна, пробираюсь по легкому, хрустящему снѣгу, слышу, как не то заяц, не то мышка прошуршала в орѣшникѣ сухим листком, как гдѣ-то далеко за рѣкой лают собаки. Сад,

как волшебное царство. А я... Ну не совсѣм волшебница, а все-таки...

Так же тихонько, украдкой, точно с любовнаго свиданья, возвращаюсь я в дом, подымаю тяжелый, холодный желѣзный болт, вкладываю засов, на цыпочках пробираюсь к себѣ на верх и засыпаю, крѣпким, дѣтским сном.

Слышала ли мама, догадывалась ли она о моих ночных прогулках? Не знаю. Я молчала. Есть такая дѣвичья потребность, секретничать. Если нечего таить, то вот хоть такія одинокія гулянья хранишь про себя. Иногда, чтобы обострить впечатлѣнье, я проходила босиком по снѣгу всю липовую аллею, всѣ 60 сажен длины. Снѣг колол, обжигал, хватал за ноги, впивался в подошвы острыми иглами. Я заставляла себя итти, не торопясь, доходила до самаго послѣдняго дерева, за которым уже шел фруктовый сад, заваленный снѣгом, и тѣм же неторопливым шагом возвращалась обратно. И ничего. Даже насморка ни разу не схватила.

Если бы меня спросили, зачѣм я это дѣлаю, мнѣ нечего было бы сказать. Так, силушка по жилушкам переливалась, а дѣвать ее было некуда. Мама это понимала лучше, чѣм я сама, и очень огорчалась, что не может дать мнѣ больше простора. Я это знала. Свои ночныя блужданія я отчасти оттого от нея скрывала, что она увидит, как мнѣ скучно в деревнѣ. Об этой скукѣ мы с ней, по безмолвному уговору, никогда не разговаривали. Денег у нея нѣт, а без денег, куда же двинешься. Жаловаться, ныть мы не любили. Как есть, так и есть. Велика штука. И мама не любила безплодных разговоров, которые наводят на пустыя мысли. Да и не нужно было между нами лишних слов. В нашей глуши, в нашей замкнутости мы с мамой так сжились, что часто к нам обѣим одновременно приходили тѣ же мысли, и мы их выражали тѣми же словами, начинали говорить почти то же самое обѣ. Милое мамино лицо

вспыхивало от удовольствія. Она смѣялась дѣтским, заразительным смѣхом:

— Вот как хорошо, и разговаривать не надо... Ты и без слов понимаешь...

Она видѣла в этом доказательство нашей близости и радовалась.

Результаты маминаго хозяйства быстро сказались. За тѣ три года, что я почти безвыѣздно прожила с ней на Вергежѣ, она успѣла завести породистых овец, с тонкой, мягкой шерстью и вкусным мясом, купить нѣсколько хороших коров, выписать шведскую маслобойку. Научилась по книгам бить масло и вести скотный двор. Такого масла, как она дѣлала, я нигдѣ потом не ѣла. А, может быть, мнѣ так казалось. При нашем великом Вергежском честолюбіи, мы были увѣрены, что у нас все вкуснѣе, лучше, удивительнѣе, чѣм гдѣ бы то ни было. Мама и меня научила бить масло. Только в этом и была я ей помощницей. Да еще лѣтом мы, всей гурьбой, помогали ей собирать ягоды и на продажу и себѣ на варенье. Варить его тоже было моей обязанностью, а варилось оно пудами. Но в общем, три года жизни на Вергежѣ были сплошным бездѣльем. Меня это тяготило, не меньше, чѣм одиночество. Ни к какой работѣ я не съумѣла прицѣпиться. Пришлось потом наверстывать потерянное время.

Но в моей деревенской лѣни было не мало и прелести. Она сливалась с временами года, с природой. Проходила зима. На снѣжных еще полях темнѣли проталинки. Небо становилось выше, синѣло ярче, жарче. Все и всѣ кругом подготовлялись к весенному напряженію. Мама вся отдавалась хозяйственным хлопотам. Она любила весну, любила возню с парниками, первые, зеленые побѣги, ускоряющійся ритм побѣдоносной, молодой жизни. Торжествующим глашатаем весны был Волхов. Снѣг на нем начинал покрываться пятнами, темнѣл, вздувался, и вдруг его неподвижная, казалось,

крѣпкая громада начинала шевелиться, просыпалась, как медвѣдь послѣ зимней спячки. Волхов трещал, кряхтѣл, ворочался, стряхивал с себя зимнюю броню, лѣз на берега. Вода, всю зиму обреченная на молчаніе, подавала голос. Сначала журчала чуть слышно. Нащупывала дорогу между трещинами. Большая темная полынья, обведенная желтой каймой талаго снѣга, вмѣстѣ со льдиной ползла на сѣвер, сначала почти незамѣтно, потом двигалась быстрѣе, быстрѣе. Все кругом становилось необыкновенным, весенним. Всмотрѣться хорошенько и увидишь, как водяной вылѣзает из под льдины, оглядывает свое помолодѣвшее царство.

Если ледоход трогался днем в яркую солнечную погоду, то вся рѣка горѣла, осыпанная алмазами. Льдины налѣзали на льдины, разсыпались иглами, блестѣли, играли. Ледоход часто совпадал с Пасхальными каникулами, Сережа уже был дома. Мы мчались вниз, быстро спускали на воду мою застоявшуюся за зиму лодку «Дину» и пускались проталкиваться между льдинами. Это не так просто. Нужен хорошій глазомѣр и твердая рука, чтобы во время оттолкнуться от надвигающагося ледяного пласта, не попасть между двух льдин, сообразить гдѣ прицѣпиться, гдѣ увернуться, иногда выскочить на льдину и стремительно втащить на нее лодку, спасая ее от остраго конца наползающей на нас глыбы. Запах снѣга, весенній воздух, дерзкая игра с Водяным — от всего этого кровь быстрѣе, радостнѣе бѣжит по разгоряченному тѣлу.

Бывало, что это первое ледяное катанье переходило в первое, ледяное купанье. Нас, дѣвчонок, отсылали наверх, а братья с товарищами бросались в воду. Холодная, она обжигала их, как кипяток. Мы наверху, на балконѣ слышали их крики, вопли, хохот и завидовали им. Но мама, которая так рѣдко нам что-нибудь запрещала, была рѣшительно против того, чтобы мы, дѣвочки, прыгали в ледяную воду. Если она говорила нѣт, это было твердо.

Как только рѣки и ручьи вскрывались, начинался перелет птиц. Какое это было событіе, какую волнующую зависть подымали во мнѣ их разноголосыя вереницы, тянущіяся на сѣвер. Волхов был звеном великаго воднаго пути не только для людей, но и для пернатых путешественников. Когда весенніе дни удлинялись, а ночи становились все свѣтлѣе и короче, воздух наполнялся шелестом невидимых крыльев. В апрѣльской полумглѣ сталью отливали изгибы рѣки. Над ней, одна за другой, тянулись вереницы птиц. Их было не видно, только слышно. Хлопанье крыльев, перекликающійся птичій гомон, голоса тонкіе, отрывистые, протяжные. Внизу, над самой водой, торопливо пиликали кулички. Выше крякали утки. Еще выше гоготали гуси. А над ними всѣми, из под облаков, иногда доносился трубный звук лебедей.

Заслышав хор воздушных туристов, мы высыпали на террасу. Внизу темнѣл Волхов. Кругом обступали нас высокія старыя липы. От проснувшейся земли, от почек, от пробивающейся травы пахло молодой жизнью. Тихо было, так тихо, что было слышно, как растет трава, как ея всходы приподымают прошлогодніе сухіе листья, как эти мертвецы шуршат под безцеремонным напором слѣдующаго поколѣнія. Осторожно, боясь нарушить тайны творческой ночи, мы идем по липовой аллеѣ в конец сада. Сквозь черный узор безлиственных вѣтвей звѣзды непонятно и ласково перемигиваются, перешептываются. Мы, тоже шепотом, гадаем, о чем онѣ между собой разговаривают? Видят ли звѣзды нас, как мы их видим? Вѣдь если такіе маленькіе мурашки, как мы, могут их разглядывать, неужели у звѣзд очи менѣе зоркія, чѣм у нас? Что там у них дѣлается? Может быть, вот на той яркой, желтой звѣздѣ сейчас Христос произносит Нагорную Проповѣдь? А, может быть, и звѣзды этой уже нѣт, она умерла, разсыпалась тысячу тысяч лѣт тому назад, и мы видим

только угасшее воспоминаніе, мираж? Может быть, все мираж?

— Нѣт, вы и я не мираж, мы настоящіе, — весело спорит Андрейка, и его горячая рука крѣпко сжимает мои пальцы. Я их не отымаю.

Из сада мы выходим на любимую скамейку у мельницы. Сквозь апрѣльскую ночь, еще не бѣлую, но уже полупрозрачную, смутно виднѣются очертанія далеких деревень и металлическій блеск разлива, подступающаго к подножью холмов. Волхов заполнил всю даль и гладь, превратился в озеро. На разливѣ кишит ночная жизнь. С нашей скамейки на холмѣ слышно, как внизу, одна за другой с плеском хлюпаются в воду усталыя птицы. Мы их не видим. Только слышим, как их вереницы тянутся над нашими головами, лепечут что-то, сговариваются, потом ударяются в воду, плещутся, хлопают крыльями, громко, дѣловито разговаривают на разных своих нарѣчіях. Рѣшают, гдѣ кому ночевать. Через нѣсколько часов, как только восток начнет розовѣть, опять взовьются большія и малыя птицы, потянутся дальше и дальше в сѣверныя свои угодья, тоже наслѣдственныя, от праотцев, тоже переходящія из поколѣнья в поколѣнье. От пернатых странников никакія революціи не отымут этих вотчин.

Весна и лѣто крѣпче связывали нас с природой, со всѣм, что кипѣло и пѣло кругом, с травами, листьями, птицами, звѣрями. Сами мы не звѣрѣли, но весело дичали, могли часами валяться в густой, мягкой, прогрѣтой солнцем, травѣ, бродить по лѣсу в поисках грибов и земляники, шлепать босыми ногами в тинистом прудѣ, закидывая брод, в который попадалось больше піявок, чѣм карасей. Когда удавалось выпросить у приказчика лошадей, мы носились по полям верхом. Сѣдла были старыя, лошади рабочія, пузатыя, неказистыя, хотя нѣкоторыя из них иногда соглашались бѣжать довольно быстрой рысью. Эта примитивная верховая ѣзда

доставляла нам не меньше удовольствія, чѣм наѣздникам Гайд Парка.

Верховая ѣзда связывается в моей памяти с цыганами, главными барышниками и поставщиками лошадей. Они пріѣзжали осенью и давали нам пробовать своих лошадей, которыя были лучше наших рабочих коней. Цыгане скакали рядом с нами, блестя зубами и глазами. В их заразительном азартѣ было что-то скифское, нам понятное.

С маминаго разрѣшенія цыгане располагались табором под горой у рѣки. Вечером, послѣ чая, мы с Сережей вдвоем, а если были гости, то с ними, спускались вниз. На берегу, около старой бани, бѣлѣли палатки. У цыган принято поддерживать костер всю ночь. Древній, кочевой обычай, сохранившійся от тѣх времен, когда огнем оборонялись от хищных звѣрей и лихих людей. Роль весталки доставалась старухѣ. Закутанная в пестрый платок дремлет старая цыганка у костра. Табор спит. Тихо. Только невидимые кони, привязанные гдѣ-то близко на травѣ, фыркают, глухо топчутся о мягкую землю.

Гостей цыгане принимают привѣтливо, во всякое время дня и ночи. Старуха улыбается, приглашает нас к огоньку. Мы присаживаемся рядом с ней. Над нашими головами ясно мерцают августовскія звѣзды. Лѣниво плещется Волхов о глинистый, плоскій берег. Пахнет дымом, лошадьми, водой, близким картофельным полем, еще не убранным, овсяными снопами. Сережа начинает вполголоса пѣть. Черные глаза цыганки впиваются в него.

— Эге, складно поешь, барчук. А эту знаешь?

Она, тоже вполголоса, напѣвает. Не то от пѣнья, не то от того, что мы пошевелили костер, и искры полетѣли в черный воздух, в ея старых глазах пробѣжали огоньки. Сережа весело смѣется:

— Знаю и эту.

Он подхватывает ея пѣсню. Они поют все громче,

громче. Из сосѣдней крытой телѣги выглядывает кудластая голова молодой дѣвушки. Еще не вылѣзая из телѣги, полусонная, она подтягивает пѣвцам. За старухой уже стоит высокій красавец, Илья, который утром скакал с нами по лугам. Он небрежно встряхивает черными кудрями и вдруг бросает высокую, гортанную ноту, точно мячик закидывает за старыя ели, темнѣющія над нами. Еще немного и уже весь, табор тут, старые и молодые, даже малые ребята. Всѣ поют, прищелкивают, поводят плечами, как никто, кромѣ цыган, не умѣет. Двое прехорошеньких мальчишек, кудрявых, черноглазых, точно сбѣжавших с испанской картины, начинают плясать босыми ногами. Да вѣдь как пляшут. К ритму пѣнья примѣшивается тоже ритмическое, особенное, чисто цыганское, хлопанье в ладоши. Днем они конскіе барышники, конокрады, обманщики, воры, вымогатели. Но это с другими, с тѣми, кого они считают чернью. С нами они никаких штук даже днем не выкидывают. А вот сейчас, ночью, это артисты, принимающіе гостей. Они от нас не просят и не ждут денег. Сережино пѣнье передвинуло всѣ перегородки. Зазвучала его пѣсня, и они, заспанные, вылѣзли из под своих красных ватных одѣял и перин, запѣли, заплясали, заходили ходуном, безпокойные художники, полные древних, тайных зовов, напѣвов, плясок, заговоров, послушные тайнѣ ритма, принесеннаго из Азіи.

Гдѣ-то они теперь, эти вольные пѣвцы и плясуны? К каким совхозам приковала совѣтская власть этих кочевых художников? Как спаслись они от нея? Спасаться они все-таки пробовали. Искали новых кочевок. В іюнѣ 1940 г., когда военный разгром погнал во Франціи все населеніе, с сѣвера на юг, среди бѣженцев оказались и русскіе цыгане, которые еще раньше ушли из Россіи. Извольскій, племянник извѣстнаго дипломата царскаго правительства, разсказал мнѣ, что, когда он с женою и сынем, убѣгая лѣтом 1940 г. от нѣмцев, докатились из Брюсселя до Пиренеев и пытались пере-

браться через испанскую границу, они встрѣтили в горах табор русских цыган, которые, послѣ долгаго блужданья по Европѣ, пробирались дальше, к своим соплеменникам в Испаніи. Кто знает, может быть, один из малышей, лихо плясавших ночью у костра, над Волховом, провел свой табор до границ Испаніи? Любопытно, что Извольскій, разговорившійся с этими странниками, и сам, со стороны матери, полу-цыган.

Для нас, молодежи, на Вергежѣ с весны до осени царило то особенное лѣтнее деревенское бездѣлье, барственную прелесть котораго можно понять только на опытѣ. Обиліе плодов земных, клубника, малина, черная и красная смородина, крыжевник, позже яблоки и орѣхи, придавали лѣтним дням пиршественность. Если выводить слово праздник от праздности, то наше лѣто было сплошным праздником. Среди лѣта были еще особые два дня, справлявшіеся торжественно — 22 іюня, мамино рожденье, и 15 іюля, папины именины. К этим дням заранѣе готовились. Мнѣ и Сонѣ шились новыя платья, незатѣйливыя, из недорогой лѣтней матеріи, но свѣтлыя, легкія, как папа говорил, веселенькія. Он любил видѣть нас принаряженными и маму благодарил, если она в эти дни надѣвала обновку, чаще всего сшитую ея собственными руками.

Приготовленія к именинам исходили от нее. Она сама тщательно выпаивала жирнаго теленка. На стол подавалась телячья нога фунтов в 30. Как и варенье, как и ягоды, это были свои припасы, не стоившіе денег. Труднѣе было во время запасти сахар, крупчатку, изюм, миндаль, все, что покупалось за деньги. Но даже в первые, тощіе годы нашаго Вергежскаго житья мы как-то изворачивались. В дни семейных торжеств пышный, украшеный цвѣтами крендель своими размѣрами производил внушительное впечатлѣніе.

День начинался с церкви. Заказывалась обѣдня. Папа уѣзжал один, не дожидаясь нас. Он любил отстоять всю обѣдню, с начала до конца, а мы безнадежно

опаздывали. Дворник отвозил папу на маленьком челночкѣ, потом возвращался за нами. Мама нас торопила, звала, собирала, а мы баловались, бѣгали по дому, кто за носовым платком, кто за перчатками, или зонтиком. Пробѣгая через столовую, ловко выковыривали жареную миндалинку из горячаго, пахнущаго ванилью кренделя. Наши молодые голоса еще звенѣли по всему дому, а из-за рѣки уже доносился жиденькій благовѣст одинокаго колокола.

— Ну дѣти, скорѣе, скорѣе, — нетерпѣливо торопила нас мама, — папѣ так непріятно, что мы всегда опаздываем.

Шумной гурьбой сыпались мы с лѣстницы. В погожій день это было пріятное катанье. Воздух насыщен запахом трав, клевера, полевых цвѣтов, цвѣтущих лип, воды. Бѣлыя, пуховыя облака тают на темно-синем небѣ. На тихой глади Волхова наша лодка, наши разноцвѣтныя платья и зонтики выступают праздничным, красочным пятном.

К несчастью мы так умудрялись опаздывать, что, когда лодка подплывала к небольшому, бревенчатому плотику, от котораго по холму вилась тропинка наверх к церкви, там уже звонили к Достойной. Мы торопливо выпрыгивали из лодки, мчались по изрытой дорожкѣ наверх и, минуя столѣтнія липы, окружавшія небольшую, простенькую, старенькую деревянную церковь, быстро входили в нее. Если наш семейный праздник приходился в будни, в церкви было пусто. Только папа стоял на лѣвом клиросѣ, да двѣ-три старушки, еще помнившія моих обоих дѣдов, крестились и вздыхали. Хора не было. Был только дьячек, такой же пьянчуга, как и сам отец Павел. Трезвый он служил хорошо. Мы уходили из церкви притихшіе, с сознаньем чего-то свѣтлаго и со смутным чувством виноватости не то перед папой, не то перед кѣм-то невидимым.

А папа сіял. Хоть и опоздали, а все-таки всѣ — моя жена, мои дочери, мои сыновья — постояли с ним

в церкви. Может быть, даже кто-нибудь из них и помолился. Не выходя из церковной ограды, еще под липовым шатром, папа останавливался:

— Ну, теперь поздороваемся.

Мы поочереди цѣловались с ним, цѣловали его руку. Он оглядывал нас веселыми, ласковыми глазами:

— Вот какіе всѣ нарядные. А мама-то сегодня какая у нас красавица!

Он шумно смѣялся, довольный и гордый. Частенько сердился он на нас, но это не мѣшало ему гордиться своей многочисленной, многообразной семьей. А в торжественные, праздничные дни он и не сердился. Ему нравилось, что по всему дому разставлены большіе букеты, что стол накрыт нарядно, что на бѣлой камчатной скатерти алѣет темнокрасная наливка в старинных, граненых графинах. В эти дни ѣда и питіе занимали большое мѣсто. Полдня проводили мы в столовой. За столом сидѣли долго. Ѣли много, вкусно. Отец сам обходил кругом стола, разливал по рюмкам наливку, душистую, сладкую, крѣпкую. От нея становилось весело. Тосты, которые сначала провозглашал папа, пились легко и шумно. Кто-нибудь из Бабинских Тырковых подымал рюмку за старших хозяев, потом за кузин, потом за того, кто любит кого. Столовая звенѣла молодым, безпричинным смѣхом, которым охотно заражались и старшіе.

Среди дня полагалось пить шеколад, хотя для любителей чая подавался самовар. Шеколад был частью именинняго ритуала. Для него из Петербурга привозились длиненькіе бисквиты. Варили шеколад в самой большой мѣдной кострюлѣ. Горничная с трудом тащила ее по длинному коридору и ставила, завернутую в бѣлую салфетку, на стол. По всему дому разносился ароматный запах. Он шел через балкон на террасу, дразнил наши ненасытные аппетиты, и мы стремительно, на перегонки, бѣжали в столовую, чтобы успѣть полу-

чить двѣ чашки пѣнистаго шеколада, а если посчастливится, то и три.

Это не были дни парадных пріемов. Их у нас и не бывало. Кромѣ своей семьи были только кузены и товарищи братьев. Но вся семья, за исключеніем оторваннаго от нас Аркадія, собиралась под Вергежскій кров. Это придавало празднику семейную уютность, неприхотливую выразительность. 22 іюня и 15 іюля были вѣхами родовой жизни. В них была сплоченность клана, праздничное напоминаніе об источниках жизни, воплощавшихся в отцѣ и матери.

Будь около нас сосѣди, они, вѣроятно, в эти дни пріѣзжали бы, как полагается, с визитом. Но Вергежа была единственная дворянская усадьба в околодкѣ. Выше по рѣкѣ, ближе к Новгороду, были еще помѣстья, не владѣльцы часто мѣнялись, и мы их не знали. Вокруг нас не было людей одного с нами уровня, однѣх привычек, сходнаго образованія. Не было и мѣстной профессіональной или деревенской интеллигенціи. Ближайшій земскій врач жил в Грузинѣ, в 25 верстах. По обоим берегам Волхова тянулись деревни. Там шла крѣпкая, казалось, нерушимая мужицкая жизнь, со своими бѣдами и радостями, со своими страстями и волненьями, жизнь трудовая, но по своему свободная. Эту свободу придавала им земля, земельная собственность. Тогда мы не понимали огромнаго значенія этой основной особенности русской жизни, хотя и были в ходу крестьянскаго быта, мелких событій, опредѣляющих повседневное существованіе людей. Мы знали, когда надо одних пожалѣть, над другими посмѣяться, похвалить, поздравить. Мужицкое царство не было для нас ни обособленным, ни слитным. У мамы были пріятельницы ея возраста. Я меня были подруги среди дѣвушек. Это была односторонняя дружба. Прежняя, дѣтская дружба с деревенскими ребятами незамѣтно потускнѣла. Очень уж расходились наши интересы. Взрослые шли к мамѣ в бѣдѣ, а она к ним не пошла бы, как не пошла бы я

к Настѣ, к Фишѣ, к Сютѣ разсказывать им о моем тревожном желаніи уѣхать в Швейцарію учиться, или о тѣх мыслях и мечтаніях, которыя подымают во мнѣ книги. При всей нашей простотѣ и непритязательности, мы, конечно, жили в сторонѣ от крестьян. Когда по праздникам к нам из деревень доносилась гармошка, или пѣсни, я чувствовала насколько моим деревенским пріятельницам проще жить, чѣм мнѣ. Это не была зависть. Я не завистлива. Но сознанье, что там, в деревнѣ, молодежь живет среди молодежи обостряло мое желанье видѣть вокруг себя людей, давать им чувствовать, что я существую. Это желанье я широко осуществила позже.

Наиболѣе близкими нам по образованію людьми были священники. Но их семинарское просвѣщеніе было захудалое, кастовое. Наша приходская церковь была в Коломнѣ, в семи верстах от нас. Там был о. Петр, скучный старик. Он робѣл, терялся перед помѣщичьим великолѣпіем моего отца, который к тому же был дѣйствительным статским совѣтником, что давало ему право титуловаться ваше превосходительство. Высоцкій священник, о. Павел, который через воскресенье служил в церкви против нас, ни перед кѣм не робѣл и моего отца продолжал называть Владимір Алексѣевич. Он был человѣк очень не глупый и совершенно безкорыстный, но запойный пьяница. Когда это на него находило, он даже в церковь являлся в безобразном видѣ. Выйдет из царских врат на амвон, глянет исподлобья на паству и вдруг брякнет:

— Я ваш пастырь, вы мои овцы. Пошли всѣ вон!

Другой раз, вмѣсто молитвы, затянул извѣстный романс:

— Кого-то нѣт, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится в даль...

Потом проспится и старается не показываться людям на глаза. Стыдно. Жил он со своей красивой и милой попадьей на погостѣ, в пяти верстах от Высокаго,

около кладбища, гдѣ были похоронены мамин отец, ея два брата, а позже и бабушка Эмма Осиповна. Мы с мамой иногда ѣздили на могилы и заходили к священнику. Если он был в полосѣ запоя, то нас принимала матушка и печально жаловалась:

— Вѣдь вот, когда трезвый, так ангел, просто ангел. А с пьяным сладу нѣт. Опять жалоба на него была. Вызывали в консисторію. Как уволят, что я с дѣтьми буду дѣлать?!

Но его не увольняли. Мужики любили своего, хоть и пьяненькаго, но прямодушнаго, хорошаго попика и всегда за него перед епархіей заступались. Так и прослужил о. Павел, то пьяный, то трезвый, до конца своей мятежной жизни.

И у него, и в особенности у отца Петра, когда мы с братом у них бывали, нас принимали с почетом, чинно, как полагается принимать дѣтей самаго крупнаго мѣстнаго помѣщика. А если это случится в праздник, и выпьют лишняго, то языки развяжутся, начинаются шумные разсказы. Раз, когда справлялось 50-лѣтіе службы о. Петра, и к нему съѣхалось много священников, с женами и дѣтьми, гости так разыгрались, расшевелились, что, подняв полы длинных подрясников, пустились, кто плясать, кто играть на дворѣ в чехарду. Какой-то сѣдобородый отец, с весело бѣгающими глазами, настойчиво умолял меня:

— Барышня моя распрекрасная, ну пройдитесь со мной мазуркой. Что вам стоит? Только разочек. Хочется вспомнить, как семинаристом лихо отплясывал. Ну, разочек?

Отец Петр испугался:

— Отец Михаил, успокойтесь. Не тревожьте Диночку. Вѣдь это Владиміра Алексѣевича дочка.

Сѣдобородый весельчак лукаво и добродушно покосился на меня, на минуту задумался, потом тряхнул гривой:

— Значит, не судьба мнѣ больше мазурку танцовать. Ну, что-ж, пойду в чехарду поиграю.

«Владиміра Алексѣевича дочка», это было очень твердое общественное положеніе, которое мы плохо понимали, мало цѣнили. Привилегіи не рѣдко цѣнятся только тогда, когда судьба их отымет. Нас смѣшило, что болѣе далекіе мужики и бабы, встрѣчая нас на деревенских дорогах, кланяются, и мы слышим, как они говорят:

— Иж, Тырчиха с Тырченятами прогуливается.

В глубинѣ души мы чувствовали, что мы не совсѣм такіе, как народ кругом нас. Но, конечно, каждый человѣк всегда чувствует, что он не такой, как другіе.

Пьяненькій о. Павел съумѣл раз придать этим словам, — Владиміра Алексѣевича дочка, — особую выразительность. Случилось это на свадьбѣ. Была у нас пригожая скотница, Маша, и был рабочій, Адріан, по прозвищу Коклеткин. Его так прозвали, п. ч. он говорил:

— Буду барином, буду кажинный день коклетки ѣсть.

Между Машей и Адріаном завязалась любовь, большая и неблагоразумная. В сущности никто им не мѣшал пожениться чин чином и во время. Они все откладывали и откладывали и вдруг спохватились, что подходит масленица и Великій пост, а Маша, того и гляди родит еще до Троицы. Мама посовѣтовала Адріану поскорѣе повѣнчаться. Он весело согласился. Он все дѣлал весело. Меня позвали в посаженыя матери, что меня очень занимало, а им уменьшило расходы по свадьбѣ, и без того небольшіе. Мы обрядили невѣсту, смастерили ей на голову вѣнок из моих бальных цвѣтов. Я сѣла с ней в одни санки, Адріан с дружкой в другія и, в солнечный февральскій день, мы покатили в Селище, гдѣ около погоста стояла маленькая деревянная церковь о. Павла. У церковной ограды, тоже деревян-

ной, было привязано нѣсколько саней. Из церкви выходила только что обвѣнчаная пара. Это было послѣднее перед постом воскресенье, когда еще разрѣшается вѣнчаться.

Мы вошли в церковь. Перед аналоем стояла уже слѣдующая пара. Надо было ждать, когда их обвѣнчают. Это продѣлано было быстро. Не прошло и десяти минут, как уже на розовом коврикѣ стояли Адріан и Маша. К ужасу своему я увидала, что о. Павел и дьячек не твердо читают молитвы! Отец Павел был безсеребреник, брал за требы, кто сколько даст, а то и даром крестил, вѣнчал, отпѣвал. Но послѣ вѣнчанья каждый жених угощал водочкой. Против этого о. Павел устоять не мог. А мы в этот день привезли шестую свадьбу. Когда дошла очередь до Маши и Адріана, языки священнослужителей до того заплетались, что даже Маша, при всем своем радостном волненіи, не могла удержаться от смѣха.

Отец Павел, строго поглядывая на нас из под очков, — пьяный он всегда был строг, а трезвый тих и смирен, — всетаки кое-как совершал обряд. А дьячек изнемог. Он был совсѣм из Чеховскаго разсказа, маленькій, щупленькій, с козлиной бородкой, с длинными жидкими волосенками, падавшими на худыя плечи. Стоять он уже не мог. Он опустился на ступеньку амвона, сунулся носом в ветхій коврик и только сопѣл. О. Павел повернулся к нему и внушительно приказал:

— Читай Отче Наш...

Дьячек потряс козлиной бородкой и пробормотал:

— Прочитано, батюшка, все прочитано...

В его хмѣльной головѣ всѣ свадьбы перепутались. Ему казалось, что он уже всѣх окрестных дѣвок перевѣнчал, всѣ молитвы им прочитал. Отец Павел четко, властно, наставительно повторил на всю церковь:

— Я тебѣ говорю, читай Отче Наш...

Дьячек плотнѣе уткнулся в ковер и бормотал что-

то совсѣм непонятное. О. Павел пріосанился, обвел немногих присутствующих грозными очами и торжественно произнес:

— Да ты понимаешь перед кѣм служишь? Перед Владиміра Алексѣевича дочкой служишь!

Дьячек всей важности моего присутствія не понимал. Он отвѣтил легким храпом. О. Павел повернулся к алтарю, и продолжал обряд вѣнчанья уже один, предоставив дьячку выспаться. Я с трудом удерживалась, чтобы не расхохотаться от этого неожиданнаго діалога.

Обряд кончился. О. Павел, не сходя с амвона, важно, с разстановкой произнес:

— Ничего, пьяный поп повѣнчал, трезвому не развѣнчать.

А Маша, выходя из церкви, грустно сказала:

— Что же это он нас так, не по хорошему?

К счастью это не помѣшало ей жить с своим Адріаном по хорошему, ладно и весело.

Был по сосѣдству с нами женскій монастырь, Званка, в бывшем имѣніи Державина, к которому мой дѣд и бабушка ѣздили в гости. Поэт любил свою усадьбу, расположенную, как и Вергежа, на холмѣ, над Волховом. Не раз в лирических и бытовых стихотвореніях Державин упоминает о Званкѣ. Послѣ его смерти его вдова устроила там женскую обитель и духовное училище. Первыя монахини, которых я там видѣла, к памяти Державина были равнодушны. Дом, гдѣ он жил, не сохранился. Его вещей нигдѣ не было. Только в пріемном залѣ игуменьи, среди увеличенных фотографій петербургских митрополитов, одиноко ютился большой писаный красками портрет пѣвца Фелицы. Он был нарисован в шубѣ и в мѣховой шапкѣ, точно ему было холодно на этой неуютной стѣнѣ.

Мы иногда ѣздили, или ходили пѣшком в Званку к обѣднѣ. Послѣ службы подходила к нам послушни-

ца и, скрестив руки на груди, низко кланяясь, говорила:

— Мать игуменья просит пожаловать к ней, чайку откушать.

Под высокой остроконечной бархатной шапочкой молодое лицо послушницы горѣло от смущенья. Не поднимая глаз, быстро, безшумно спѣшила она ускользнуть от любопытных взоров моих братьев и их товарищей.

В монастырской оградѣ было чисто, прибрано. Мы невольно понижали голоса, когда от церкви, через сад, шли к длинному каменному, двухэтажному дому игуменьи. По обѣ стороны выложенной плитами дорожки тянулись пестрыя клумбы цвѣтов. За ними лужайки с грядками земляники, с аккуратно подстриженными яблонями, вишнями, сливами. Это была трудовая обитель. Все большое хозяйство обслуживалось монахинями. Онѣ работали на скотном дворѣ, в полях, в огородах, зимой ѣздили в лѣс за дровами. Для большинства монахинь это было продолженіе их прежней, крестьянской жизни. Многія из них пришли в монастырь, как в надежный пріют, ограждающій их не только от соблазнов, но и от невзгод, трудностей, обид. Были навѣрное и такія которыя отрекались от этого міра, взыскуя о градѣ невидимом, но мы были слишком слѣпы и глухи, чтобы разыскать их в черной толпѣ монахинь, молодых и старых.

Мама крѣпко привила нам уваженье к чужим вѣрованьям. По привычкѣ мы посмѣивались, шутили, но в этом невинном зубоскальствѣ не было и тѣни издѣвательства над непонятной нам монастырской жизнью. Ни к одной из послушниц, так рано оторванных от суетности жизни, я не съумѣла подойти ближе. Как знать, может быть, онѣ помогли бы мнѣ раньше задуматься о жизни, о цѣнностях подлинных.

Игуменья жила во втором этажѣ. Дом был так же основательно выстроен, как обширный корпус, гдѣ жи-

ли монахини, как зданіе училища, гостиница, как всѣ монастырскія службы. Мы входили в длинную, свѣтлую пріемную. Через нее был проложен пестрый, домотканный половик, по которому мы осторожно ступали, боясь наступить пыльной подошвой на до блеска натертый пол. Он так сіял, что в солнечные дни на нем играли зайчики. Этот половик, да зеленыя растенія: фикусы, пальмы, кактусы, плющ, были единственным убранством холодной, скучной пріемной. Тут-то и висѣл бѣдный Державин, который при жизни совсѣм не любил скучать. В сосѣдней гостиной было тѣснѣе и уютнѣе. На круглом столѣ стояли вазочки с вареньем и груды сдобных булочек. На диванѣ рядом лежал черный клобук игуменьи. Она подымалась с кресла, чтобы поздороваться с нами.

Игуменьи смѣнялись, но в моей памяти онѣ слились, ничѣм не отличаясь одна от другой. Та же чинная привѣтливость, та же неторопливая рѣчь, то же нежеланье, или неумѣнье, навести разговор на что-нибудь значительное, что могло бы зацѣпить наши молодые, вѣтреные мозги. Онѣ обращались с нами, как с дѣтьми Владиміра Алексѣевича, которых надо принять, почтить. Вот и все. Так велика была пропасть между образованной молодежью и церковными людьми, что никогда ни одна монахиня даже не попыталась повліять на нас, привлечь нас к православію. Все ограничивалось вопросами о здоровьѣ папаши и мамаши, о погодѣ и хозяйствѣ. Ну и настойчивым угощеньем, на которое мы очень охотно отзывались.

Только гораздо позже, когда бури уже пронеслись над моей головой, и разогнали туманы, я сблизилась с послѣдней игуменьей Званскаго монастыря. Матушка Агнія живостью, остроуміем, начитанностью, пониманіем людей, рѣзко отличалась от своих предшественниц. При ней в училищѣ и в церкви точно окна открыли. Отличная преподавательница, она давала уроки русской литературы, которую знала и любила. Она

все преподаванiе поставила по-новому. Да и в церкви сказывалось ея живительное влiянiе. Хор улучшился, службы стали благолѣпнѣе.

Со мной, тогда уже писательницей и общественной дѣятельницей, мать Агнiя была очень ласкова, говорила о святоотеческих писаньях, о красотѣ и глубинѣ религiозной литературы, старалась открыть мои слѣпые глаза. Рѣчь ея, мѣткая, красочная, никогда не была дипломатической, или наставительной. В ней была простота и задушевность умной, даровитой русской женщины. Она первая заставила меня понять, что за бѣлыми, спускающимися к самому Волхову, стѣнами Званскаго монастыря, идет богатая, значительная жизнь.

Но в юности я не съумѣла ничему научиться от Званскаго монастыря.

За эти три года жизни на Вергежѣ в Петербург я ѣздила очень рѣдко. Денег не было. Сшить новое платье, купить пару сапог, шляпу, все это уже было событiем. Проѣзд по желѣзной дорогѣ казался не малым расходом, хотя билет туда и обратно третьим классом стоил рубля три. Мама все-таки наскребывала деньги и отправляла меня, как она говорила, провѣтриться. Но не надолго. Очень тѣсно было в папиной квартирѣ. Не так жили мы при маминой царствѣ. Но я радовалась знакомым улицам и людям, Сережѣ, его гимназическим товарищам, встрѣчам со старыми гимназическими подругами. Их жизнь была куда полнѣе моей.

Вѣра Черткова вертѣлась на самой верхушкѣ придворнаго свѣта. Во время моих рѣдких появленiй в их домѣ, старик Черткова разсматривал меня с недоумѣнным любопытством, но был привѣтлив. Вѣра, наблюдательная и остроумная, весело разсказывала мнѣ про свои выѣзды. Это был роман из недоступнаго мнѣ мiра.

Иную жизнь наблюдала я у Лиды Давыдовой. Отец умер, и многое у них перемѣнилось. Александра

Аркадьевна купила журнал «Мір Божій» и Лиду подготовляла себѣ в помощницы. Профессора читали ей лекціи по литературѣ и экономикѣ. У Лиды был быстрый ум. Ей все пригодилось, когда она вошла в журнальную работу, главное, когда, как жена М. И. Туган-Барановскаго очутилась в центрѣ нарождавшагося русскаго марксизма. В домѣ Давыдовых я ловила отзвуки многаго, чего мнѣ не хватало в моей деревенской оторванности. От них я узнавала о появленіи новых русских и иностранных писателей, о рѣчах нѣмецких и французских соціалистов, о многом, что волновало Европу и тѣх русских интеллигентов, которые тянулись к Европѣ. У них читались послѣднія стихи рано угасшаго Надсона и первые стихи юных, начинающих русских символистов. Лида заражала меня своим ненасытным умственным любопытством. Я уходила от нея освѣженная.

Видалась я и с Надей Крупской. Она по прежнему жила с матерью на третьем дворѣ, в большом домѣ Дурдиных, на Знаменской. Жили все так же, тихо, уютно, с лампадками, как будто по старосвѣтскому. Как прежде, Надя обладавала меня ласковым сіяніем, долго держала мои руки в своих мягких руках, улыбалась с конфузливой нѣжностью. Но за всѣм этим я чувствовала другую Надю. Она уже прокладывала путь к тому, что вскорѣ должно было стать смыслом, цѣлью и, как это ни странно звучит для моей скромной Нади, роскошью ея жизни.

Началось это с вечерних курсов для рабочих за заставой. Надя, глухим, монотонным голосом разсказывала мнѣ, как важно пробудить в рабочих классовое сознаніе. Я плохо понимала, что это значит. Но я видѣла, что от этих таинственных слов Надя расцвѣтала. Добрые, голубые глаза свѣтились. Она терпѣливо старалась вовлечь меня в этот круг мыслей, в котором для нея заключалось все. Я радовалась за нее, понимала какое это должно быть счастье найти поглощающую

цѣль, или поглощающее чувство. Я не знала тогда, что для нея то и другое слилось.

Уже не в Петербургѣ, а лѣтом у них на дачѣ, под Окуловкой, впервые услыхала я от Крупской имена Карла Маркса и Ульянова. Было мнѣ тогда лѣт семнадцать. Прежде, чѣм ѣхать к Крупским, я погостила у Маруси в Новгородѣ.

У Антоновских постоянно бывали гости, запросто, без приглашенія, без визитов. Какіе тут пріемы в их маленькой квартиркѣ, с их маленьким жалованьем. Случалось, что к концу мѣсяца Антоновскій выкладывал на стол нѣсколько мелких серебряных монет и говорил старой кухаркѣ Марьѣ, матери нашей горничной Софьи:

— Марья, вот все, что у меня есть. Кормите нас, как хотите.

Невозмутимая чухонка подбирала со стола двугривеные и спокойно отвѣчала:

— Нишево. Маленька рыбка купим.

Но к чаю всегда был хлѣб с маслом, часто варенье и булочки. А главное были «рѣчей отпоры и напоры», которыя для мѣстной интеллигенціи были куда занимательнѣе чиновничьих сплетень новгородскаго свѣта. Очень показательно для этой интеллигенціи, что, живя в Новгородѣ, в этом единственном в своем родѣ музеѣ русской художественной старины, эти любознательные, гордившіеся своей просвѣщенностью, люди, совершенно не интересовались ни русской исторіей, ни окружавшими их церковными памятниками. Изрѣдка, случайно, заходили мы в ту или иную церковь, но мимоходом без всякаго изученья, без чувства связи с предками. Даже Софійскій собор, одно из прекраснѣйших созданій до-татарской Руси, не задѣвал нашаго воображенія. Мнѣ нравилось иногда заглянуть под его высокіе своды, посмотрѣть на темные лики святых, на художественную чеканку бронзовых Корсунских ворот. Но что я обязана все это изучать, почитать, хра-

нить, этого я не понимала, этого никто от меня не ждал, не требовал. Церковное искусство нас, умников, не касается. Церковь, как и правительство, была по ту сторону черты, которая, начиная с 14 декабря, раздѣлила общественное мнѣніе на двѣ непріязненныя половины.

В нашем кружкѣ это раздѣленіе подчеркивал и раздувал Антоновскій. О церкви, о священниках, о религіи он говорил с неизмѣнной язвительной усмѣшкой. На его лицѣ появлялось недоброе выраженіе. Нас его выходки не оскорбляли, только смѣшили. Антоновскій был остроумный и любил, чтобы его слушали, любил гостей. Но кромѣ него в домѣ был другой магнит — Маруся. Кокеткой моя сестар никогда не была. На рѣдкость прямая и правдивая, она была лишена женскаго лукавства. Сознаніе своей красоты было в ней очень слабое. В нее влюблялись головокружительно, а она с удивленьем смотрѣла на них темными, простодушными глазами. Зато муж ревнивым чутьем сразу распознавал поклонников. С ними он был по прежнему радушен, а Марусю пилил упорно, с подковыркою. В началѣ это ее смѣшило, а заодно смѣялась и я. Миновало ребяческое время, когда Антоновскій волновал меня чтеніем революціонных стихов и критикой всего и всѣх. В семьѣ я присмотрѣлась к нему и удивлялась, что Маруся подчиняется мелочной требовательности нелюбимаго мужа, позволяет ему себя подавлять.

Со мной Антоновскій был очень внимателен, и мнѣ у них было весело. А тут еще в послѣдній день явился высокій, красивый офицер из Петербурга, брат стараго знакомаго Антоновских. Офицера, конечно, оставили обѣдать. Мы оживленно болтали, пока Маруся не напомнила мнѣ:

— Дина, пора собираться. Твой поѣзд уходит в десять часов.

Офицер взглянул на меня пристально.

— Вы сегодня уѣзжаете? Разрѣшите спросить куда?

— В Окуловку, к подругѣ.

Он откланялся. Антоновскіе проводили меня на вокзал, усадили в поѣзд, который по узколейкѣ нетороpливо пополз через порѣдѣвшіе новгородскіе лѣса. Я собиралась заснуть. Из сосѣдняго вагона неожиданно появилась высокая фигура офицера.

— Вот и я! — радостно доложил он, точно я только его и ждала.

— А вы куда ѣдете? В Петербург?

— Зачѣм? Что я там потерял? Туда-же, куда и вы. В Окуловку.

— У вас там тоже знакомые?

— Ни души! Не мог же я допустить, чтобы вы ѣхали одна, да еще ночью.

Мнѣ слѣдовало разсердиться, а я засмѣялась.

— Не говорите глупостей! Навѣрное к кому-нибудь ѣдете?

— Глупости? Почему? А впрочем, если прикажете, я готов глупости не только говорить, но и дѣлать, вот увидал вас и пропал. Это тоже глупости?

Я не ожидала такого молніеноснаго объясненія в любви. Офицер был славный, забавный собесѣдник, внимательный спутник. Неудобное ночное путешествіе он превратил в пикник. Бѣгал на станціях в буфет, приносил мнѣ чаю с пирожками, шеколад.

Мы вышли из вагона в Окуловкѣ. На нас пахнуло свѣжей прелестью ранняго утра. Пахло ржаным полем, дымом, росой.

— Эх, хорошо, — сказала я, вбирая в себя вкусный воздух. — Надо искать возницу. До них верст десять.

— Разрѣшите мнѣ этим заняться, а вы чаю попейте.

Я милостиво разрѣшила и только что принялась за второй стакан чая с теплым хлѣбом, как под окном раздался конскій топот и звяканье бубенчиков. Мой

офицер, слегка спустив с одного плеча шинель, как это полагалось дѣлать в гвардіи, хотя он был всего только пѣхотный армеец, стремительно влетѣл в буфет и опустился рядом со мной на стул:

— Теперь и я выпью чаю. Заслужил. Человѣк! Чаю!

Он искоса взглянул на меня и прибавил вполголоса:

— Ну скажите, заслужил?

— Чѣм? Какіе подвиги вы совершили?

— Вас доставил в цѣлости и тройку нашел. Отлично прокатимся.

Я живо себѣ представила Крупских, к которым я подлетаю с незнакомым офицером, да еще на тройкѣ. Занятно. Я засмѣялась. Он подумал, что над ним и обиженно сказал:

— Неужели не позволите довезти?

Отвѣт был величественный:

— Позволяю.

С грохотом и звоном подкатила тройка к рабочей избушкѣ, которую нанимали Крупскія. Онѣ выбѣжали на крыльцо и с удивленіем увидали, что я не одна. Мой спутник выскочил из тарантаса, помог мнѣ сойти, проворно взобрался обратно, крикнул кучеру — пошел! — и, держа руку под козырек, под лихой перезвон бубенчиков быстро скрылся за поворотом лѣсной дороги.

Надя, смѣясь, укоризнено качала головой. Ея мать добродушно дразнила меня, допытывалась:

— Дина, признайтесь. Это жених? Я люблю офицеров. Осанка хорошая, манеры... Жених хоть куда.

— Ну какой же жених? Я только вчера с ним познакомилась.

О женихах я не думала. Просто забавлялась каждой новой игрушкой, не думая, что их можно и сломать.

Крупская мать пристально разглядывала меня. В ласковых глазах не было и тѣни осужденія. Быть может, она жалѣла, что ея Надя живет без дѣвичьих про-

каз, что за ней никто не мчится, сломя голову, никто не дѣлает в ея честь глупостей. Вряд ли она тогда отдавала себѣ отчет, что Надина жизнь уже опредѣлилась, наполнилась мыслями и чувствами, которым ей было суждено служить с ранней молодости и до могилы, служить неустанно, цѣльно, напряженно. Эти мысли и чувства были неразрывно связаны с человѣком, который ее захватил, тоже цѣликом. Надя измѣнилась. С ней что-то произошло. Что-то новое пробивалось сквозь прежнюю монашескую тихость. Точно Надя прислушивалась к голосу, для нас не слышному, для нея безконечно болѣе значительному, чѣм все, что мы могли бы ей сказать.

Оно так и было. В глухую новгородскую усадьбу Надя привезла новое откровеніе — «Капитал» Карла Маркса. С улыбкой не просто радостной, но блаженной, она мнѣ сказала, что никакой другой книги с собой не взяла, что, конечно, за три мѣсяца Маркса изучить нельзя, но что она уже «штудировала» его в Петербургѣ под руководством Ульянова. Она замялась, поправилась:

— Одного товарища.

У Нади была очень бѣлая, тонкая кожа, а румянец, разливавшійся от щек, на уши, на подбородок, на лоб, был нѣжно розовый. Это так ей шло, что в эту минуту моя Надя, которую я часто жалѣла, что она такая некрасивая, показалась мнѣ просто хорошенькой. В моем воображеніи тогда же крѣпко связались «Капитал» и «один товарищ». Но если бы кто-нибудь мнѣ тогда сказал, что этот товарищ, опираясь на «Капитал», переломает всю русскую жизнь: зальет Россію кровью, и что Надя будет ему усердно в этом помогать, это показалось бы мнѣ бредом! Тогда он еще назывался не Ленин, а Ульянов. Надя говорила о нем скупо, неохотно. Я ни одним словом не дала ей понять, что вижу, что она в него влюблена по уши. С ранних лѣт выработалась во мнѣ привычка не залѣзать в чу-

жую душу. Я была рада за Надю, что она переживает что-то большое, захватывающее, но как, это чувство перемѣшивается с сухими, тягучими мыслями о классовой борьбѣ, об экономическом матеріализмѣ, этого я понять не могла.

Карла Маркса я не читала. От Надиных разсужденій задорно отмахивалась. Насколько помню, я сразу стала дѣлать против марксизма тѣ же возраженія, какія и сейчас выдвигаю против соціализма — не хочу государственнаго рабства, не хочу, чтобы общество строилось на уничтоженіи какого-бы то ни было класса, на классовой ненависти. Надя тогда была плохая спорщица. Позже она, вѣроятно, научилась матеріалистической діалектикѣ, но в началѣ ея соціал-дмократической выучки мой пламенный отпор сбивал ее с ног, что нисколько не нарушало ни нашей дружбы, ни ея увѣренности в безошибочности марксистской доктрины.

Так на лѣсных тропинках новгородской деревни начались мои первыя стычки с марксизмом. Мы размахивали корзинками с бѣлыми грибами, перебивали друг друга, перескакивали от пролетаріата к тому, что такое культура, кто культурнѣе, Пушкин или рабочій с хорошо развитым классовым сознаніем? Отсюда был уже прямой переход к тому, кто нужнѣе для человѣчества, поэт или сапожник? Мы забирались в утилитаризм, во многіе измы. Крупская мать угощала нас под березами чаем с вареньем из лѣсной земляники, а мы все спорили и спорили. Оглядывая нас добрыми, грустными глазами, мать неожиданно спрашивала:

— Дина, а вы, как и моя Надя, в церковь не ходите?

Надя чуть вздергивала плечом. Приподнятые к концам брови хмурились. Она не смотрѣла на мать. Я откровенно каялась:

— Рѣдко хожу. У нас полагается по большим праздникам ходить. И на именины папины и мамины. Папа любит, чтобы мы в эти дни побывали в церкви.

— И правильно. Ходили бы в церковь почаще, да молились бы о ниспосланіи благодати. А то все мудрствуете.

Я улыбалась. Надя сердилась. Это с ней рѣдко бывало.

Несмотря на наши безсвязные споры о марксизмѣ, котораго я совсѣм не знала, а она еще плохо знала, дни, что я провела в избушкѣ у Крупских, остались в моей памяти свѣтлые, легкіе, дружественные. Я очень любила Надю, ея искренность, доброту, прямодушіе. Не знаю до конца ли сохранила она эти подкупающія черты. Тѣ, кого судьба подымает на верхушку пирамиды, часто их теряют. На эту верхушку Крупская не карабкалась, для себя ничего не искала. В ней не было ни тщеславія, ни самолюбія, не было ненасытнаго властолюбія, которое владѣло Лениным. О мелких житейских аппетитах и вкусах и говорить нечего. Их и слѣда не было. В Надѣ был равнодушный аскетизм русской революціонерки. Это не был аскетизм монашескій, насильственное отрѣшеніе от соблазнов міра, которое иногда даже подвижникам не легко дается. Ей не от чего было отрекаться. Соблазны для нея не были соблазнительны, она могла любоваться чужой внѣшностью, а к своей была безразлична. Но своеобразная женственность в ней была. Полнѣе всего выразила она ее в той цѣльности, с которой она вся, навсегда отдалась своему мужу и вождю. И еще в любви к дѣтям. Но сама она осталась бездѣтной.

В ея жизни не было никаких боковых тропинок. Ульянов вложил в ея руки знамя, на котором было написано имя, звучавшее тогда кабалистически — Карл Маркс. Почти полвѣка держала Надя это знамя в руках, вѣроятно ни разу не поддалась искусительным сомнѣньям. Хотя кто знает, что пережила она послѣ смерти Ленина. Может быть, и до нея, сквозь казенную похвальбу большевистских лозунгов, донеслись стоны распятой Россіи? Может быть, когда уже не было око-

ло нея великаго гипнотизера, Ленина, и ея сострадательное сердце дрогнуло от того, что ея товарищи продѣлывали над народом? Но пока он был жив, некрасивая, неловкая, сдержанная Надя была счастливѣе большинства, так называемых, блестящих женщин, которых природа несравненно щедрѣе одарила красотой, привлекательностью, талантами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

КУРСИСТКА.

Обычно студенческіе годы оставляют яркія воспоминанія, иногда и яркій слѣд. В моей жизни этого не было. Отчасти по моей винѣ, отчасти потому что это совпало с царствованіем Александра III, когда была притушена общественная и умственная жизнь.

С 16 до 19 лѣт, как раз тогда, когда молодые мозги требуют пищи, движенія, напряженія, я прожила почти безвыѣздно на Вергежѣ. Я ничего не дѣлала, ничему по настоящему не училась, никуда не шла. У меня не было никаких обязанностей. Моими наставниками были природа и мама. Она учила не словами, а примѣром. Были у меня учительницы языков, но их уроки брали у меня мало времени, еще меньше вниманія. Читала я безпорядочно. Немногія книги, которыя я доставала, проплывали через мою голову без задержки, без пристани. Два шкапа на Вергежѣ были полны разрозненными русскими журналами 40-60 годов. Там была «Библіотека для чтенія», «Современник», «Отечествення Записки», «Русскій Вѣстник». В амбарѣ я наткнулась на ящики с французскими книгами, доставшимися мамѣ от ея отца. Прочла и их. Мама для меня подписалась в Петербургѣ, в библіотекѣ Черкесова. Но ни отцу, ни Сережѣ не было времени мѣнять для меня книги. Да и выбирать их я плохо умѣла. Я не ставила себѣ опредѣленных задач, не интересовалась

опредѣленной отраслью знанія. У меня были умственныя потребности, но очень разбросанныя.

А тут еще подошла такая полоса, что молодежь ни откуда не получала ни помощи, ни указаній. Настроеніе кающихся дворян сбѣжало, но враждебность к власти оставалась, а Освободительное Движеніе, которое привело Россію к народному представительству, еще не началось. Молодежь не знала, что дѣлать, как подойти к жизни, чего ждет от нея Россія. Понимать мы мало, что понимали, но, еще ничѣм себя не выявив, уже воображали себя оппозиціей.

Очень было для меня невыгодно, что оборвалось мое ученье. Длительный перерыв в умственной жизни был совсѣм некстати. Останавливаться всегда вредно. Не замѣчаешь, как катишься назад. Иногда я с ужасом чувствовала, что тупѣю. Память, от отсутствія гимнастики, стала хуже. Мысли крутились в пустотѣ, ни за что не зацѣпляясь. Не могу сказать, чтобы я опустилась. Для этого я была слишком молода, и во мнѣ был большой запас внутренней неугомонности. Но прилив умственнаго топлива остановился как раз тогда, когда пора было жить не юношеской инерціей, а новыми умственными толчками.

В гимназіи я была увѣрена, что поступлю на Женскіе Медицинскіе Курсы и стану доктором. Но в университеты женщин не допускали, а женскія высшія школы, включая медицинскіе курсы, правительство закрыло, как раз перед моим носом, когда я сдала экзамен в шестой гимназіи и получила диплом, дававшій мнѣ право стать студенткой. Тогда говорили, что это дѣлается по желанью императрицы Маріи Федоровны. Она, будто бы, считала для дѣвиц неприличным занятіе естественными науками. Не знаю, так ли это было, но такіе слухи усиливали непріязнь к царской семьѣ. Точно сама царица осудила меня на бездѣльную жизнь деревенской барышни, когда мнѣ полагается быть студенткой. Почему царица считает себя в правѣ мѣшать

нам учиться? Какое ей дѣло? Я была глубоко обижена, возмущена. А тут еще у меня вышла исторія из-за деревенских ребятишек.

В 80-х годах народное образованіе было еще очень плохо поставлено, вѣрнѣе, почти совсѣм не поставлено. Вблизи нас не было ни одной народной школы. Я собрала нѣсколько мальчишек из деревни Вергежа и начала их учить грамотѣ по «Родному Слову». И меня, и моих учеников это очень занимало. Но наша забава не долго продолжалась. Раз утром сидѣла я с ребятишками в классной комнатѣ во втором этажѣ, той самой, откуда Соня так внимательно слѣдила за лошадьми, и так не внимательно за моими уроками. Деревенскіе воспитанники были куда усерднѣе, чѣм моя сестра. У нея был очень живой ум, но над своими трудно установить учительскій авторитет. Мальчишки меня слушались. Они старательно выводили свои каракульки, пока их вниманіе не отвлекла двуколка, въѣхавшая во двор. Дѣти сразу подняли носы от тетрадок. Надо же им посмотрѣть, кто пріѣхал.

— Барышня, это урядник!

— Не ваше дѣло. Пишите: у гуся красныя лапы.

Оказалось, что уряднику до моих дѣтей есть дѣло. Он пріѣхал разслѣдовать, по какому случаю в Тырковской усадьбѣ учат дѣтей азбукѣ, не испросив на это разрѣшеніе начальства? Урядник предупредил маму:

— Если барышня будет учительствовать, приказано ее арестовать.

У мамы один сын уже был в Сибири. Ей совсѣм не хотѣлось, чтобы и 17-тилѣтняя дочь туда попала. Пришлось прекратить уроки. Мнѣ было обидно. Сначала помѣшали мнѣ доучиться в гимназіи, теперь мѣшают учить деревенских ребят грамотѣ.

Александр III революцію пріостановил. Революціонеры, которых и всего-то была горсточка, сидѣли в тюрьмах, были в ссылкѣ, эмигрировали. Люди болѣе

мирные, но с общественными потребностями, участвовали в земской жизни, но и им не всегда давали возможность работать. Правительство считало крамолой самое желаніе принимать участіе в жизни населенія, стараться ее улучшить. Не только в моем замкнутом Вергежском углу, но по всей Россіи умственная жизнь пріостановилась. На страну спустилось затишье, похожее на оцѣпенѣнье. Странные были эти 80-ые годы. Министерства не бездѣйствовали. Улучшались финансы, промышленность, даже просвѣщеніе. Но все это дѣлалось без участія не только общественных дѣятелей, но даже общественнаго мнѣнія, как-то молчком, поэтому проходило мимо сознанія и власти в заслугу не ставилось. Мало кто знал, что дѣлают в канцеляріях чиновники. Двуколка урядника была для меня болѣе краснорѣчивым символом власти, чѣм постройка великаго сибирскаго желѣзнодорожнаго пути, проведеннаго по волѣ Александра III и по замыслу его умнаго и талантливаго министра С. Ю. Витте. Я даже имени его тогда не слыхала. Ни газеты, ни журналы не разъясняли нам значенія государственной работы, не отмѣчали державнаго роста Великой Россіи. Но поскольку это пропускала цензура, все плохое, неудачное обсуждалось на всѣ лады, часто вкривь и вкось. Вынужденная недоговоренность часто еще больше искажала дѣйствительность. И в литературѣ было унылое размельчаніе. Народническая литература вырождалась, смѣна ей еще не пришла.

Одиноким великаном, единственным духовным вождем эпохи затишья перед бурей вставал Лев Толстой. Не Толстой художник, а Толстой проповѣдник, страстный разрушитель государства, поноситель культуры и церкви.

Всѣ читали, перечитывали его «Исповѣдь», говорили о ней, спорили. Многіе когда-нибудь прошли через полосу такого отчаянія, таких исканій. «Исповѣдь» многих сблизила с Толстым. Но его барскій призыв

опроститься вызывал недоумѣніе. Нам он казался даже смѣшным. Мы и так жили без затѣй. Меня никогда не тянуло каяться перед бабами и мужиками. Если исторія их и обдѣлила, то моей вины перед ними не было. И чему от них надо учиться, как твердил Толстой, я тоже не видѣла.

В том, что мы не увлеклись проповѣдью Толстого, сказалось и мамино вліяніе, вѣрнѣе ея примѣр. Она была проста ко всѣм без напряженія, без усилія, без слащавости благожелательна. И ей были совсѣм не по душѣ нападки Толстого на образованіе. Она не видѣла никакой нужды отрекаться от искусства, от прошлаго, от знанія. Ей была чужда вычурность Толстовскаго опрощенія. Но она от всего сердца раздѣляла его моральную требовательность, его стремленіе к правдѣ, к чистотѣ, к дѣятельной любви. В ней все это было, прирожденное, не надуманое. Нам не надо было читать наставленія Толстого, стоило только посмотрѣть на нее, послушать ея спокойныя, мудрыя сужденія о людях. Ея вдумчивость, ея широкая терпимость к чужим мнѣніям и поступкам были несравненно жизненнѣе страстной раздражительности Толстого против инакомыслящих.

Ни для кого из нас Толстой не стал учителем жизни, но мы всѣ читали его нападки на церковь, на государство, его разсужденія о царствѣ Божіем внутри нас, которое он хотѣл строить без помощи Божьей благодати. Литографированныя тетрадки с его запретными сочиненьями были единственной подпольной литературой 80-х годов. Онѣ пришли на смѣну тоненьким печатным сборникам «Народной Воли», гдѣ проповѣдовалась кровавая борьба со злом. В сочиненьях Толстого, которыя тоже приходилось добывать и читать украдкой, говорилось о непротивленіи злу. В них не было заразительной зажигательности революціонных призывов, но они проникали в болѣе широкіе слои. Любопытно, что на русскую молодежь он оказал меньше

вліянія, чѣм на иностранцев. Может быть, оттого, что на западѣ образованные классы жили иначе, болѣе богато, болѣе замкнуто, были болѣе опутаны условностями, чѣм мы в Россіи, и мысли Толстого были для них новинкой. Я толстовством никогда не увлекалась, но позже два толстовца провели глубокій слѣд в моей жизни, перевернули ее. Первым был князь Дмитрій Иванович Шаховской. Вторым был англичанин, Г. В. Вильямс.

Толстовцы, с которыми я раньше встрѣчалась, просто казались мнѣ нелѣпыми чудаками. Из Вергежи я обмѣнялась нѣсколькими письмами с одним из самых близких сотрудников Толстого, с Владиміром Чертковым. Это был троюродный брат Вѣры Чертковой. Вѣра знала, что я очень скучаю в деревнѣ без дѣла. Через нее В. Чертков прислал мнѣ нѣмецкій анти-вивисекціонный журнал, просил перевести для него статьи о гусях, которых мучат в Страсбургѣ, пичкают их ѣдой до того, что у них вздувается печенка, из которой потом дѣлаются знаменитые страсбургскіе паштеты. Статьи я перевела, ему их отправила, но к этим гусиным страданіям серьезно не отнеслась. Я была достаточно наблюдательна, чтобы видѣть, сколько кругом человѣческих страданій, лишеній, горя и не хотѣла проливать слезу над гусыней и ея печенкой. Так и Черткову написала. В отвѣт получила письмо обиженное, наставительное и не умное. Переводов он мнѣ больше не присылал, но эти гусиныя печенки были одной из первых моих литературных ступенек. Еще раньше я сдѣлала болѣе длинный платный перевод с французскаго. Антоновскій переводил для издательства Сытина «Дѣти Капитана Гранта», Жюль Верна. Один из томов он передал мнѣ. Платили нам гроши, но я была горда первым моим заработком. Получила 60 рублей за цѣлый том и чувствовала себя богачкой. Боюсь, что перевела я плохо, и Антоновскому пришлось повозить-

ся с рукописью. Правда, мнѣ было только 17 лѣт, но читатели не обязаны были это знать.

Несмотря на мое жестокое равнодушіе к гусям и вивесекціи, меня все-таки тянуло послушать, что говорят толстовцы. В один из моих рѣдких пріѣздов в Петербург я пошла на их собраніе. Они устраивали их на Лиговкѣ, против Дѣтской Больницы принца Ольденбургскаго, в складѣ издательства «Посредник», который печатал сочиненія Толстого и другія книги для народа. В 80-х годах, склад «Посредника» был чуть не единственным мѣстом в Петербургѣ, гдѣ собирались для обсужденья общих вопросов, соціальных и моральных. Бесѣды в Вольно-Экономическом Обществѣ начались только нѣсколько лѣт спустя.

Контора «Посредника» была заставлена ящиками, завалена кипами туго-связанных тоненьких брошюрок. Это были тенденціозные разсказы Толстого — «Много ли человѣку земли надо», «Первый винокур», «Сказка про черта» и другіе. Собиралось человѣк сто, может быть и меньше. Разсаживались на тюках, на ящиках. Слушали с торжественной сосредоточенностью, с которой сектантам полагается слушать своих свѣтских проповѣдников. Толстовцы были плохіе ораторы. Вообще толстовцы были самой неубѣдительной подробностью толстовства. Узкіе доктринеры, они понижали, обезцѣнивали ученье учителя... В нем была власть великаго художника, в нем была сила обаятельнаго человѣка. А им было нечѣм пріукрасить логическую слабость его ученья.

Я пошла в «Посредник» с Лидой Давыдовой послушать Бирюкова, одного из самых рьяных послѣдователей — позже біографа — Толстого. Он по тетрадкѣ читал о вредѣ и порочности цивилизаціи, о необходимости вернуться к трудовой крестьянской жизни, сѣсть на землю. Как примѣр грѣховной жестокости городской культуры, Бирюков разсказал, что при постройкѣ Эйфелевой башни погибло 13 человѣк. Человѣчество

так слѣпо, что не понимает, что жизнь одного человѣка безконечно драгоцѣннѣе всяких башен. Мнѣ хотѣлось встать и спросить Бирюкова — ну, а если я сяду на землю, и бык подымет меня на рога, будет это доказательством порочности земледѣлія, или нѣт?

Но я промолчала. Я тогда не подозрѣвала, что могу в собраніи вслух отстаивать свои мысли, спорить. Даже на толстовском собраніи у меня не хватало увѣренности заговорить. Но дерзость подымалась во мнѣ, мнѣ хотѣлось что-то выкинуть, как-то показать, что я все это считаю чепухой. Ко мнѣ на помощь пришел Андрейка Каменскій, мой вѣрный рыцарь. В дверях неожиданно показалось его раскраснѣвшееся от мороза лицо. От удовольствія, что он таки разыскал меня, он весь расплылся в широкую улыбку, пробрался ко мнѣ, наклонился и, обдавая меня морозными струйками, точно осыпая меня снѣгом, шепнул:

— Вот вы куда забрались, Аріадна Владиміровна. Ну что-ж, послушали и довольно. Я за вами пріѣхал. Ѣдемте на острова. Ночь лунная, прелесть...

Он говорил вполголоса, но сосѣди не могли не слышать и неодобритально косились на нас. Лида потихоньку смѣялась. Я отвѣтила, тоже шопотом:

— На острова? Как вы хорошо придумали. Ѣдем!

Докладчик на мгновенье отвел глаза от тетрадки, потом опять монотонно забормотал. Я встала. Это было очень невѣжливо. Но нам обоим едва минуло 18 лѣт. Ночь была чудная. Под ярким лунным свѣтом улицы тянулись на половину синія, на половину черныя. Чѣм дальше от города уносил нас лихач через бѣлую Неву, по Каменноостровскому проспекту, на острова, одѣтые в снѣжную парчу, овѣянные зимним очарованіем, тѣм жизнь казалась легче, волшебнѣе, щедрѣе.

У молодости своя мудрость. Я и сейчас увѣрена, что мы с Андрейкой были правы, когда от толстовцев умчались в сказочное зимнее царство. Только надо было сдѣлать это незамѣтнѣе, щадя других.

В 1889 г. снова, послѣ трехлѣтняго перерыва, открылись Высшіе Женскіе Курсы. Я стала студенткой. Это было не то, о чем я мечтала в гимназіи. Мнѣ хотѣлось быть врачем. Не знаю, какой врач из меня вышел бы, но то, что стремленіе осталось не удовлетвореным, мѣшало мнѣ, отрывало мое вниманіе от других возможностей. Неудовлетворенныя желанія, если в них есть смысл и длительность, часто превращаются в отраву, уменьшают нашу энергію. Курсы были возобновлены, но ни естественный факультет, ни медицинскіе курсы не были открыты. Только историко-филологическое и математическое отдѣленія. Я выбрала математику. Для меня самый переѣзд в Петербург был событіем. На лекціи я ходила каждый день аккуратно, не от усердія к наукѣ, а потому, что меня все занимало, начиная с прогулки через весь город. От Баскова переулка, гдѣ папа занимал маленькую квартирку во дворѣ, до Васильевскаго Острова, гдѣ помѣщаются курсы, большой конец. Я не рѣдко пробѣгала его пѣшком. Это брало почти час. Но это было весело, и деньги на конку не всегда были. Папа каждую недѣлю давал нам на карманные расходы, включая проѣзды и завтраки, но я быстро проѣдала эти деньги на шеколад, тратила на пустяки. Потом мчалась пѣшком по всему Невскому, мимо Зимняго Дворца, по длинному Дворцовому мосту. Так было хорошо, столько красоты было кругом, особенно в ясные морозные дни, или в свѣтлые вечера ранней весны.

Любила я и лекціи, слушала их настолько внимательно, что репетиціи по математикѣ сдавала со слуха, не готовясь. Это была не работа, а безпечная игра. Знаній из этого единственнаго года моей студенческой жизни я не вынесла. От лекцій осталась во мнѣ сантиметальная нѣжность к математикѣ, к законченному изяществу ея формул, открывающих путь к таинственной гармоніи космических законов. Свѣтлые часы проводила я в большой аудиторіи математическаго отдѣленія,

гдѣ мы, маленькая горсточка курсисток, совершенно тонули. Я сохранила благодарную память о том особом наслажденіи, которое математика давала моему мозгу, изголодавшемуся в деревнѣ.

Иногда я заглядывала на словесное отдѣленіе, на лекціи С. Платонова по русской исторіи, или А. И. Введенскаго по философіи. Введенскій любил блистать, дразнил парадоксами, устраивал бесѣды, вызывал курсисток на вопросы и возраженія и с иронической привѣтливостью выслушивал наши ребяческія замѣчанія. Свою діалектическую ловкость, которая на ученых диспутах иногда сбивала с ног опытных академических боксеров, он против нас в ход не пускал. С нами Введенскій был милостив, нас не застращивал, умѣл заставить думать, будил наши мысли, тормошил. Все это мы очень цѣнили, но, несмотря на всю нашу умственную незрѣлость, мы чувствовали, что чего-то главнаго этот блестящій профессор нам не дает. От философа мы наивно ждали слов направляющих, указывающих пути, цѣли. Молодость ищет руководителей. На курсах мы искали не только подготовки к той или иной профессіи. Мы смутно мечтали, что там откроют нам самое главное — смысл жизни. Введенскій знакомил слушательниц с разными философскими системами, разворачивал цѣлый калейдоскоп обобщеній и теорій, но давал их вразсыпную, не связывая в опредѣленное міросозерцанье. Должно быть, он сам был бѣден, и ему нечего было нам дать. О Христѣ он никогда не упоминал. В философіи той эпохи для Сына Божьяго мѣста не было.

Міросозерцаніе С. И. Платонова было несравненно болѣе глубоким, болѣе русским, но я поняла это только много лѣт спустя, читая его книги уже заграницей. На курсах и он был сдержан и скуп. Мы и в нем не нашли желаннаго учителя жизни.

Еще менѣе мог стать им священник, читавшій нам богословіе. Ему очень хотѣлось бороться с повальным

студенческим безвѣріем, но брался он за это неумѣло, неуклюже, и результат получался обратный. Курсовой батюшка очень любил сокрушать Дарвина.

— Вот еще ученый, англичанин Дарвин, говорит, что мір создался сам собой. Без Божьей помощи.

Он откидывал широкіе рукава, подымал руки над кафедрой, вращал пальцами, очевидно стараясь изобразить космическіе процессы по Дарвину, и пояснял:

— Это что же, одна туманность крутится... Другая туманность крутится. Трах... Столкнулись! Произошел мір. Кто же этому повѣрит?

Священник опускал руки на кафедру и обводил нас торжествующим взглядом. Курсистки смѣялись. Нельзя было не смѣяться.

Со слезами на глазах выходила с этих лекцій сестра молодого профессора литературы, Нестора Котляревскаго. Она была едва ли не единственной вѣрующей в нашей языческой толпѣ. Ольга Котляревская с отчаяніем говорила:

— Какой стыд! Неужели нельзя было найти болѣе образованнаго священника... Вѣдь есть же они. А теперь посмотрите, всѣ кругом смѣются, рѣшительно всѣ. Неужели вы не понимаете, как это ужасно? Неужели вам всѣм дѣйствительно все равно, что будет с церковью? Ужасно!

Я тоже смѣялась, тоже ничего не понимала. Но я перестала смѣяться, потому что мнѣ стало жалко Котляревскую. Не понимала я и того, что жалѣть надо не ее, а меня, нас всѣх.

Трехлѣтній перерыв нарушил школьную жизнь курсов. При мнѣ она медленно возстановлялась. Как раз перед тѣм, как правительству вздумалось их закрыть, курсовой комитет построил великолѣпное новое зданіе. Оно было разсчитано на 10000 студенток, а нас, в первый год, послѣ возобновленія занятій, было только 175. Из них 35 на математическом, остальныя словесницы. По широким лѣстницам и коридорам,

по длиннѣйшим залам и аудиторіям гулко раскатывались наши голоса, наши шаги, наш смѣх. Позже, в этом же зданіи учились тысячи дѣвушек, и на всѣх хватало мѣста. При нас это была звонкая пустыня... Это не придавало уютности курсовой жизни. Что то в ней было недодѣланное, отрывистое, ненадежное. Вот придет сердитый сторож с метлой и выметет нас всѣх вон.

Сердитый сторож не пришел, но директор, Кулин, временами символическую метлу нам показывал. Он сам не твердо знал, что с нами дѣлать? Что позволять? Что запрещать? Меня он нѣсколько раз вызывал для объясненей. Первый раз я никак не могла понять, что он от меня хочет. Меня провели в его большой кабинет. За длинным письменным столом сидѣл маленькій человѣк, старавшійся казаться значительным. Он указал мнѣ на стул и, пристально глядя на меня, заговорил размѣренно, наставительно. Его манеры, его тон напомнили мнѣ нашу гимназическую инспектрису, М. А. Ладыженскую.

— Я вызвал вас, потому что обязан вам сказать, что вы слишком обращаете на себя вниманіе.

— Чѣм?

Не столько мой вопрос, сколько мой тоже пристальный взгляд сразу не понравился директору. Я это видѣла. Он понимал, что и я это вижу, и его раздраженіе стало расти.

— Я полагаю, что вы сами знаете чѣм. Но если угодно, я вам скажу. Ваш голос раздается громче всѣх. Всюду, гдѣ собираются слушательницы, вы, не скажу ораторствуете, но разглагольствуете. Точно нарочно собирате их вокруг себя.

Я слушала, не спуская с него глаз. Ему это было непріятно. Стараясь удержать тот же сухо-наставительный тон, директор прибавил:

— Вы и внѣшностью хотите как-то выдѣляться, быть не как другія. Почему эта прическа, эти локоны,

серебряный обруч в волосах? Так, кромѣ вас, никто не причесывается. И кофточка на вас яркая, красная.

С трудом сдерживая улыбку, я, как мнѣ казалось, с изысканной вѣжливостью спросила:

— Простите, но, насколько мнѣ извѣстно до сих пор для слушательниц Высших Курсов никакой формы не установлено? Я думала, что мы можем носить, какіе угодно цвѣта и причесываться, как нам вздумается. Или это не так?

Директор сдѣлал рѣзкое движеніе и встал.

— Совершенно неумѣстный вопрос; во всяком случаѣ я вас предупредил.

О чем? Я не стала спрашивать, но ушла от него с непріятным чувством за себя и за него. Молодежь гораздо больше любит относиться к старшим с уваженіем, чѣм это принято думать. Безтактность старших ее задѣвает. Директор придирается ко мнѣ, как к гимназисткѣ, из-за пустяков. Неужели и на курсах у меня что-то с ними выйдет? Зачѣм? Кому это нужно? Что я сдѣлала? Мнѣ было досадно, обидно.

Второй раз директор вызвал меня потому, что меня замѣтили на похоронах Н. В. Шелгунова.

— Не совѣтую вам принимать участіе в таких демонстраціях.

— Это были похороны, не демонстрація.

— Вы отлично понимаете, что я говорю. Я не могу допускать, чтобы слушательницы ходили на похороны неблагонадежных писателей, которых онѣ и по имени-то не твердо знают.

Н. В. Шелгунов был публицист довольно блѣдный. По правдѣ сказать, я его не читала. Но он бывал у моей матери, и это дало мнѣ право сказать:

— Я лично знала Шелгунова.

Опять, уходя от директора, я испытывала непріятное чувство, что за мной присматривают. Но директор был, в сущности, прав. Похороны каждаго сколько-нибудь примѣтнаго оппозиціоннаго писателя служили

для интеллигенціи предлогом, чтобы проявить собственное оппозиціонное настроеніе. Лучше было бы оставлять покойников в покоѣ, не разыгрывать вокруг них политических демонстрацій. Тогда я этого не понимала и дѣлала, как всѣ — бѣжала на панихиду только оттого, что ее служат в память кого-то, кто «пострадал за свои убѣжденія». О таких панихидах и похоронах сразу становилось извѣстно без всяких газетных оповѣщеній. Свѣдѣнія о том, куда и когда надо собраться, разлетались по воздуху, по пантуфельной почтѣ.

Литераторов было принято отпѣвать во Владимірском соборѣ, а хоронить на Волковом кладбищѣ, на литературных мостках. Пока в церкви совершалось отпѣваніе, на Владимірской площади собиралась толпа, главным образом, молодежь. Были и пожилые люди с сосредоточенными лицами опереточных заговорщиков. Большинство топталось на улицѣ. Церковная служба мало кого интересовала.

Кругом площади темнѣли фигуры городовых. Это придавало всему происшествію героическій оттѣнок. Вряд ли многіе манифестанты и манифестантки знали, кого собственно хоронят, чѣм покойник заслужил многолюдные проводы. Но раз прислан наряд городовых, значит, он был неблагонадежный, значит, необходимо придти, даже если за это придется пострадать. Ну а помимо политических соображеній, молодежь сбѣгалась просто, чтобы потолпиться, на людей посмотрѣть и себя показать, чтобы в чем-то участвовать. Участіе выражалось в рядѣ невинных, но запретных поступков. Вѣнки, пѣніе, рѣчи над могилой — все могло подать повод к вмѣшательству полиціи. Вѣнки разрѣшались, но не разрѣшалось их нести, надо было класть их на колесницу. Полиція ревниво наблюдала за лентами, за их цвѣтом, за надписями на них. Иногда шествіе двигалось, и вдруг студенты выносили из боковой улицы новый вѣнок. Около него тотчас же появлялся пристав. Он осматривал ленты, читал надписи, неодобрительно

качал головой. Начинались переговоры. Все шествіе пріостанавливалось. По рядам пробѣгал ропот. Молодые глаза загорались. Пожилые люди значительно переглядывались. Казалось, вот, вот произойдет столкновеніе. Но все как-то устраивалось.

Импровизированный хор, который по дорогѣ на кладбище нѣсколько раз пѣл Вѣчную Память, тоже порождал недоразумѣнія. Опять что-то сгущалось над нашими головами и опять разсѣивалось. Многіе шли на похороны ради этого мнимаго, но волнительнаго чувства опасности. Но у петербургской полиціи хватало смысла не обострять настроеніе. Ленты убирались незамѣтно. Свѣтское пѣнье, вродѣ «Вы жертвою пали в борьбѣ роковой», конечно, не допускалось, но «Вѣчную Память» можно было пѣть, кому угодно и сколько угодно. Отважныя рѣчи на могилѣ было трудно разслышать. Онѣ разсѣивались в воздухѣ. Мѣшал шум деревьев, мѣшали сами демонстранты, перебѣгавшіе от могилы к могилѣ, чтобы лучше слышать и видѣть. Хотя, по правдѣ сказать, смотрѣть было не на что.

Самое странное в этих похоронных проявленіях гражданских чувств было, что на них обычно царило совсѣм не похоронное настроеніе. Старшіе смотрѣли на печальную процессію, как на повод воспитать в слѣдующем поколѣніи привычку к протесту. Младшіе, которых было большинство, приносили с собой запас бунтарской энергіи, желанье проявиться. И добрый заряд совсѣм не похороннаго веселья. В хорошую погоду это была многолюдная прогулка через весь Петербург в полу-деревенское предмѣстье, гдѣ раскинулось усаженное березами Волково кладбище. Обычно шли своей компаніей и меньше всего думали о том, за чьим гробом шли.

Раз в дѣтствѣ, другой раз в ранней юности пришлось мнѣ в Петербургѣ видѣть похороны, на которых лежала печать подлинной народности. Дѣвочкой 11 лѣт смотрѣла я на похороны Александра II. Мы сидѣли в

кабинетѣ моего отца в министерствѣ финансов. Его окно выходило на Дворцовую площадь. Перед нами в торжественной процессіи шли войска, тянулись вслѣд за царской погребальной колесницей придворные и частные экипажи. Солдаты стояли шпалерами. За их рядами тротуары были залиты народом. Тишина на площади нарушалась только топотом копыт, похрустываньем песку под колесами экипажей, и тѣм особым шорохом, который исходит от толпы, даже затаившей дыханье. Старшіе говорили потом, что в толпѣ многіе плакали.

Нѣсколько лѣт спустя, уже подростком, видѣла я похороны Тургенева. Их народными назвать было нельзя. Народ, в широком смыслѣ, понятія не имѣл о Тургеневѣ, не подозрѣвал, что мимо него везут человѣка, не мало потрудившагося над освобожденьем крестьян. Проводить тѣло любимаго писателя пришли верхи, пришел грамотный Петербург. Тургенев уже давно переселился в Париж и для русских читателей был невидим. Мертвый он вернулся на родину, и похороны его приняли дѣйствительно торжественный, общественный характер. Когда процессія вышла от Варшавскаго вокзала на Измайловскій проспект, все движеніе было остановлено. Широкая улица была совершенно пуста. Эта пустота поразила меня не меньше, чѣм густая толпа, черной рамкой окаймившая оба тротуара. Вдали, от вокзала, показались медленно двигавшіяся дроги с черным балдахином, под которым стоял гроб, покрытый вѣнками. За ним тянулись безконечныя депутаціи, несшія еще и еще вѣнки. Что-то дрогнуло, пробѣжало по тихим рядам, передалось и мнѣ, хотя я была только дѣвчонкой, гимназисткой. Впервые почувствовала я таинственную общность с тысячами незнакомых мнѣ людей, объединенных одним чувством, одной печалью, одним желаньем, хоть этим послѣдним прощальным поклоном отблагодарить того, чей усыпанный цвѣтами гроб плыл мимо нас, поблагодарить за всѣ художест-

венныя наслажденія, за всѣ душевныя волненія, которыя принес нам его дар, его труд.

На похоронах Тургенева я в первый раз соприкоснулась с колективным чувством, искренним и глубоким. Сло́вами я даже себѣ не сумѣла бы тогда это сказать. Но какіе-то огни пробѣжали во мнѣ. Тургенев стал мнѣ по новому близок. Сколько раз я его перечитывала, задумывалась, мечтала над ним. Сердилась на Базарова за его грубость со стариками. На княжну Зинаиду, зачѣм безропотно подчиняется деспотизму любви. Смѣялась над Рудиным. Недоумѣнно любовалась Лизой. Смутно завидовала Еленѣ, что уѣхала она на подвиг в далекую героическую Болгарію. Всѣ они жили около меня, во мнѣ, были мнѣ ближе, чѣм сам Тургенев. Но вѣдь это все его дѣти, всѣ они остаются с нами, а его везут мертваго. Мнѣ было жаль его и себя. Было грустно и немного стыдно, точно не успѣла я что-то исполнить, сказать ему. Волновало меня сознаніе, что этот гроб как-то связывает меня с тысячами незнакомых людей. На их лицах, в их глазах я ловила отблески сродных переживаній. Ничего подобнаго не испытала я позже на тѣх демонстративных похоронах и панихидах, гдѣ полагалось присутствовать не столько из уваженія к покойнику, сколько из неуваженія к правительству.

(Конец первой части*)

---

*) Вторая часть издана отдѣльно Издательством Имени Чехова в Нью-Іоркѣ, под заглавіем «На путях к свободѣ».

ОГЛАВЛЕНІЕ:

Impr. de Navarre. 11, rue des Cordelières, Paris